

Паскаль Киньяр



Лестницы Шамбора

Глава I

Naer het leven ^[1]
Ян Ван Эйк

Эдуард заглянул в дом матери и оставил ей записку. Поднялся вверх по широкой улице Меир. С неба упорно сыпал мелкий блестящий дождичек. Он вошел в величественное здание антверпенского вокзала, приехал в Париж, приехал в Рим. Стоял май. Воздух был легок и ласков. Он перекусил, повидался с Ренатой в бутике на виа дель Корсо, позвонил Пьеру в Париж, нанял машину, приехал во Флоренцию к часу ночи.

Он шагал вслепую, осторожно поднялся по ступеням. Пересек террасу, вдохнул запахи старого, мокрого, уже растерявшего лепестки жасмина и холодного айоли,^[2] внезапно ощутил голод, отпер дверь ключом, который дала ему Франческа. Тихонько вошел в спальню, разделся в темноте. Опустился на колени у постели, откинул простыни. Заговорил с нею шепотом:

– Подвинься. Это я. Я тебя люблю.

Он приподнял ей волосы, поцеловал в шею, поцеловал в ложбинку спины. К нему вернулся теплый аромат этого тела, которое он так любил, а с ним воспоминание о солнце, о теплой соленой влаге.

- Кто здесь?
- Это Вард.
- Дуардо? Ты поел?
- Спи! Спи, Франческа!

Он скользнул в постель, прижался к ней, приник бедрами и ногами к ее разгоряченному телу. Она сильно вздрогнула. И сама потянулась навстречу его телу. В глубине постели нога Франчески все еще искала дно в пучине ее недавнего сна, стараясь удержать странные, обитавшие там формы, стараясь вернуть их безмолвие, и свет, и мерцающие краски, и наслаждение – все, что вдыхало в них жизнь.

Потом Эдуард приоткрыл губы, коснулся поцелуем шеи молодой женщины, ее плеч. Запустил пальцы в волосы Франчески. И уснул.

В пять часов утра он встал. Оставил в постели спящую Франческу. Позвонил в Нью-Йорк, где намеревался купить магазин. Прикинул, что там должно быть сейчас одиннадцать вечера. Он больше не хотел ни помещения в сорок квадратных метров на Хаустон-стрит, ни другого, в семьдесят квадратных метров, в Сохо. Как не хотел и сделки с Маттео Фрире. В конце ночи голос его звучал неуверенно, временами слегка дрожал. Ему было холодно. Он спросил, не давала ли о себе знать его тетка, Оттилия Фурфоз. Или, вернее, не давала ли о себе знать Оттилия Шрадрер. Он старательно назвал оба имени по буквам. Собеседник – там, в Нью-Йорке, – как ему послышалось, зевал, листая бумажки, ему явно хотелось спать. Нет, произнес голос. Никакая мисс Оттилия, или мисс Шрадрер, или мисс Фурфоз ни разу не дала о себе знать. Внезапно Эдуарду стало досадно до слез. Его тетка Оттилия жила в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Она воспитывала его, когда он был совсем маленьким, в конце сороковых годов, целых шесть лет – в Париже, на площади Одеон. И снова его пронзила мысль, что она больше не любит его. Глухая печаль завладела им при этой мысли. Он сидел и чистил апельсин; под оранжево-багровой шкуркой таилась вторая – замшево-нежная беловатая подкладка. Он приотворил дверь спальни. Вгляделся в темноту. Франческа еще спала, и, похоже, глубоким сном. Он доел апельсин, сидя в белом железном кресле на террасе, под еще робким солнцем.

Внезапно он решил навеститься в мастерскую Антонеллы. Встал, подошел к «хонде», маленькому японскому автомобильчику, взятому напрокат. Миновал восточное предместье и, не доезжая Понтасьева, припарковался возле двух автозаправок, неизменно накрытых с самого утра тентами, намокшими от росы, розовым над первой, желтым над второй. Вошел в маленький, не больше двадцати метров, дворик, расположенный ниже гаражей, позади склада вин и оливкового масла. Антонелла работала одна. Ей было лет тридцать. Красавица родом из Милана, белокурая, очень худая, со странно замедленными движениями. В ней чувствовалось что-то болезненное – быть может, виной тому был неподвижный взгляд карих глаз того особого, гранатового оттенка, каким отливают скорлупа каштанов, или мрачноватая серьезность и нелюбовь к разговорам. Он поцеловал ее в обе щеки. Она никогда не отвечала тем же. У нее были точно такие волосы – белокурые тяжелые пряди, какие он видел у одной

женщины редкой красоты; он постоянно встречал ее на набережной Анатоля Франса, а последний раз – всего два дня назад, на улице Сольферино, выходя из своего центрального офиса. На среднем пальце женщина носила массивное, слишком широкое кольцо с багряным рубином-кабошоном. Руки у нее были изумительные.

Эдуард взглянул на руки Антонеллы, на ее пальцы, покрытые пятнами краски, то ли плохо отчищенной, то ли крепко въевшейся в кожу. Некоторые ногти у Антонеллы были черными, другие – зелеными. Она писала миниатюры на раковинах, на рюмках для яиц и еще на зеркалах. Ее работы отличались несравненной точностью. Она могла изобразить весь Земной шар, за исключением разве что Корсики или Фолклендских островов, на деревянном, из ясеня или граба, яйце для штопки. Она согласилась работать для него, ибо почитала величайшим счастьем возможность втайне реставрировать, возвращать к жизни старинные вещи, утратившие возраст и практическое назначение; она вкладывала в свой труд почти абсолютный, изысканный вкус. В мастерской стоял невыносимый, удушливый запах. Эдуард спросил, как поживает ее маленькая дочка. Антонелла не ответила. Она ушла в глубину мастерской и вынесла оттуда две заводные игрушки Фернана Мартена – «Учительницу» 1888 года и «Знаменитого адвоката» 1905 года. Он присмотрелся: работа Антонеллы была совершенно незаметна. Она всего лишь просверлила заново рессоры и прикрепила их к шпильке оси механизма. Он подумал: «Она заменила зубчатые колесики». Поднял глаза: Антонелла снова исчезла.

Она неторопливо вернулась, неся очаровательную куклу Леона Казимира Брю, сделанную в 1855 году; Антонелла восстановила разбитые руки куклы с необычайно широко растопыренными пальчиками. Здесь реставрация также была сделана невероятно бережно. Отныне эта кукла займет почетное место среди лучших в мире: ее румяное личико с бездонным взглядом выражало печальное сочувствие, в котором, однако, не было ничего человеческого.

– Это потрясающе, Антонелла!

Она подняла глаза на Эдуарда Фурфоза.

– От меня... подарок, – сказала она.

– Да.

Он вынул бумажник, положил его на верстак. Антонелла работала на двух огромных плотницких верстаках. Запах остывшей рыбьей чешуи – вареной или пережженной и остуженной – мало-помалу захватывал обоняние и отдавался болью в голове. Эдуард отсчитал купюры. Помимо соблазна хорошего заработка – а Эдуард Фурфоз платил ей очень щедро, особенно за секретность и эксклюзивность, которых требовал взамен, – Антонелла явно питала подлинную страсть к работам, которые он ей поручал. Она не разговаривала. При каждом появлении Эдуарда она что-нибудь дарила ему.

Она вернулась с каким-то предметом, завернутым в пожелтевшую страницу римской «Мессаджеро». Что-то неразборчиво буркнула. Медленно протянула ему пакетик. Он улыбнулся ей. Внезапно она стала красной, пламенно-красной, точно пизанский кармин, красной, как карминовая шкурка апельсина,

съеденного несколькими часами раньше. Он с удовольствием смотрел на нее. Потом с тем же удовольствием начал неторопливо разворачивать газету.

Постепенно Эдуард высвобождал из газетной бумаги крошечного человечка из крашеной жести. Он даже застонал от восторга. Это была игрушка фабрики Ingar, начала тридцатых годов. Жестяной Шарло^[3] с телефоном – желто-синяя фигурка с торчащим в бок ключиком. Эдуард завел игрушку. Синяя рука Шарло, держащая телефонную трубку, лихорадочно задергалась с противным тихим скрежетом. Эдуард терпеть не мог звуки. Ему была ненавистна сама мысль о музыке. Он поморщился.

– Ты, – сказала она.

– Это я?

– Ты.

Он расцеловал ее, протянул ей лиры.

Эдуард сидел на холодном железном стуле, лицом к Арно, и усердно жевал кусочек миндальной нуги. Он уже выпил две чашки кофе. Если вдуматься, Эдуард Фурфоз весьма трепетно относился к собственным удовольствиям. Он любил детей, срезанные цветы, солнце, горькие названия темных сортов пива, теплую одежду, миниатюры на пуговицах и игрушечные машинки. Верил, что существует некая связь между душами младенцев, которые без стеснения кричат во все горло, и душами взрослых, чьи черты уже начинали сковывать страх смерти и молчание. И этот хрупкий мост между двумя пределами существования и столь различными свойственными им потребностями был предметом всех его забот. Словно он силился не потерять последний отзвук безжалостной, разрушительной страсти. Его не покидало чувство, что сохранение или восстановление этого волшебного моста составляет единственный драгоценный дар того, что люди привыкли именовать судьбой.

От сладкого у него ныли зубы, и он был счастлив. Вот уже полчаса как он расстался с Антонеллой. Эта игрушка из раскрашенной жести, ее подарок, грела ему душу. Он отыскал на стоянке японский автомобильчик, взятый напрокат. У него еще оставался в запасе целый час, нужно было как-то убить время. Он медленно катил по шоссе. Солнечный свет был таким ярким и жгучим, что у него разболелись глаза. Стоял май. Он подумал: а не купить ли очки для защиты глаз от солнечных лучей? И тут же устыдился этого желания отгородиться от красоты мира. Он слишком рано приехал во Флоренцию, где должен был встретиться в отеле с Маттео Фрире. Добрался до набережной Арно. Перед Библиотекой свернул на пьядца Пьяве, припарковался рядом с магазином. Сошел вниз по лесенке и, едва переступив порог, окунулся в холод, перестал видеть, угодил во тьму, подобную ночной. Мало-помалу его глаза привыкли к полумраку двух просторных залов с округлыми сводами, к красоте слабо подсвеченных витрин. Франчески здесь не было. Вероятно, она оставила бутик на попечение двух продавцов – Лауры, Марио. Марио было ровно столько же лет, сколько Эдуарду. А именно сорок шесть. Но выглядел он лет на

пятнадцать моложе. Эдуард мимоходом подумал: такой ли уж он хороший продавец, как утверждает Франческа?

Эдуард прошел в заднее помещение магазина. Он бережно отодвинул на другой край стола три маленькие полураспакованные коробочки. В первых двух покоились на слое ваты две египетские жертвенные статуэтки периода Среднего Царства,^[4] шести сантиметров высотой, трогательные своей размытой мягкостью облика. В третьей лежала миниатюра на нефрите эпохи императора Мураками.^[5] Он отыскал свободное место для своего блокнота и попытался – впрочем, безрезультатно – дозвониться в Париж Пьеру Моренторфу. Тогда он позвонил в Брюссель, на площадь Гран-Саблон; Франк оказался на месте, в магазине, и ответил ему. Эдуард сказал, что принял решение. Зимой он поедет в Нью-Йорк. А пока нужно найти другое помещение. Бутик в Нью-Йорке следует открыть как можно скорее. Это будет уже шестой его магазин. И семья наконец поймет его. Ибо после Брюсселя, Парижа, Рима, Флоренции и Лондона такое событие станет подлинным триумфом. И поистине королевской мезью. Вот когда смешки и мелкие шпильки антверпенских родственников прекратятся навсегда.

На прощанье он поцеловал Лауру. Выходя из магазина, он вдруг заметил великолепную деревянную красно-серую куклу-паяца под именем Пиноккио. У него вспыхнуло лицо. Гнев душил его. Он вскричал:

– Кто это написал? Снимите немедленно! Вы не имеете права!

И Эдуард ткнул пальцем в угол витрины, в черную табличку, на которой золотыми буквами, по-итальянски и по-английски, значилось:

ПИНОККИО

Середина XIX века.

Он просто задыхался от ярости. Проорал, что в середине XIX века на земле еще не существовало никакого Пиноккио. Что это значит издеваться над клиентами. Что это значит надувать клиентов.

От злости он начал заикаться. Он был смешон в своем гневе. Марио, набравшись храбрости, уверял его, что таблички на витринах составляет одна только Франческа. Зато Лаура даже головы не повернула, ее не интересовали эти более или менее ритуальные приступы гнева. Она прилаживала к волосам, то так, то эдак, черный пластмассовый гребешок. Присев на корточки, она ловила свое отражение в стеклянной витрине, где были расставлены английские антикварные игрушки XVII века: дамы-толстухи, трехмачтовые шхуны, вырезанные ножом из ореховой скорлупы, крошечные, в один сантиметр высотой, соборы из букса или бука, а рядом такие же крошечные экипажики из Юры, на фоне баварских или вюртембергских пейзажей. Лаура встала и вытащила гребешок, затерявшийся в ее черных блестящих волосах. Ей было двадцать лет. Она была очень красива. Она носила льняную юбку бледно-зеленого цвета, которая в полумраке помещения выглядела юбочкой феи – одеянием из мерцающего полупрозрачного папоротника. Эдуарду стало стыдно. Его голос все еще слегка вибрировал. Руки и сердце дрожали. Он вышел.

– Что мне надеть?

Франческа стояла перед своим платяным шкафом, обнаженная. Она расчесывала щеткой волосы. Утром она проснулась от жаркого щекотания солнечного луча, который медленно подобрался к ее лицу. Она попыталась смахнуть его пальцами. Но горячее прикосновение к щекам разбудило ее. Она поднялась, увидела, что Эдуарда больше нет в комнате. Ее слух все еще хранил отзвуки голоса минувшей ночи. То был низкий, глуховатый голос Эдуарда, почти всегда негромкий, – голос, который желание или волнение так часто наделяли легкой хрипотцой. Она подумала, что ей нравится глубина этого голоса точно так же, как может нравиться глубина вины, слишком явной, чтобы обойти ее молчанием, и еще потому, что чувствительность неизменно обнажала и выявляла его натуру. И еще ей нравилась детская серьезность этого мужчины. И нравилось беспечно, с удовольствием тратить деньги, которыми он располагал. Но зато она находила малоприятной его худобу. И ее постоянно раздражала его полная неспособность оставаться на одном месте больше двух-трех часов. Она презирала его манию окружать себя множеством крошечных предметов, один меньше другого. Она подумала: может, он не любит женщин, может, его вовсе не привлекают живые существа? Наверное, он только и любит, что эти малюсенькие механические вещицы. Только и любит, что поезда, машины, самолеты. Она вынула из шкафа черный костюм. Она не знала, как ему понравится. Конечно, она слишком заспалась. И они не занимались любовью. И он не поужинал. Она корила себя за это, неизвестно почему.

К Эдуарду направился очаровательный пятнадцатилетний бой, весь в галунах, в ливрее цвета тыквы. Подойдя к маленькой «хонде», он открыл дверцу. Взял ключи от машины. Эдуард поднялся по ступенькам отеля, назвал свое имя портье и проследовал прямо в сад. Сев за столик под полуденным солнцем, он заказал стакан холодного кофе и почувствовал, что холод кофе, что усталость сейчас начнут одолевать его.

Он возмечтал о пушистом, толщиной не менее двух сантиметров, шерстяном плеле. Ему даже почудилось, что он касается ткани; на самом деле он мял в пальцах хлебные крошки.

Он ждал Маттео Фрире. Двумя днями раньше, в Париже, ему доставили традиционный букет: одна красная гвоздика, одиннадцать цветочков дельфиниума, девять белых тюльпанов. Так, на языке цветов, они сообщались друг с другом. Язык этот, между прочим, родившийся еще в античности, в данном случае приводил в отчаяние флористов, ибо воплощался, по их мнению, в совершенно кошмарных сочетаниях. Соблюдая установленную символику языка, эти букеты в то же время содержали три кратких закодированных послания – о деньгах, об отеле, где назначалась встреча, и о времени свидания. Каждый тюльпан подразумевал пять тысяч долларов (сумма, превышавшая сто тысяч долларов, обозначалась либо высоким гладиолусом, либо веткой тубероз). Девять тюльпанов говорили о том, что сделка будет заключена в пределах сорока пяти тысяч долларов (приблизительно двести семьдесят тысяч

франков, то есть полветки тубероз), а процент с продажи составит около пяти тысяч четырехсот долларов. Одиннадцать мелких дельфиниумов называли время встречи. А одна красная гвоздика – старинный символ единения еще со времен революционеров Франции конца XVIII века – указывала таким оригинальным образом название отеля – «Франция».

Странная это была среда – рафинированное и в то же время беспощадное сообщество коллекционеров детских игрушек. Ненависть, зависть, борьба – все здесь было, как повсюду, разве только еще подогретое ярким и упрямым воспоминанием о раннем детстве. Особенно жестоко воевали между собой собиратели кукол и игрушечных машин. Доносы в налоговые органы, кражи, помещение соперников в психиатрические лечебницы – все шло в ход, лишь бы завладеть этими маленькими империями. Самым одержимым из всех ненормальных клиентов, которых знал Эдуард Фурфоз, был Луи Ла-Э, коллекционер деревянных пасбулей^[6] начала XX века. Пускай целая вселенная разинет рот и больше никогда не закрывает его – таково было страстное желание Луи Ла-Э. Он велел снести все внутренние стены в своей квартире, расположенной в начале авеню Бретей, вблизи от площади Вобана. И расставил в малой зеркальной галерее площадью сто пятьдесят квадратных метров, подобно средневековым рыцарям в доспехах, сто десять или сто двадцать великолепных деревянных идолов с широко разинутыми ртами, в которые забрасывались шары. Бело-розовая Жанна д'Арк с открытым ртом, а рядом серый гиппопотам с разинутой пастью. Наполеон Бонапарт с открытым ртом, а рядом огромная зеленая рыбина с разверстой пастью. Иисус из Назарета с открытым ртом, скорее желтым, чем розовым, а рядом гигантская голубая стрекоза с распахнутой пастью, а может, ртом, или клювом, или что там бывает у стрекоз. Есть вещи, которые и назвать-то трудно. Луи Ла-Э подозревался в убийстве одного панамского бизнесмена и священника-иезуита. Его жена на следующий день после развода покончила с собой при обстоятельствах, которые, как ни странно, всем показались нормальными. Последнее время, с наступлением старости и глухоты – теперь, чтобы добиться ответа, приходилось кричать ему прямо в ухо – он увлекся коллекционированием медных слуховых рожков, вышедших из рук самого Мельзеля, гнусного изобретателя метронома и друга Бетховена; этот Мельзель, несомненно, заслужил, чтобы его самого превратили в пасбуль. Эдуард сильно опасался, как бы собирательская страсть Ла-Э не распространилась и на все прочие отверстия человеческого тела. И потому предусмотрительно перевез в свой офис на улице Сольферино коллекцию уникальных оловянных коленчатых футляров XIX века, служивших для предохранения от ночных мужских поллюций.

Эдуард встал, подозвал официанта. Фрире все еще не явился. Он попросил принести ему телефон. Позвонил в Париж. Пьер Моренторф только что пришел в офис. Секретарша соединила их, и он услышал гнусавый, пронзительный и медоточивый голос Пьера; оказывается, тот был у врача (Пьер страдал тяжелой формой аллергии к парижским мостам, которую лечил «рогипнолом» и еще, для верности, гомеопатией – с помощью какого-то таинственного порошка из щуки под белым соусом). Они спланировали несколько пиратских набегов в океане

игрушек. Согласовали сумму оплаты участия в лондонском «Сотбисе». В общем, обычная рутина. И каждый день одна и та же надоевшая песня:

– Продавайте, Пьер.

– Месье, речь идет о «Жокее» 1880 года, в шелковом красно-черном камзоле, с фарфоровой головкой. Карт из жести. Лошадка, как и все лошадки на земле, обтянута свиной кожей.

– Сообщите все это Франку. Послушайте, Пьер, вы, как всегда, просто уморительны. Передайте Франку, чтобы покупал. И перестаньте величать меня «месье».

– Кукла из Коппельсдорфа, 1890 года, мастер Арман Марсей, руки из бисквита, туловище деревянное, ноги тряпичные, как...

– ...как ни у одной женщины на земле. Не нужно. Ей-богу, вы... ну ладно, прощайте!

Эдуард резко положил трубку: к нему поспешал миниатюрный японец. Эдуард протянул ему обе руки. Они обнялись. Маттео Фрире был японцем – по крайней мере, родившись от отца-итальянца из Рагузы и очаровательной крошечной матери из буржуазного семейства в Ниихаме, на западе большого острова Сикоку, он внешне выглядел чистокровным японцем. Фрире был больше, чем соперником. Этот эксперт (как сам Эдуард) и торговец антиквариатом подмял под себя не только всю Азию, но и обе Америки, Северную и Южную. Тогда как сам Эдуард Фурфоз царил только в старушке Европе. Их интересы сталкивались повсюду: в подземных «пещерах» особняка Дрюо,^[7] в золотисто-желтом зале «Сотбиса», в красном зале «Кристи». Все знали за Маттео Фрире лишь одну слабость: он коллекционировал поясные подвески. И надо было слышать, как Маттео Фрире произносит с сицилийским акцентом японские слова «netsuke Katabori» или «tanju». Это были маленькие, от трех до девяти сантиметров в высоту, фигурки чудищ или других сказочных персонажей, виртуозно выточенные из корней, ракушек или слоновой кости. Эдуард Фурфоз использовал эту причуду, чтобы умаслить своего противника. Маттео Фрире вел себя в отношении Фурфоза точно также. Пристрастия Эдуарда отличались большим разнообразием: кроме горьких сортов пива и странных имен он жадно любил жестяные машинки XIX века, миниатюры на пуговицах, на крышках часов и табакерок. Это и были их взятки. Стоимость подобных вещей составляла около 20 % от суммы, указанной букетом цветов.

Они сели обедать. К великому огорчению Эдуарда, Маттео Фрире потребовал столик в тенистом уголке сада. Они ели мясо козленка и сахарные бобы. Усугубив сожаления Эдуарда, Маттео Фрире вздумал заказать бутылку итальянского вина из области Лацио. Они условились о продаже нецкэ Томотады и о предельной сумме затрат – два миллиона франков – на торгах лондонского аукциона. Эдуард вынул из кармана эротическую нецкэ Рантэя^[8] – «Стыдливую женщину» стоимостью тридцать шесть тысяч новых франков, что было почти даром для такого очаровательного сюжета (правда, фигурка была в крайне плохом состоянии), и изумительного «Писца-мечтателя», стоившего всего восемнадцать тысяч. Тридцать шесть и восемнадцать тысяч составляли

как раз двадцать процентов от девяти тюльпанов. Фрире извлек из своего кармана крошечную, всего в пару квадратных сантиметров, табакерку и, хитро сощурившись, протянул ее Эдуарду. У Эдуарда заблестели глаза. Это была «Заря в Брюгге» – заря 17 мая 1302 года в Брюгге. Можно было различить воду, еще подернутую утренним туманом, и с десяток *klauiwaerts* – воинов с когтистыми геральдическими львами графов Фландрских на груди; они бодро кромсали французских оккупантов. В левом уголке табакерки спасался бегством Жак Шатильон.

Эдуард Фурфоз, низко склонившись над подарком, даже застонал от счастья. Он жадно разглядывал лежавшую на его ладони крошечную табакерку XVIII века, сделанную льежским мастером. Он вновь заключил союз с Маттео Фрире. Маленький японец, оживленно жестикулируя, напомнил Эдуарду Фурфозу обстоятельства их первой встречи, улицу Хоогстраат в Антверпене во время наводнения 1977 года. Эдуарду следовало бы остеречься: Фрире никогда еще не заговаривал о начале их дружбы на набережных Эско – это означало, что он вынашивает какой-то тайный замысел, всегда чреватый опасными последствиями. Маттео Фрире описывал свое ощущение подавленности и одновременно восторга перед внушительным особняком родителей Эдуарда, стилизованным под конец XVI века, а на самом деле выстроенным в 1880 году на Корте Гастхюйсстраат, столовую с четырнадцатью красными стульями, всех девятерых детей, их мать – отрешенно-величественную, очень красивую, любезную даму, а главное, треск деревянных половиц на верхнем этаже, над головой, – звук, от которого испуганно билось сердце. Эдуард едва слушал. Официант сообщил Маттео Фрире, что его ждут в холле отеля. Тот встал и принялся церемонно извиняться, пять или шесть раз поклонившись в пояс. Эдуард тоже поднялся и протянул ему руку.

– Вам не кажется, что здесь холодно?

Но Маттео уже уходил, исполнив весь прощальный ритуал: широкие взмахи рук, горячие южноамериканские объятия, усердные кивки. Наконец он скрылся за соснами на дорожке, ведущей к отелю.

Эдуард Фурфоз совсем озяб. Он представил себе тканые шерстяные плащи-накидки, темно-синие или темно-зеленые, какие носили древние викинги в Исландии, Гренландии, у побережья Северной Америки. Потерев глаза, он избавился от образа Маттео с его подобострастными поклонами; японец уже исчез в полумраке отеля. Внезапно его пронзило сожаление о былых скандинавских торжищах, пропахших медвяным пивом, о сделках у всех на виду, прямых и честных, под звон мечей и топоров, карающих смертью того, кто не сдержал данного слова. Маттео Фрире – вот кому никогда не следовало доверять полностью. Эдуард пригубил вина из Лацио, поморщился и тотчас заказал еще кофе. Любуясь подаренной табакеркой, он поднес ее к лицу, бережно вдохнул аромат ушедших веков. Затем положил на стол среди крошек, на место чашки от эспрессо, которую только что унес официант.

В любой день его жизни не проходило и двух часов, чтобы он не озяб и не заскучал. Тщетно Эдуард Фурфоз старался заполнить свое время до отказа – ему вечно нечего было делать. Тщетно переезжал он с места на место, постоянно находясь в пути, – нигде он не находил спокойной гавани. Где же она, эта гавань? А где маркграфство Антверпенское, где великое герцогство Тосканское и старинные фландрские ткани, которые в былые времена вымачивали в Арно? Он подумал о Франческе, с которой ему предстояло встретиться всего на четыре часа. Не спуская глаз со своего «Брюгге», водруженного среди крошек, он бессмысленно твердил про себя: «Флоренция, главный город французского департамента на реке Арно!» – и выкладывал кусочки хлеба вокруг табакерки с миниатюрой, точно игрушечную крепостную стену. Французы разграбили Флоренцию, и французы же разграбили Антверпен. Грабители, или, вернее, люди, которые сортируют и раскладывают рядками старинные сокровища, – вот что такое коллекционеры. Жалкие подобия пиратов, лишаящие вещи их истинного назначения. В самом деле, что за нелепость: ключи без дверей, юбки без тел, шпаги без трупов, остановившиеся часы, монеты, на которые уже ровно ничего не купишь?! Что за глупость – игрушки без детей?!

Он коснулся пальцем крошечной «Зари в Брюгге», еще не утратившей смутный запах былых веков, одним движением смел «мощный» бастион из крошек. И подумал: чем сильнее время разрушает эти похищенные у прошлого предметы, которые возят с места на место, тем меньше их реставрируют. Совсем как его сердце. И чем меньше они служат своему прямому назначению, тем выше их рыночная стоимость. Все это граничило с настоящим безумием. Он тратил свою жизнь на то, чтобы укутывать в вату или тарлатан божков, потерявших свою истинную суть. И чем туманнее становилась их суть, тем чаще их выставляли на всеобщее обозрение. Их раскладывали в витринах. Витрины защищали пуленепробиваемыми стеклами. Это были трофеи из прошлого. Сокровища минувших времен. А потом вдруг звучал боевой рожок. Неприятелю предоставляли честь первого залпа. Поля сражений назывались «Кристи», «Дрюо», «Сотбис». Но были и другие войны, более скрытые, более жестокие – вторичные сделки, следом за первыми, а нередко и третичные, изобилующие ловушками, замаскированные мягкими голосами и учтивыми масками. То были империи, желавшие сохранить инкогнито, молчание, королевский или божественный статус, священную тьму, некогда их окружавшую. Правительства тоже занимались грабежом, скупали сокровища за бесценок. Военные или религиозные диктаторы замуровывали их в тайниках на горных склонах или в подземельях самых высоких небоскребов. А были ведь еще и дипломаты, и серые кардиналы, коварные в той же мере, что и незаметные; эти орудовали в тени, ловко управляя ходом сражений и обогащаясь, непрерывно обогащаясь на руинах цитаделей времени, на обломках фантазий мертвецов. И Эдуард Фурфоз был одним из них. Он был капитаном корвета, который наводнил Северную Европу всем, что когда-то держали детские ручонки, давным-давно истлевшие в земле.

Ему виделись руки. Руки, украшенные драгоценностями. Руки, сотрясаемые дрожью. Запачканные краской руки Антонеллы, протягивающие ему Шарло, завернутого в «Мессаджеро». Как рассказывала его сестра Арманда, в трех или четырехлетнем возрасте он объявил, что станет торговцем бриллиантами. «Анвер», «Антверпен» – это слово означало отсеченную рукою Сильвиуса Брабо руку великана, окровавленную руку бога Тира, брошенную в воды Эско, засверкавшие самыми прекрасными алмазами древнего мира.^[9] Два дня назад он заметил на набережной Анатоля Франса изящную руку с рубином-кабошоном на среднем пальце; камень уникального цвета ярко пылал на фоне бежево-песочного шелкового костюма. Он мечтательно подумал о Пеликанстраат.^[10] Его пальцы упорно дробили хлебные корки, превращая их в белое крошево. Он воображал себя ювелиром, припавшим к микроскопу, в модернистском офисе на Шупстраат. Ему чудилось, будто он разглядывает сквозь линзу рубин-кабошон.

Он смотрел на стол, на «Зарю в Брюгге» среди развалин «крепости», лежащих по ту сторону грез – или смерти – рядом с черенком вишни. Он сидел в тесной деревянной хижине, в селении Эйков.^[11] Обмакивал тонюсенькую, в два волоска, кисточку в стаканчик с киноварью или позолотой. Реставрировал алтарь, часослов, великолепную «Тщету». Вот, например, хороший сюжет для «Тщеты» размером двадцать квадратных сантиметров: чашечка кофе, череп и стебелек вишни, а еще отрубленная рука, вцепившаяся в свитер – очень теплый, необыкновенно теплый свитер из ангоры, такой же мягкий на ощупь, как кошачья шерстка или детский животик.

Он вздрогнул. Поднялся. Передвинул стул из тени на солнце. Нет на земле более мрачного места, чем Эйк-на-Мезе. Он не ощущал себя уроженцем какого-то города, какого-то континента, какого-то места обитания – вокруг были только море, да ветер, да страх.

В нем не было ничего парижского, ничего лондонского, или римского, или нью-йоркского, или антверпенского. Бельгийское государство вело свое существование лишь с 1830 года. То есть еще несколько коротеньких мгновений назад бельгийское государство не существовало. И не было нигде городов, одни только малюсенькие островки, плававшие в необъятной пустоте – руки бога Тира, брошенные в океан, в древнюю, нечеловечески холодную бездну времени на заре палеолита. Когда Северное море еще поглощало Фландрию. Когда скандинавские ледники еще сковывали северную Бельгию. Ему, наделенному особым складом ума, свойственным всем собирателям древностей, чудилось, будто все это он ясно помнит.

И по той же причине он ощущал свою нерасторжимую близость со страной, где родился. Мрачный и непреклонный патриций в черно-зеленых одеждах, потомок суровых ганзейцев, ведущих свой род еще со времен Сальвиати и Фуггеров,^[12] – не считая того, что его дед и бабушка по отцовской линии состояли в родстве с династией гантских прядильщиков, чьи легкие заполнял сперва трубочный дым, а потом, со временем, дымок от сигар, – Эдуард Фурфоз даже представить себя не мог родившимся где-нибудь в другом месте Земного шара,

а не на этой древней «руке» – окровавленном «антверпене», брошенном в ледяное море. Какие-то люди некогда бродили там, ели мясо гиен, мамонтов, медведей. Они свеживали еще живых ревущих зверей, сдирая с их кожи острыми костяными ножами шерсть, ту самую шерсть, что легла в основу богатства Фурфозов. Они ютились в закопченных пещерах, похожих на те, что он часто посещал ребенком, вместе со своими тремя братьями и пятью сестрами, по воскресеньям осенью в районе Намюра. В древности он был одним из тех людей. Он сам жил в такой сырой, студеной пещере. Он готов был дать на отсечение собственную руку в доказательство того, как ясна его память о прошлом. С той же безошибочной эрудицией, что помогала ему оценивать крышки табакерок, он мог описать синевато-коричневые своды пещер на Мёзе и зеленые гроты на Лессе. Ван Эйки эпохи мезолита высекали свои первые миниатюры на кремневых стенах. Вытачивали божков в виде женских фигурок из мамонтовой кости. Вырезали изображения маленьких жонкилей на рогах убитых оленей. А потом наступил конец. Из-за Рейна явились черноволосые и белокурые брахицефалы, они возвели селения на болотах, и началась эпоха безвозвратного упадка. Эдуард не испытывал ни капли восхищения перед менгирами Велен-сюр-Самбра. Они были безобразно велики.

Даже фамилия, которую он носил, напоминала о тех речных пещерах, где охотники – или люди, что рыбачили на Лессе, – вырезали свои «нецкэ» из кости и рыболовные крючки из рога. Фурфозом зовется скалистый утес, у подножия которого протекает Лесса. Именно на вершине Фурфоза, в небольшой крепости, напоминающей цитадель Эправ над Ломмой, спасались последние галло-римляне под командованием Децима Авиция, при императоре Юлиане, во времена первых набегов франкских племен.

Официант принес заказанную чашку эспрессо, и Эдуард Фурфоз встал. Взял свое зеленое шерстяное пальто, закутался в него и снова сел за столик. Долго массировал лицо и веки. словно стирал дурной сон. «Итак, – сказал он себе, – я заключил две великолепные сделки с Маттео, а вынес из этого лишь досаду и замешательство». Он выпил кофе. Черный напиток, душистый и терпкий, был теплым. Он разровнял на скатерти истертые в порошок крошки. Отчего он так скучает в залах ресторанов, в гостиных у родственников, в спальнях любимых женщин? Какое-то непостижимое одиночество таилось в нем самом – засело в мозгу, разливалось по всему телу. Пустота, притягивающая все новую и новую пустоту. Вечный поиск чего-то далекого, ускользающего, недоступного – в ином мире, в иных, истекших временах. Вечная тяга к иной, ушедшей жизни. И вечное, иногда просто цепенящее чувство, что ты забыл и никак не можешь вспомнить чье-то имя, которое вертится на языке, какую-то очень важную вещь, и нужно искать, непрерывно, неустанно искать это, где бы ты ни был, во всех уголках земли, и пока не отыщешь, это чувство будет мучить тебя каждую минуту, словно ощущение непреходящей вины. Антонелла была права. Он – всего лишь маленький Шарло с дергающейся рукой, сжимающей телефонную трубку, только сейчас его собственная рука вцепилась в табакерку. Он взглянул на свою руку: она крепко держалась на запястье.

Стакан воды, пронизанной солнечным лучом, две почти черные вишни, кровавая вишневая косточка, лежащая на скатерти, черенок, повисший над краем стола... Он протянул к свету худую белую руку, свою руку, крепко державшуюся на запястье, свои пальцы, сжимавшие «Зарю в Брюгге», и все ее краски вдруг заиграли, вспыхнули еще ярче под более щедрым, более жарким послеполюденным солнцем. Эдуард Фурфоз любовался этим сиянием – предвестием лета. В таком освещении разоренный стол и впрямь выглядел натюрмортом с берегов Мёзы или из Голландии. Он взял со стола табакерку и сунул в карман, прикрыв «Зарю» платком.

Она приняла ванну. Ее волосы были еще влажны, и она решила надеть платье цвета «электрик». Франческа выглядела раздраженной, сердитой. Она вынула из шкафа платье на вешалке. Надела его, с ненавистью обозрела себя в зеркале, расстегнула пуговицы. Дала платью цвета «электрик» соскользнуть на пол.

Затем она выбрала причудливый ансамбль из темно-зеленой ткани с блестками в виде чешуи, надела его, две секунды разглядывала себя, испытывая острое желание укусить – то ли свое отражение, то ли зеркало, – и отбросила костюм прочь. Натянула джинсы. Резко оглянувшись, попыталась поймать свое отражение со спины. И, хотя она была одна в комнате, злобно прошипела сквозь зубы: «До чего же мне не нравится собственный зад!» Ее лицо гневно исказилось. Она выглядела женщиной, которой мерзок вид собственного тела.

Она снова обнажилась. Накинула халат из черной фланели, но тут же брезгливо отшвырнула его. Ей очень хотелось, чтобы Эдуард был здесь. Уж он бы подсказал ей, в каком наряде она больше всего нравится ему.

Она села голой на постель, уперлась подбородком в колени. На глаза потихоньку наворачивались слезы. В комнате было слишком жарко. Снег... Вот чего ей сейчас хотелось. Жить в шале, заваленном снегом, брести по снегу к своему шале, войти в шале, приблизиться к очагу с веселыми язычками огня, потомить в чугушке «миротон» – говядину с коньячным соусом: вот какую жизнь ей следовало вести. А потом, глядя в окно на падающий снег, неспешно и старательно переводить английский роман или индийский роман, написанный по-английски. Надевать толстые шерстяные носки, а на них резиновые сапоги, возвращаться с пешей прогулки или с лыжни промокшей, озябшей, стаскивать резиновые сапоги возле очага, стаскивать носки возле очага и глядеть, как они дымятся, подсыхая над огнем, – вот так она мечтала жить. А здесь было слишком жарко. Как же ей хотелось, чтобы стало холодно! Как хотелось купить себе желтый шерстяной шлем! Купить сразу десять пар шерстяных перчаток разных цветов. Мягких безразмерных шерстяных перчаток. И почему никто никогда не дарил ей поваренных книг?!

Конец дня выдался совсем теплый. Снаружи захрустел гравий. В щелку ставней она увидела, как он подходит к террасе. Внезапная тишина объяла дом. Она представила, как он входит, окунается в тишину дома, трет глаза, чтобы вернуть им, ослепленным, зоркость, скидывает свое дурацкое пальто, которое упрямо носит даже в эту теплынь, смутно различает вещи, двери и стены. Это

он во всем виноват. Он так редко приходит. Он так мало любит. Дверь спальни отворилась. В сумраке она увидела, что он смотрит на нее. Он заметил на постели обнаженное тело, колени, поднятые к подбородку. Подошел и, не успев даже разглядеть ее как следует, всю целиком, опустился на колени, уткнулся лицом в ее живот.

И они начали шептаться.

Глава II

*Ничего страшного.
Просто лысые убивают друг
друга ради блеска костяного
гребешка.*

Флориан [13]

Они отправились во Флоренцию, в их магазин, после долгого спора о возрасте Пиноккио. Франческа и Эдуард держались за руки. Она находила это вызывающим. Ей было весело вспоминать их препирательства по поводу Пиноккио. Она ужасно любила возбуждение и злость таких домашних сцен, когда после громогласных упреков и воплей можно разразиться слезами, ручьями слез, и захлебываться рыданиями, и обмениваться носовыми платками, и приникать друг к другу, всхлипывая все тише и тише, и сплестись наконец в объятии, и ласкать укромные места любимого тела с чувством, похожим на смирение, куда более человечным, нежели кокетство или страстные, а на самом деле просто обезьяньи ужимки вождления; ласкать, ощущая взаимный стыд и облегчение перемирия – теплого, согревающего, исподволь сулящего наслаждение, которое медленно вплетается в забытье сна.

– Поговори со мной!

Он повернул к ней голову и улыбнулся одними глазами, слегка прищурившись; потом наклонился, поцеловал в щеку и продолжал молча шагать рядом. Ах, до чего же этот человек – немногословный, зябкий, нескладный, тощий, отрешенный – раздражал ее! Они сократили путь, пройдя через крытый рынок. Внутри было сумрачно и грязно. Зато здесь приятно веяло прохладой. На пустых прилавках чудились призраки рыб, овощей, сыров, хотя, если взглядеться, здесь всего-то и было, что промозглая коричневая полутьма.

– Тебе не кажется, что тут пахнет мочой?

– Это наипервейший из человеческих запахов, – отозвался он.

– Ой, я тебя умоляю...

– Младенец длиной в пару дециметров способен напрудить целое море...

Франческа пожалала плечами. Спустя несколько секунд она повернулась к нему и спросила с неожиданной злостью: «А есть ли на свете коллекционеры младенцев?» «Да», – ответил он. «И как же их называют?» – осведомилась Франческа. Эдуард сказал: «Многодетные матери. – И добавил: – Например, моя мать, Годлива Фурфоз, очень любила коллекционировать младенцев. Иногда, по праздничным дням, она глядела на нас с большим удовольствием. Нас было девятéro в семье... И как только расцветали первые жонкилы, она всегда ставила девять цветков на стол, где ели мы, дети». Они выходили из

здания рынка, щурясь от яркого света. Эдуард остановился. Протянул вперед руку. И сказал:

– Посмотри. Мне нравится. Просто загляденье.

Вдали, в центре площади человек размером с муху, весь в синем, карабкался по лесам, окружавшим церковный шпиль. Он бесшумно полз наверх в меркнувшем свете дня. Солнце играло отблесками на игрушечных синих штанах.

– Даже сам не знаю, почему он мне так нравится, Ты видишь, как это крошечное синее создание поднимается в небо?

Франческа, морщась от света, вынула из сумки солнечные очки.

– Идут мне эти очки? – спросила она, обернувшись к нему.

Они приехали на вокзал.

Ему не спалось. Он надел черный свитер из овечьей шерсти, натянул брюки. Вышел. Дом Франчески стоял поодаль от других, на склоне холма, чуть дальше Импрунетты; мимо него проходила дорога на Сиену. Воздух был теплым и нежным. Он побродил по окрестностям, едва не заблудился. Шесть или восемь месяцев назад, когда они только-только сошлись, им нравилось возвращаться домой пешком, поздно, так поздно, что невозможно было разглядеть тропинку среди кустов и еще красные камни на холме. Они падали друг на друга, они занимались любовью где попало. Тогда Франческу еще не раздражало состояние или вид его одежды. Эдуарда пронзила дрожь. Свитер из овечьей шерсти, купленный в Брюсселе, не согревал тела. Он потрогал его. Свитер был мягкий, но продувной. Эдуард Фурфоз ни разу в жизни не надел свитера из синтетической пряжи, целлюлозы, полиамида, хлорофибры, акрилика. Эдуард Фурфоз был фанатично предан натуральной шерсти – шерсти животных, шерсти, в которую одевались его предки. Вдруг он увидел вдали террасу. Как же это он забыл выключить свет! Подойдя к пробковому дубу, он заметил маленькую, не больше двух сантиметров, цикаду, блестящую, коричневую, или, вернее, золотистую. Она лежала на земле, готовясь то ли к линьке, то ли к смерти. Он опустился на колени, не в силах бороться с мыслями. Это был приступ оцепенения, абсолютной пустоты. Что-то звало его, окликало, а он не знал, что именно. Временами его настигали такие внезапные приступы, тайну которых он не мог бы объяснить даже себе самому. Ему чудилось, будто он только что потерял дорогую для него вещь, – он не знал какую, но был твердо уверен, что больше никогда не увидит ее, никогда не узнает, что это было. Или же ему казалось, будто его зовет издали какое-то крошечное существо – плачет, стонет от боли, голода, страха – и нужно спешно бежать ему на помощь, но неизвестно куда. Он выпрямился, пошел к дому. А еще ему случалось чувствовать, что его собственные руки катастрофически пусты, что он до сих пор и не жил, что он безнадежно далек от той черты, за которой начинается счастье, что он даже не пригубил чашу извечных наслаждений языка, чресл, ума, пальцев, ушей и глаз. Что он еще ни на шаг не приблизился к красоте земли. И тогда нужно было мчаться на запад. Нужно было готовить к отплытию

драккар. Нужно было вынуть из ножен и наточить мечи и боевые топоры. Нужно было сколоть на плече массивной золотой фибулой две полы широкого плаща из шерсти и морского тумана... Он толкнул дверь дома и вдруг ощутил ненавистный запах сигареты со светлым табаком.

Пока Эдуард прикрывал дверь, ему пришел на память образ матери, неразрывно связанный с запахом голубых Player's, которые она любила курить. Когда он вернулся, в возрасте десяти лет, из Парижа в Антверпен, чтобы поступить в шестой класс, и вошел в просторное здание на Кorte Гастхюисстраат, его тотчас настиг этот сигаретный запах, застоявшийся, едкий дух мужской казармы, на котором сосредоточилась вся его ненависть, отвратительный ему до такой степени, что всякий раз, как он переступал порог большого особняка, где жила мать, этот запах густого меда – волна запаха густого меда, – насквозь пропитавший самый воздух родительского дома, вызывал у него тошноту и удушье. Он так и не понял, что после освобождения Парижа родители оторвали его, шестилетнего, от братьев и сестер и отослали к тете Оттилии на площадь Одеон, где его записали в начальный класс лицея Мишле, только для того, чтобы он выучил французский перед поступлением в шестой класс. Он запретил себе любые воспоминания о тех кошмарных детских годах, прожитых в Париже.

– Ну скажи, что же мне надеть? Леонелла придет к нам ужинать.

– Да оденься как хочешь.

Она застала его врасплох. Укутавшись до самых глаз в пушистый шерстяной шарф, он подремывал в шезлонге рядом с дубом, рядом с мертвой цикадой и вспоминал Париж, белокурую красавицу с гордой осанкой, встреченную на набережной Анатоля Франса. Франческа, вторгшаяся в размышления Эдуарда, заставила его осознать характер этих ленивых грез. Он возненавидел свои бесплодные навязчивые мечтания. Встал. Франческа была вся в поту. Она только что вернулась с теннисного корта и еще не успела снять свою блузку поло и белую юбочку. Ее белые носки и лодыжки запорошила красная кирпичная пыль. Теперь она обратила свою неумную энергию на стрижку кустов букса – в честь прихода Леонеллы, подравнивая их большими черно-желтыми садовыми ножницами. Он подошел к ней сзади. Схватил за плечи. Она обернулась. Он взял ее за руки, притянул к себе, крепко прижал. И застыл, прижимая ее к себе. Он чувствовал холодную сталь садовых ножниц между их животами, сталь, разделявшую два их живота. Поскольку она закрыла глаза, он целовал ее сомкнутые веки. Она снова спросила его:

– Ну как тебе хочется, чтобы я оделась сегодня вечером? Леолла придет ужинать.

Леоллой, или Леонеллой, звалась закадычная подруга Франчески. Прежде она была певицей, но такой бесталанной, что решила заняться медициной. И в результате стала «придворным» отоларингологом всех более или менее известных театральных звезд, живущих в Болонье и Риме, где она держала кабинеты. Ее некрасивость внушала симпатию или, скорее, доверие, и успех

неизменно сопровождал ее. Ее фотографии регулярно мелькали в газетах, в глянцевых журналах, то с подписью «Знаменитый фониатр щадящей медицины», то с еще более лестной характеристикой «Богиня дыхательных путей». Внешне она походила на винный бочонок с трубным голосом, вечно обряженный во что-то вроде пижамы, если допустить, что бочонки носят пижамы. Она непрерывно кашляла и курила – и чем больше кашляла, тем больше курила, вероятно, надеясь за курением отдохнуть от кашля. Она любила женщин. А Франческа все допытывалась:

– Леолла придет на ужин. Как ты считаешь, как тебе кажется, что мне лучше надеть?

Эдуард сбежал в гостиную. В течение получаса ему удалось спокойно почитать «Газет де л'отель Дрюо» и потрясающие описания экспонатов в «Интернешнл превью». Но обе влажные руки Франчески внезапно прикрыли ему глаза, помешав читать. Она сказала:

– Понимаешь, в чем трудность: мне не хочется выглядеть смешной.

Франческа сняла руки с глаз Эдуарда и встала перед ним. Подняла палец. Затем второй.

– С одной стороны, я не хочу быть незаметной. С другой, не хочу быть слишком заметной.

– Это сложная задача.

– Я, наверное, выгляжу деревенской дурочкой. Ты, наверное, так и думаешь! Ну признайся!

Теперь на ней было коротенькое розовое платьице. Франческа продемонстрировала ему это платье, складки платья, свои колени, округлые и пухлые. Вид у нее был совсем растерянный, убитый.

– Понимаешь, сегодня розовое, сама не знаю почему, мне совсем не к лицу. – Нагнувшись, она шепнула ему на ухо, еле слышно: – Я в нем похожа на шлюху.

Он не ответил. Чмокнул ее в щеку. И подумал: «Лучше уж обрядись в свое лисье боа, надень кроссовки на ноги и возьми зонтик». Но ему удалось обуздать эту мысль.

Однако Франческа все же расплакалась. Он встал. Начал ласкать ее. Осушал губами слезы. Целовал веки, соленые от слез. А сам думал: «Эта женщина – попрошайка». Не было минуты, чтобы она не надоедала ему, вымогая комплимент. И точно так же вымогала она наслаждение в любви. Она тратила два-три часа в день – перед тем, как выйти из дома, при условии, что вообще находила одежду, позволяющую ей выйти, – на созерцание вешалки с шестью десятками или сотней юбок и платьев, на выбор, который доводил ее до истерики. Тогда она бежала к нему.

– Ты и вправду считаешь, что черные брюки и черный свитер смотрятся не слишком мрачно?

И шла примерять что-нибудь другое, пробовала одно сочетание, второе, третье, отменяла выбор, приходила в отчаяние. У нее опускались руки. Она бессильно садилась на пол.

– Ты уверен, что в этом голубом клетчатом платьице я не буду казаться старой девой?

Она никогда не уставала перебирать ткани. Вернее, Франческа не перебирала их, а могла часами сжимать в пальцах – так ребенок держится за край простыни или уголок подушки, чтобы уснуть. Она вертелась перед зеркалом, извиваясь, разглядывая себя со всех сторон, принимая самые немислимые позы – кокетливые, вызывающие, грациозные. Казалось, она ищет давно сброшенную змеиную кожу, или наряд феи, или материнскую одежду, которые носила некогда и теперь безуспешно пыталась найти. Больше всего ей нравилось ходить просто голой. Тогда она выглядела счастливой. Но вот чем прикрыть тело? Где отыскать фиговые листки Эдема? Как накраситься? Как причесаться? Какие надеть украшения? Какой пояс? Какие серьги? Между нею и остальным миром простиралась эта адская пропасть, которую нужно было одолевать заново каждый день. Случалось, она с мрачным упреком говорила Эдуарду:

– Пойми, ты мог бы мне помочь! Когда я была маленькой, меня одевала мама. Она одевала меня до тех пор, пока мне не исполнилось девятнадцать лет. Каждый вечер она раскладывала в ногах моей постели платье на завтра.

– Я тебе не мама. А ты уже не маленькая.

Говоря это, Эдуард искренне возмущался: как же это ее мать могла заботиться о нарядах своего дитяти до такой степени, чтобы по вечерам вынимать их из шкафа и раскладывать на краешке постели?! Его собственная мать – чудесная женщина, человек, которого он любил больше всего на свете, если не считать игрушечных машинок, – никогда не заглядывала к нему в спальню, более того, вообще не поднималась на верхний этаж, где жили дети. Честно говоря, он даже не был уверен, что ей известно о существовании этого этажа и детских комнат. Она произвела на свет девятерых детей. Но он сильно подозревал, что она не интересовалась, выжили ли они после рождения.

Держа в руке стакан розового вина, зажав в пальцах кусочек миндальной нуги, он говорил по телефону с Пьером Моренторфом. Позвонил Франку в Лондон, позвонил в брюссельский магазин. Затем вернулся к Леонелле и Франческе, которые сидели на полу, раскладывая журналы и книги, в седых облаках дыма от сигарет со светлым табаком. Франческа вскочила на ноги с невыразимой радостью.

– Ну как? Разве я не прекрасна? – спросила она. – Признайся, что ты потрясен!

И она игриво ткнула его кулаком в живот. Он согнулся вдвое и признал, что ее платье свободного покроя с глубоким вырезом, без рукавов – просто чудо. Они сели за стол. Были поданы постные свиные ножки, красноватые букатини, [14] посыпанные сладким перцем. Ужин проходил безрадостно, и только «Пино Гриджо», выдержанное и сладкое, оживляло атмосферу. Леонелла восторженно рассказывала про бельканто, про спреццатуру, [15] прерывая каждое слово надсадным кашлем. Комнату заволоч густой табачный дым.

Эдуарда одолела мигрень, и он покинул дам неприлично рано. Франческа пришла в ярость. В два часа ночи она явилась в спальню, начала укладываться в постель и бесцеремонно разбудила его. Начала упрекать в эгоизме, в

равнодушии, в частых отлучках и поездках, в неучтивости по отношению к Леонелле, к этой «подлинной звезде» итальянской медицины. Нет, он и впрямь ужасный облом.

Франческа сидела на постели. Все четыре дверцы стенного шкафа были распахнуты настежь. Она уже сбросила свое платье-балахон. Она бессмысленно глядела на это кладбище тканей. И плакала. Никогда он ей не поможет. Никогда слова доброго не скажет. Внезапно Эдуарду стало тошно. Он дотянулся до блекло-голубого шерстяного свитера и набросил его на плечи. Уткнулся лицом в пустой рукав свитера. Потом пригляделся к шерстяной вязке. Он созерцал петли, как верующий – свое божество, так пристально, словно изучал их под микроскопом: шерсть состояла из сплетения тоненьких волокон, состриженных с живых овец по весне. Сейчас как раз стояла весна. Рассеянно слушая причитания Франчески, он снова уткнулся лицом в пустой рукав антверпенского свитера. Антверпенская шерстяная пряжа вот уже несколько веков изготовлялась на шерстобитнях, стоявших по берегам Арно. Его одолевал сон. Он вдруг подумал: тепло исходит не от женщин, на краткий миг дарующих нам жар своих грудей, и не от осла или быка, жующих корм в стойлах, – не они согревают людей. С начала неолита человека греет лишь овца. И человека можно определить так: животное, закутанное в овечью шерсть. Он изо всех сил боролся со сном, пытаясь вникать в слова Франчески. Выдержав полтора часа обвинений, жалоб и упреков, повторявшихся по кругу, он встал, поцеловал ее в голову и направился к двери, чтобы достать бутылку воды. Франческа спросила:

– Ты уходишь?

У нее был испуганный вид. Ему вдруг безумно захотелось поймать ее на слове.

– А тебе этого хочется?

Во взгляде и голосе Франчески проскользнула паника.

– Я знаю. Я знаю, ты решил сбежать.

– Видишь ли, я предпочитаю выразиться иначе: мне нужно сбежать.

Подойдя к Франческе, он сжал в ладонях ее лицо. Посмотрел ей в глаза. И сказал, почти беззвучно:

– Прости меня. Я убегаю навеки.

Она улыбнулась ему – растерянной, покорной улыбкой. Теперь настал ее черед глядеть, как он одевается. Она не произнесла ни слова. Натягивая одежду, он думал: «Вот уже и июнь. Сегодня первое июня». Наконец он надел свой блекло-голубой свитер. Нагнулся, чтобы поцеловать ее в лоб, последний раз. Но она отвернулась. Он вышел. И пока Франческа затуманенным от слез взглядом искала в комнате, в распахнутом шкафу призрак тела, к которому можно прильнуть, которое не исчезает, тела, которое послужило бы ей надежной защитой, пока ее рыдания и вопли вырывались наружу, пока она, упав на колени, судорожно хваталась за платья на вешалке, точно за одеяния святых заступников, он мчался на машине сквозь предрассветную тьму. Ему нравилось мчаться вперед, он уже миновал Сиену. На шоссе не было ни души. Так, в одиночестве, он и доехал до Розы, затем до морского побережья в Гроссе-то,

или, вернее, в Орбетелло. Взошедшее солнце мгновенно высветило багровые холмы, потом зелень – особенно яркую на рассвете и оттого особенно прекрасную – молодых всходов пшеницы, редких розовых деревьев с косматыми кронами. Он сделал остановку в Тарквинии, на пятачке Кавур, чтобы выпить кофе. И подумал, что ему следовало остановиться в Сиене и попросить приюта у Дона Джо Гуизо и его фавна.^[16] Теперь он ехал вдоль берега, между бурными дюнами и бескрайней черной равниной воды. Он всегда испытывал страх перед необъятностью и запахом моря, но и сам этот страх был заманчив. Проехав Чивитавеккью, он сделал короткую остановку возле старого виноградника, росшего чуть ли не в песке, на сером берегу, давно превратившемся в свалку отбросов, скорее бесцветных, чем цветных. Он чуть не наступил на голубую пластмассовую детскую заколку для волос, сделанную в виде лягушки. Застыл от неожиданности. Резко обернулся: ему вдруг почудилось, будто за ним следят. Впрочем, ему часто мерещилось, что его кто-то преследует. И всегда хотелось ускорить шаг, убежать подальше, оставив ни с чем воображаемого соглядатая. Но здесь никого не было. Он присел на корточки. Эта маленькая детская заколка чем-то ужасно поразила его; он протянул было руку, но не подобрал ее. Крошечная стилизованная лягушка из пластмассы имела что-то общее с мертвой цикадой. Наконец он взял ее, счистил пальцем грязь, оглядел со всех сторон и с неожиданным волнением спрятал в карман. У него было ощущение, что он коснулся какой-то абсолютной тайны, что она вот-вот раскроется ему. Так же бывает в игре «найди захоронку», когда тебе кричат: «Горячо! Горячо!» Сколько радости – и все это только ему одному. Кучи мусора, заколдованные отбросы, цветки клевера с четырьмя лепестками и женщины, от которых бежишь и которые сразу же становятся такими же крошечными, как цветочки в три лепестка, в два лепестка, в один лепесток, в четверть лепестка, в четверть лепестка, который смяли и бросили наземь. Все эти вещи, говорил он себе, суть предметы этого мира. Вот игрушки – они не предметы этого мира. Был иной мир, предшествующий тому свету, что омывает нас. И всегда будет другой мир, совсем рядом с нами, тот, что незримо витает в нашем мире. Он был чрезвычайно возбужден. Твердил себе с глубоким убеждением: на свете есть два разряда вещей. Вещи «отсюда» и вещи «оттуда». Предметы, которые служат по назначению, и предметы, лишённые практического применения. С одной стороны, рынок всего, что обменивается, что говорит, что гибнет, с другой – объётое безмолвием капище идола. До нынешнего дня, стоило ему разыскать какую-то вещь в этом мире и сунуть ее в карман, как у него неизменно возникало ощущение, будто он преобразил «предмет отсюда» в «предмет извне» – в крошечную женщину Рантэя, в «Зарю в Брюгге», выразив их ценность в тюльпанах. Но сейчас, впервые в жизни, очутившись на этом заброшенном винограднике близ Чивитавеккьи, он испытал волнение, которое никак не мог объяснить себе, род стыдливого ликования, восхищенного стыда: эта заколка в виде лягушки (даже не зеленой!) не представляла собой ничего особенного, она вовсе не была красивой и ничего не стоила, не стоила даже цветочного лепестка или пестика. Непреодолимое желание завладеть ею, восторг, охвативший его, когда он высмотрел ее в куче

мусора, птичьих перьев, банок из-под масла, экскрементов, поганок и фруктовых очистков, когда он нагнулся и схватил ее, были непонятны ему самому. Голубая детская заколка для волос никак не могла стать экспонатом коллекции. Она была первой вещью в этом мире, суть которой Эдуард Фурфоз не мог постичь.

«Дело не в самой заколке, – убеждал он себя. И думал: – Может быть, за этой заколкой таится невидимая коса».

Глаза его блестели. Он подошел к стволу оливы. Потом снова тронулся в путь. Дорога постепенно ушла в сторону от моря. Поля наливались золотом. Он миновал апельсиновые рощи. Увидел старые фермы. Наконец впереди блеснул Тибр. Он нашел местечко для завтрака – было девять утра, – в нескольких километрах от Фьюмичино, возле аэропорта, и сидел, созерцая слившиеся воды Тибра и моря. Выпив две чашечки крепкого кофе, он заснул в шезлонге. Японскую машину он оставил в аэропорту. А сам сел в самолет.

Глава III

*Сколько вещей вокруг!
Сколько незабываемых
вещей!
Кэнко' [17]*

Он пролетел над Берри, над Босом, прибыл в Париж, сразу же поехал в офис на углу улицы Сольферино и набережной Анатоля Франса, поднялся на седьмой этаж. Пьер Моренторф был уже на месте. Время близилось к полудню. То, что они называли «офисом», обозначалось маленькой медной табличкой на двери:

ЭДУАРД ФУРФОЗ

Игрушки

Эксперт

За дверью располагались шесть комнат, бухгалтер, две секретарши. Окна выходили на Сену, на Тюильри. Стоял первый день июня, необычайно ясный, лучезарный. Солнце затопило комнаты, вливаясь в широкие окна, из которых были видны каштаны Тюильри, поблескивающие крыши Луврского дворца. Эдуард мало что любил на свете так нежно, как солнце. Прежде оно было таким редким, таким долгожданным гостем в Антверпене, озарявшим город или небольшой холм к востоку от Берхема. Солнечный луч символизировал для него сокровище, источник любого блеска. И это сокровище преумножалось, отраженное стеклами витрин в хромированных рамах, которые тянулись вдоль всех четырех стен. Эти шесть комнат, выходивших окнами на набережную, на особняк Сальм и бывший вокзал Орсе, были забиты подлинными сокровищами. Они отличались невообразимой пестротой и дурным вкусом. Поскольку солнце окончательно уходило с восточной стороны, поднимаясь в зенит над зданием, Эдуард поспешно встал и подошел к окну, чтобы насладиться остатками этого волшебного дождя красок и тепла.

Эдуард Фурфоз стоял в кабинете Пьера Моренторфа в напряженной позе, ловя последний солнечный луч. Он оглядывал сверху маленькие, с ноготок, деревья, маленькие, с мизинец, узкие баржи, зеленую речную воду, подернутую

трепещущими жемчужными чешуйками света. Он думал: «Париж красивее Рима, и, сам не знаю почему, стоит мне перевести итальянское Firenze на родной язык, как имя города – Флоренция – становится красивейшим в мире!» В это время Пьер Моренторф бережно внес рояльчик на двенадцать нот, высотой восемнадцать сантиметров, из серого лакированного дерева, настоящий шедевр ремесленного искусства конца XVIII века, с украшениями в помпейском стиле – розетки на желтом фоне. Это чудо покоилось на шести изящно выточенных ножках, унизанных колечками. Он осторожно поставил его на свой стол и окликнул Эдуарда:

– Месье, – позвал он.

Оторвав Эдуарда от горячего солнечного света, который уже мерк в окне, он указал на рояль. Эдуард кивнул, бросил взгляд в его сторону, не промолвил ни слова. Ненависть, которую Эдуард Фурфоз питал к музыке, распространялась и на все музыкальные инструменты – поперечную флейту и текущие краны, виолы и грузовики. Пьер уселся за стол; сам-то он был преисполнен неподдельного восхищения перед роялем. Пьер Моренторф был рыхлым толстяком весом в добрый центнер; этот высоченный, обритый наголо гомосексуалист, скрытный до загадочности, в высшей степени религиозный, хотя скорее буддист, нежели воинствующий кровавый фанатик, и малообразованный, что объяснялось чисто английским воспитанием, был убежденным домоседом, несгибаемым пуританином, человеком крайне услужливым и крайне чувствительным; кроме того, он великолепно знал искусства древней Японии, которые овеивают духом аскезы и экстаза выращивание карликовых деревьев и цветочную икебану.

– Месье, желательно, чтобы вы связались с Дахраном. Из Индии только что прибыла вторая партия товара.

– Хорошо.

Пьер тотчас добавил, понизив свой странный голос, одновременно гнусавый и медоточивый:

– Месье, мы лишились господина Венсана Терра.

– Вот как? Терр умер?

– Месье поступил бы правильно, отказавшись от подписки на эти ужасные ежедневные газеты, утренние и дневные, с тем чтобы можно было наконец беспрепятственно следить за последними событиями. Получилось так, что наши лучшие друзья, коллекционеры кукол Жюмо и Пти-Дюмонтъе, снова вышли на тропу войны против наших лучших друзей, коллекционеров кукол Шмитта и Тюилье.

– Под каким предлогом?

– Месье Терр вздумал перепродать всех своих Жюмо, обменяв их на целлулоидную коллекцию Птиколлена. Мадам, его супруга, сейчас же вызвала психиатра. Месье Терра госпитализировали. И теперь он проспит либо две недели, либо ближайшие триста лет.

– Вам не кажется, что здесь холодно?

– Нет, месье.

– А по-моему, здесь просто собачий холод.

Они принялись за работу. Секретарши вывалили на стол лысого великана по имени Пьер Моренторф квитанции, журнальные вырезки, отчеты о продажах, предложения покупок, телексы, списки необлагаемых налогом обменных операций, счета от флористов, почту, частные каталоги... Они шушукались, как заговорщики:

– Лот из двадцати восьми пароходиков эпохи Наполеона III?

– Нет.

– Парусники Гесланда?

– Нет.

– Коллекция Мальтэта?

– Нет. Просмотрите списки продаж за последние шесть месяцев, и вы увидите, что парусников там больше нет. Как нет и оловянных солдатиков. И электрических поездов.

– Огромный паровой крейсер Радиге?

– Нет.

– Маленькие жестяные кораблики на колесиках, краски не реставрированы, местами облупились, но все еще вполне яркие, 1880–1890 годы.

– Да. Эти я покупаю. Беру все. Вы возьмете их все. Ты возьмешь их все. Можешь говорить мне «ты».

– Нет, месье.

– Не зовите меня больше «месье»!

– Нет, я буду говорить «месье». Потому что мне чрезвычайно приятно называть вас «месье».

Подобные диалоги, почти слово в слово, велись уже на протяжении четырех лет – с тех самых пор, как Пьер Моренторф начал работать на Эдуарда Фурфоза. Они встретились в Лондоне. Пьер категорически отказался трогаться с места. Пришлось нанимать частную машину «скорой помощи» с двумя санитарями и усыплять его на время переезда – разумеется, с его согласия. Проснулся он уже в Париже. И больше слышать не желал ни о каких передвижениях. Эта окончательная неподвижность была закреплена в письменном договоре, на разработку коего Эдуард Фурфоз потратил целых тринадцать месяцев. Одна из статей этого документа, написанная под диктовку Пьера Моренторфа (и она была еще не самой безумной!), гласила: «Господин Пьер Моренторф, будучи глубоко укорененным растением, больше не допускает возможности каких бы то ни было перемещений». Пьер Моренторф занимался координацией всей деятельности офиса, бдительно следил за бухгалтерией, ежедневно проверял таможенные пошлины, рассылал букеты из тюльпанов и красных или белых гвоздик, управлялся с единственным компьютером, связанным с различными антикварными магазинами, – короче говоря, выполнял все, на что способен убежденный домосед. Он не был безумен до такой степени, чтобы впрямь считать себя растением. Просто утверждал, что являет собой низшую форму растительного мира, ибо наделен нервной системой. «Но по крайней мере частично я растение, – признавал он скрепя сердце, – и, как мне кажется, не лучшее из всех». Он объявил Эдуарду, что покинет Париж только после смерти. В этом пункте он был тверд: в мире нет места прекраснее

того, которое видишь каждый день, где бы ты ни жил – если это вообще можно назвать жизнью. Отныне он мог существовать лишь около Сены с ее Королевским мостом, видным издали, воздушными мостиками и садом Тюильри, который вдобавок служил местом его усад. Он любил одних только мальчиков – очень редко и каждый раз всего одну ночь. Ночь, полную жестокостей и унижений. Ночь, которую Будда Амида^[18] милостиво позволял ему, ибо эта страсть была бесплодной и, как прямое следствие этого, не добавляла даже крошечной слезинки к круговороту возрождений и страданий. Он не выносил вида крови. Предпочитал бледный полупрозрачный сок, что вздымает члены и стебли растений. Он коллекционировал карликовые деревца. Именно эта коллекция и способствовала дружбе, связавшей Эдуарда Фурфоза с Пьером Моренторфом. В Лондоне Эдуард Фурфоз пришел в восхищение от миниатюрных, не более двух-трех сантиметров в высоту, саженцев сосенок-бонсаи, к которым Пьер Моренторф, впрочем, относился вполне безразлично, – так некоторые отцы семейств проявляют интерес к существам, появившимся на свет не без их помощи, лишь после того, как младенец обретает дар речи, то есть когда зло уже свершилось. Пьер был стержнем предприятия, его «несущей колонной» – колонной-бонсаи – в Париже. Эдуард же занимался поездками по всему Земному шару.

– Посмотрите этот диапозитив!

Пьер протянул Эдуарду цветной диапозитив, который тот принялся разглядывать на свет. Это был снимок лица с печатью невыразимой тоски, экстаза, почти трагического экстаза. Кукла 1850 года: прическа из натуральных волос, стеклянные глаза, туловище, руки и ноги обтянуты кожей ягненка, выкроенной специальным ножом, набиты опилками и зашита вручную.

– Боже мой! За любую цену! Но только...

Зазвонил телефон. Эдуард снял трубку. Тем временем Пьер Моренторф составлял телекс. Внезапно Эдуард вскочил на ноги. Звонили из Антверпена. Говорила Жофи. Эдуард сиял от счастья.

Жофи – так в семье звали самую младшую из сестер, Жозефину Фурфоз, – сообщила ему потрясающую новость. Приезжает тетушка Отти. Эдуард что-то сбивчиво пробормотал, заикаясь от радости. Жофи Фурфоз прервала его, сообщив, что тетушка Отти просит Эдуарда как можно скорее позвонить ей в Сиракузы. Во избежание ошибки Жофи велела ему взять ручку и дважды повторила номер телефона, который тетка упорно отказывалась давать ему в течение целых пятнадцати лет.

Ни один человек на свете не сыграл в его жизни более важной роли, чем тетка. Оттилия Фурфоз была старшей сестрой его отца. Это она воспитывала его ребенком, когда он учился в начальных классах в Париже и жил у нее, в доме № 4 на площади Одеон, вплоть до конца пятидесятых годов. В начале семидесятых она вышла замуж вторым браком за музыковеда Шрадрера, исследователя творчества Монтеверди, – при том, что смертельно ненавидела пение и «все эти оперные «страсти-мордасти». И, конечно, именно тете Оттилии Эдуард был обязан своим отращиванием к звуковой стороне жизни, хотя сильно подозревал, что это неприятие имеет еще более древние и глубокие

корни. Оттилия переехала в США и ограничила свои отношения с родней редкими открытками – на Рождество и на дни рождения. Она не ответила Эдуарду, когда тот попросил ее помочь ему открыть антикварный магазин в Нью-Йорке. Он не смог добиться от нее даже этого несчастного номера телефона, который Жозефина сейчас продиктовала ему. Она нанесла ему еще более тяжкую обиду, прислав беспощадную телеграмму в 1976 году, когда он был проездом в Нью-Йорке – в белом небе Нью-Йорка, на последнем этаже небоскреба на 66-й улице, – в которой сухо и категорически отказала ему во встрече.

Он дрожал. От волнения у него пересохло горло. Выйдя из кабинета Пьера, он направился в свой собственный. Прodelал несколько наклонов и приседаний. Сосчитал на пальцах, что в Сиракузах, штат Нью-Йорк, сейчас должно быть около шести утра. Как и все Фурфозы, тетка вставала с восходом солнца. Он набрал ее номер. И замер, ожидая услышать далекий старческий голос.

Это было как шквал, внезапно набросившийся на пешехода, на шляпу пешехода. Голос тети Оттилии прозвучал так ясно, словно она говорила из соседней комнаты – живой, ни на йоту не искаженный ни разделявшим их пространством, ни минувшим временем, все такой же властный, такой же стремительный, и низкий, и завораживающий, и страшноватый. Она была тут, рядом с его ухом, как в детстве, когда он ложился спать в своей комнате (что выходила не на площадь и театр Одеон, а в мрачноватый шумный двор) и она шептала ему «спокойной ночи» после того, как он самостоятельно раздевался и укладывался под простыню и два одеяла, одно вытертое и очень мягкое, из верблюжьей шерсти, второе – желто-синий шотландский плед. Тетушка Отти была совсем рядом, и ее низкий голос произносил слова еще торопливее, чем прежде. Она потребовала: «Забудь эту ошибку моей жизни! Вычеркни, похорони и никогда больше не вспоминай о ней!» Она решила навеки распротиться с мужским свинарником, с этими «уродскими» Сиракузами. А взамен желала совсем простой вещи: чтобы он подыскал ей во Франции, а точнее, в Шамборе, а еще точнее, в Шамборском парке-заповеднике маленький домик в стиле «сельских усад» Майера^[19] или особнячка на холме к востоку от Берхема. Это должно быть жилище в стиле эпохи Наполеона III.^[20] «Я хочу круглую медную ванну. Хочу наконец спать в кровати, украшенной танцующими нимфами. Это так красиво. И потом, там будет тишина и покой. Хочу шезлонг с подушками из фиолетового атласа». В общем, пускай он срочно подыщет ей все это. Перед ней открывается новая жизнь. Все музыковеды – гнусные гиены. И боже его упаси хоть полсловом упомянуть в ее присутствии об этих грязных, вонючих хищниках – грязных и вонючих, даже когда они выходят из ванной. Все они – дегенеративные твари, безмозглые и бестолковые; как же они нелепы и смешны с их жалкими остатками волос на груди и подбородке, особенно когда с них еще течет вода! Полная противоположность горным орлам или большим скопам, что парят в небесах над прудами. И тут

тетка объявила ему, что избрана вице-президентом Международного общества защиты отряда соколиных. «Конец мужчинам! Конец сиракузскому тирану!» – провозгласила она своей обычной скороговоркой, угрожающе-мрачной, неразборчивой и категорически не допускавшей возражений. «Пойми, при одной только мысли о мужчине меня прямо в дрожь бросает!» Отныне она собирается жить в окружении исключительно порядочных людей, таких, к примеру, как пустельга или осоед. А вокруг дома обязательно должен быть сад и прочная стена. И хорошо, если там будет расти плакучая ива: она лучше всяких лекарств исцеляет от первобытных желаний. И еще – желтые крокусы. И непременно поставить скамью.

– Понимаешь, Эдвард...

У него даже слезы подступили к горлу. Она произнесла его имя на фламандский манер – Эдвард, и ему почудилось, будто он снова вернулся в чудесный, уютный мирок детства.

– Эдвард, пойми меня, я хочу иметь дом в стиле Наполеона III, но в английском духе, настоящий английский дом в самом центре Шамборского парка. Это вполне возможно. Я уже навела справки. Читала объявления в Международном бюллетене Общества соколиных пород. В Шамборе, в деревне на территории заповедника, сейчас выставлены на продажу три дома. Мне осточертела музыка со всеми ее трагедиями! Я хочу иметь дело только с теми птицами, которые не поют! Хочу счастья. Хочу жить за крепко запертой дверью! Хочу, чтобы тишина стала у меня в доме законом. Хочу сейчас же, не сходя с этого места, основать свой Пор-Руаяль!^[21]

Эдуард слушал ее, и у него взволнованно колотилось сердце: похоже, она требовала у него не меньше чем целое небо. Чтобы парить в небе, как ангел. Она хотела найти себе приют. Хотела проникнуть в заповедный уголок божественного мира, затерянного где-то в заоблачных высях, точно орлиное гнездо. Хотела иметь забытый сад. Несколько комнат – не для всей оравы, не для девяти детей своего брата Вилфрида, а для Жофи, для него и для своей старинной лучшей подруги Дороти Ди. Хотела жить, как живут тигры – иными словами, как кошка. Иными словами, подстерегая все, что летает. И пускай время от времени у нее на лужайке играют в мячик дети. Хотя они и кричат.

Он слушал, как она через всю Атлантику рассказывает о пустельгах, об осоедах. Ему чудилось, что даже ее голос, такой торопливый, такой низкий, похож на большую птицу, древнюю темную птицу, что стремглав летит к нему над нескончаемой чередой волн. Как же он был счастлив слышать ее и знать, что она все такая же – несуразная, пылкая, напористая, экзальтированная. Ей все требовалось «срочно». Она приедет еще до конца месяца. Позвонит ему. Нужно, чтобы кто-то встретил ее в брюссельском аэропорту, у нее будет много чемоданов – если только она не полетит сначала в Лондон, чтобы повидаться с Алоизией и Дороти Ди, – в этом случае она приедет во Францию через Зебрюгге. В общем, она его известит. А пока – целую!

Он явственно ощутил ее поцелуй на своих щеках. Машинально протянул губы – в пустоту. Она повесила трубку, не дожидаясь ответа, он едва успел что-то пробормотать. У него горело ухо. Сердце взволнованно билось. Тридцать

шесть... нет, тридцать восемь лет пролетели, как будто их и не было. В те времена Оттилия Фурфоз собирала птичьи чучела и мелкие ювелирные шедевры. Эту страсть – к мелким вещицам, к изготовлению мелких вещей, милых, крошечных мелочей – он тоже унаследовал от нее.

Его вдруг обдало жаром, и он понял, насколько это ощущение выбивается из рутины его жизни. Он снял темный пиджак, снял темно-зеленый свитер из ангоры. Наконец-то пришел этот знойный день, этот знаменательный день – день, когда он почувствовал себя любимым. До сих пор он искренне считал самыми прекрасными изобретениями человечества, на протяжении всей его истории, шерстяную пряжу, печки на мазуте, розовые одеяла, перины, огонь, теплые шарфы, смерть путем кремации, тлеющий табак в жерле трубки из верескового корня, сладостную, золотистую и опьяняющую горечь пива, медвежью доху мехом наружу. И вот выяснилось, что это неправда. Даже в первые дни июня можно проникнуть в средоточие солнца, которое в его глазах было сердцем природы. Ему казалось, что он вот-вот задохнется от жары или счастья. Казалось, будто он созревает прямо на глазах. В порыве ликования он ощутил себя в горячей руке существа, которому неведома ненависть.

Но миг спустя его охватил страх. Необходимо как можно скорее завладеть шамборским домом эпохи Наполеона III в чисто английском духе. Однако что-то в этом плане обескураживало его. Никогда он не сможет найти именно то, что хочет его тетка. Он мало что помнил о самом Шамборе, о замке и парке, – ему довелось посетить его лишь однажды, в бытность учеником маленького лица на улице Мишле, в возрасте пяти или шести лет. Ему не запомнились ни лес, ни заповедник, ни соколы, ни другие пернатые хищники. Единственное, что сохранила память, – это две белые монументальные лестницы в центре донжона, ведущие на самый верх. Он бегал по ним вместе с другими детьми. Все они радостно вопили, взбираясь по ступеням. Увы, для подготовки к посещению Шамбора им пришлось сначала написать длиннющий диктант об этих нескончаемых лестницах, за который маленький Фурфоз, с его родным нидерландским, получил, как, впрочем, и всегда, одну из самых низких отметок. Диктант носил название «Волшебные ступени». А уж как он старался! Даже высунул от усердия язык, тщательно выводя буквы заголовка диктанта, стискивая в пальцах железную вставочку и морщась от тошнотворных запахов мела, детского пота, липких чернил и еще – меда. В диктанте с занудным педантизмом, множеством строительных терминов и коварных орфографических ловушек описывались два лестничных марша, которые Леонардо да Винчи некогда сконструировал в виде спиралей, окружавших центральное, головокружительно пустое пространство, освещенное боковыми окнами; его товарищи и он сам, в паре с одной девочкой, носились по ступеням и весело галдели, перегибаясь через перила и указывая пальцами на тех, кто бегал по второй лестнице: хитроумная конфигурация позволяла все время видеть их, стоять лицом к лицу, но не сходиться вместе. Взбудораженные дети никак не могли постичь эту загадку. Эдуард и его шестилетняя подружка

задыхались от восторга перед этим чудом: как это получается, что ты всегда поднимаешься один? И всегда спускаешься один. И всегда, всегда расходишься с теми, кого видишь напротив, совсем близко.

Он вернулся к Пьеру Моренторфу. Они проработали до трех часов. Пьер никогда не обедал. Эдуард же чувствовал голод, свирепый голод, терзавший желудок; ему чудилось, будто у него уже и щеки впали от недоедания. Телефон трезвонил без умолку. Пьер Моренторф терпеливо объяснялся с коллекционером, собиравшим миниатюрные модели мотоциклов с коляской и мотороллеров, отлитых из металла, отштампованных из жести. Эдуарду пришлось поговорить по телефону с коллекционером китайского фарфора XVII века. Собирателя интересовали исключительно изображения разбойников или зверей на берегах крошечных озер, под пышными древесными кронами, с четкой прорисовкой и яркими, насыщенными красками, мерцающими, точно слюда в сланце. Эдуард пожаловался Моренторфу: как это они все разнюхали, что он на три дня приехал в Париж?

Он отказался говорить с Франческой, звонившей из Флоренции. Затем явился Вов, собиратель портретов-миниатюр Шарля-Франсуа Шерона – главным образом галантных сценок типа «На качелях», «Игра в жмурки», «Последний отпор», повторявших мотивы Лавренса;^[22] их стоимость временами достигала одного тюльпана. Секретарша повела его в кабинет Эдуарда. Было двадцать минут четвертого. Эдуард выскочил в комнату Пьера Моренторфа, знаком призвал того к молчанию и сбежал.

Терзаясь голодом, он вышел под яркое солнце. Зашагал вверх по улице Сольферино, бесконечно счастливый оттого, что сейчас поест, оттого, что нашлась тетя Оттилия, оттого, что она предпочла его всем остальным братьям и сестрам – кроме Жофи, Жофи, которая, впрочем, никогда и не претендовала на то, чтобы ее любили больше Дороти Ди, – оттого, что вновь окунулся в глубокий голос тетки, в это неподражаемое контральто, где английский, нидерландский и французский переплетались, никогда не сливаясь воедино. Эдуард раз и навсегда принял сторону той, что воспитала его, той, что не переносила музыковедов, пронзительных звуков, пугавших ее до обморока, свадеб, Сиракуз и гиен. Все, вплоть до его имени, вызывало у нее звукофобию. Потому-то она, верно, и увлеклась теми одинокими, диковинными птицами, которые без единого крика парят над своей территорией, без единого крика пикируют к земле и без единого крика уничтожают чужаков, что вторглись в их владения. И вот теперь наконец он опять рядом с нею, он не чужой ей. Он снова возродился в звуке имени Вард. Этот голос был подобен крылу. И человек, очутившийся в полном одиночестве, мог найти уют и опору даже в одном коротком слого. Ведь и сам он, думалось ему, любил тишину, а в тишине любил не столько саму тишину, сколько отсутствие крика, любил голоса, которые не кричат, половицы, которые не трещат под ногами. И если сон поглощал волны дня, перебирая очертания и движения, воплощая их, почти физически, в ночные образы, то что же могла поглотить тишина? Он любил загадки, которые навечно

остаются неразрешенными. Он искал ответ и был счастлив. Звуки? Людскую речь? Мольбу о помощи? На углу Лилльской улицы он поздоровался, тронув за плечо, сославшись на спешку и торопливо условившись о встрече на завтра, с Филиппом Соффе, постаревшим, в синем шарфе, намотанном на шею; тот коллекционировал фигурки святых и рождественские ясли. И именно тогда он увидел ее.

Она шла навстречу. Он миновал ее – ноги машинально несли его к китайскому ресторану, где он собирался пообедать. Внезапно Эдуард Фурфоз остановился. Что-то разорвалось в нем. Ему почудилось, будто внешняя оболочка вещей, ткань мира, неосязаемая пряжа воздуха разорвались в один миг. Он резко повернул назад.

Побежал за ней. Какое-то странное ощущение переполняло его. Она возникла из ниоткуда, в десяти шагах от него, она приближалась к нему, а он прошел мимо. Эта сцена стояла у него перед глазами. Перламутровая статуэтка, такая тоненькая, такая прекрасная, стройная и прямая, как манекенщица, в черном льняном пиджачке, подчеркивающим сияние белокурых волос. Его била дрожь. Отступили, растаяли где-то вдали и радость, вызванная звонком Оттилии Фурфоз, и охватившее его счастье, и привычное желание; он дрожал так, словно ему открылась тайна сотворения мира.

Глава IV

Великан короля Сиуана был способен переломить ножку весенней цикады. Однажды у него даже хватило сил взвалить себе на спину пару крыльев осенней стрекозы.

Кун-и [23]

Он увидел свет, который извечно озаряет райские кущи. И побежал. Свет рая... Он наизусть знал его природу. Этот свет был таким золотистым, что казался почти белым, почти молоком – пронизанным солнечными лучами, вспененным молоком, но не той ослепительной белизны, что ранит глаз, а полупрозрачной и нежной, сотворенной из волшебного сияющего вещества, которое, не имея материального источника, не может и померкнуть. Лицо этой женщины излучало именно такое сияние. В конце Лилльской улицы мимо него проплыл длинный, блестящий белый «мерседес». За рулем сидела она. Она дышала. Он увидел, как вдох на миг приподнял ее груди, как они слегка натянули блузку и борт ее пиджачка. Автомобиль бесшумно скользнул дальше. И вот она исчезла.

Он взглянул на часы. Четыре тридцать. Примерно в то же время он встречал ее и раньше. Завтра он будет ее ждать. Есть уже расхотелось. Он выпил кофе на улице Бак и заодно, проходя мимо кондитерской «У Констанана», купил забавные маленькие пирожные размером с детский пальчик. Три эклера и корзиночку с

вишенкой. Или, вернее, маленькие пирожные размером с человеческий взгляд – размером с глаз, который смотрит.

– Даже речи быть не может, чтобы я работала на вас.

– Речи быть не может, чтобы вы нарушили свое обещание.

– Но господин Фрире требует эксклюзива.

– Он не может его требовать.

– Может.

– А если я удвою цену?

– Нет. Я обещала господину Фрире работать только для него.

– Соланж, с какой стати вы упрямитесь? Выслушайте меня, Соланж. Ну я прошу вас. Я буду платить сколько захотите.

– Дело не в деньгах. Это вопрос морального обязательства. Вопрос чести.

Разговор происходил на Елисейских полях. Было десять часов утра. Эдуард зашел к Соланж де Мирмир, непревзойденной мастерице художественной штоковки и штопки кашемира и трикотажа, близкой подруге княгини де Рель.

Эдуард пребывал в растерянности. Что такого мог наговорить ей Фрире? Он разглядывал сотни крохотных образцов кашемира и шерсти, окружавших Соланж де Мирмир. И думал: «Либо все это ложь, и Маттео так не говорил. Либо он объявил мне войну». Он поднял глаза. Но ему не хотелось встречаться взглядом с маркизой де Мирмир. На детском манекене, стоявшем возле старинного кресла времен Генриха IV, были наколоты черные, желтые и красные лоскуты. Он подумал о национальных цветах Брабанта, о знамени Дюкпетью.^[24] Нужно было выиграть время. Вдруг ему пришла в голову мысль: а не разжалобить ли маркизу де Мирмир?

– Слушайте, Соланж, давайте подумаем вместе. Поразмышляем вместе с четверть часика. Мою маму зовут Годлива...

По правде сказать, Эдуард Фурфоз только во взрослом возрасте узнал, что его мать носит это гордое имя – Годлива. Все дети звали ее одинаково: «Матушка!», а она, не очень-то помня имена своих девятерых отпрысков, неизменно обращалась к каждому из них так: «Дитя мое!» Тут-то Эдуард Фурфоз и рассказал Соланж де Мирмир об ожесточенном национализме Годливы Фурфоз, о ее необъяснимой ненависти к Голландии и Франции: неизвестно почему, голландские и французские нашествия отложились в ее памяти как гораздо более свирепые и разрушительные, чем немецкая оккупация. Она восторгалась революцией 1830 года. Ее кумиром был Дюкпетью, который сорвал голландское знамя, сорвал французское знамя, после чего вбежал в лавку вдовы Абс и реквизировал у нее все черное, желтое и красное сукно. У Эдуарда появилась гениальная мысль – сравнить маркизу де Мирмир с госпожой Абс, и он начал вдохновенно расписывать ей высокие добродетели вдовы, одновременно прикидывая про себя, как нанести ответный удар этому интригану, своему японскому другу Маттео Фрире. В своем рассказе о матери он уже добрался до того момента, как она с головой окунулась в политику и во время беспорядков в Леопольдвилле разъезжала по стране в темно-красном

«фольксвагене» с криками «Walen buiten!» («Валлоны, вон отсюда!»). Именно в это время его отец почти порвал с ней, уехав из пышно изукрашенного кирпичного особняка якобы начала шестнадцатого века, с выступающими лоджиями и зубчатой башней, стоявшего на Корте Гастхюйсстраат. Эдуард запомнил отца за рулем роскошного белого «фрегата» со сверкающими хромированными колесами.

– Ладно, согласна.

Маркиза де Мирмир встала и одернула джинсы, обвисшие пузырями на коленях. Подойдя к столу, она выбрала сигару. Сейчас, в облаке трубочного дыма, она была очень похожа на старого моряка в синей тельняшке, загулявшего в «веселом» квартале Антверпена и выходящего из борделя на Риэт-Дейк. Она сурово хмурилась.

– Я не очень-то понимаю, к чему вы клоните. Но это неважно. Я никогда не скрывала своих ультраправых убеждений. И этот договор с господином Фрире был мне не по душе. А если уж совсем откровенно, я терпеть не могу итальянских японцев.

Она умолкла, подошла к креслу Генриха IV, взяла в руки один из лоскутов черной шерсти и удобно расположилась в кресле, покуривая свою сигару.

– Видите ли, как бы я ни смотрела на свои обязательства перед господином Фрире, теперь они утратили свою силу. Я охотно согласилась бы работать для вас, если вы удвоите цену, которую назвали вначале. И обещаю вам полный эксклюзив.

Эдуард отвернулся к окну, побагровев от ярости. Он готов был убить Маттео Фрире, убить маркизу. Ему показалось, что в конце аллеи промелькнула молодая женщина с очень светлыми волосами. У него сжалось горло от какого-то смутного чувства вины. И вдруг его одолело нестерпимое, бессмысленное желание ощутить во рту вкус фламандской сдобы, лукового пирога, мясного рагу с каштанами, d'jotte.^[25] Он и сам удивился, насколько живо он помнил вкус этих яств, при одной мысли о которых у него слюнки текли, которые безумно хотелось отведать сейчас же, без промедления. Он поспешно согласился с Соланж де Мир-мир, поставив ей кроме эксклюзивного обслуживания еще одно условие-, чтобы она держала его в курсе любых будущих происков Маттео Фрире. Ему было холодно и чудилось, будто мир заполнен фантомами, неуловимыми, пряными запахами еды. Он взглянул на деревья вдоль аллеи: солнце уже начало золотить их верхушки.

– Вы не находите, что температура понижается?

– Нет, я...

Но тут у него за спиной что-то жутко заскрежетало, Эдуард испуганно оглянулся: то были каминные часы времен Людовика XVI, не замеченные им ранее, – кошмарное красно-золотое пузатое изделие, чьи ржавые внутренности проснулись и пришли в движение. Часы с замогильным стоном принялись отбивать одиннадцать ударов. Он попрощался с маркизой. И вышел.

Эдуард наспех перекусил в кафе. За неимением d'jotte он съел три круассана, а вместо мясного рагу с каштанами заказал две чашки кофе. В час дня он уже сидел в офисе на улице Сольферино, кутаясь в пушистый оранжево-белый

шерстяной плед. В половине третьего он вышел на улицу – уже без пледа, в своем темном, почти черном костюме. Он буквально окоченел от холода. Он прождал ее около часа. Нет, она не придет! И вдруг молодая женщина появилась впереди – он даже не успел заметить, из какого здания на улице Сольферино она вышла. Она излучала свет. Высокая, прямая, загорелая; однако что-то в ее взгляде останавливало, не допускало до себя, боязливо отвергая чужую назойливость или хотя бы простой интерес. Чем ближе он подходил, тем красивее и недоступнее она выглядела. Тем более загорелой казалась ее кожа. Тем ярче было исходившее от нее сияние. И волосы, среди которых несколько прядей совсем выцвели от морской воды, становились еще более белокурыми и светлым ореолом обрамляли ее лицо на фоне затененной стены. Он подходил все ближе. На ней были низкие, почти без каблуков, туфли, длинная широкая юбка из желтого хлопка, серая шелковая блузка. Он решил поздороваться и спросить, где тут можно пообедать. «Заговорю по-нидерландски. Или хотя бы на ломаном французском. Изобразю полного профана во французском. Это ее растрогает. Буду умолять ее показать мне какой-нибудь ресторан. А затем скажу: „Пообедайте со мной. Я...“» Она взглянула на него. И он спросил:

– Скажите, вы счастливы?

И тут же пришел в отчаяние от своей дурацкой фразы. Но молодая женщина сухо ответила:

– А как же.

– Я сказал глупость. Вообще-то я голоден как волк. Давайте пообедаем вместе.

– А как же.

Она открыла кошелек, который несла в руке, уложила туда ключи от машины, щелкнула замочком. Он застыл от изумления, потом простер вперед руку, словно указывая дорогу. Он был бледен. Голос его дрожал.

– Это я счастлив, – пробормотал он. – Я счастлив и... даже не знаю, что сказать.

Он шагал рядом с нею и не верил своему счастью. Но твердо верил, что ему необходимо это устремленное вперед тело, эти груди, это лицо, эти руки, рассекающие воздух и мерно вспыхивающие светлыми пятнами на солнце, эти колени, вздымающие юбку. Он не поверил, когда на его ладонь шлепнулась капля дождя. Потом вторая.

– Дождь, – сказала она.

Внезапно по булыжной мостовой свирепо забарабанили потоки воды.

– Июньский ливень, – сказала она.

На Лилльской улице они укрылись под козырьком подъезда. Замолчали. Отряхнулись. Грозовой дождь хлынул с новой силой. Эдуард толкнул дверь. За ней стояла тишина. Они увидели вестибюль и широкую лестницу из серого мрамора.

– Давайте войдем, – сказал он ей.

Дождь хлестал так бешено, что казалось, по ее лицу струятся слезы. Они уселись напротив двери лифта, на банкетку с желтой бархатной обивкой. Он

собрался вытереть ей лицо. Протянул руку. Хотел сказать: «Вы промокли». А сказал:

– Я влюблен в вас, и вы влюблены в меня.

Она приподняла было брови, но ее черты тотчас застыли. Она прислушивалась к хлопанию двери, к женским голосам, доносившимся откуда-то сверху. Затем лифт начал медленно подниматься, устало побряхтывая на ходу. Эдуард накрыл ладонью руку молодой женщины и, отирая с нее воду, взволнованно спросил:

– Вас как зовут?

– Лоранс.

– А меня – Эдуард.

Он придвинулся ближе к ее телу. Она сжала его руку.

– Я... – начала она.

Он тесно прижался к ней, почувствовал ее колени. Они услышали, как хлопнула дверь вдали, наверху. Он обнял ее за плечи. Их лица сблизилась. Так они и сидели, лоб в лоб, смешивая свои дыхания, подобно детям, играющим в «микадо» или возводящим картонный домик. Потом он потянулся губами к ее губам. Они приникли друг к другу. Он ощущал касание ее груди, ее колен.

Кровь жарко забурлила в ней. Но тут послышался усталый скрип спускавшегося лифта, и она оттолкнула его. Эдуард попытался снова обнять ее, но она мягко отстранила его. А он думал лишь об одном: вернуть себе трепет ее нежной горячей груди, аромат губ и шеи, скольжение шелковой блузки, мягкость полотняной юбки. Наконец она оттолкнула его более решительно. Их тела сотрясала дрожь. Он сказал ей:

– Я счастлив рядом с вами.

– Давайте отложим.

– Но вы обещали пообедать со мной!

Эдуард говорил шепотом. Пожилая дама, опираясь на старую трость с массивным серебряным набалдашником, открыла дверцу лифта и распахнула решетку, собираясь выйти.

– Нет, – сказала она.

– Я даже не знаю вашего адреса!

Однако близость его тела, рука, стиснувшая пальцы Лоранс, побудили ее к более резкому отпору. Старуха прошла мимо, звонко цокая тростью по мраморному полу. Тело Лоранс отодвинулось от него. Она сказала:

– Вы знаете мое имя. Сегодня вечером, в девять часов, мы с вами пойдем есть пирожные в кондитерской «Альмавива» на улице Риволи.

Он поднял глаза. Она уже исчезла. До его слуха донесся протяжный скрип, завершившийся сухим щелчком, – это захлопнулась дверь подъезда.

Он остался сидеть на банкетке. «Лоранс, – твердил он полусшепотом. И говорил себе: – Лоранс... Как же ей идет это имя. Именно так она и должна зваться – прекраснее, чем Флоренция. Потрясающее имя!» Наконец он встал. У него шла кругом голова, его шатало, как пьяного. Он взялся за ручку

застекленной дверцы лифта и поймал себя на том, что собирается войти в кабину, обшитую светлым деревом.

Обернувшись, он взглянул на банкетку, где только что сидела Лоранс, на желтый бархат, касавшийся ее тела, на серые мраморные ступени лестницы, на коврик с желто-серо-зеленым узором, постеленный возле лифта. Он старался запечатлеть в памяти все эти формы и цвета. Старался подыскать имя каждому услышанному звуку, вплоть до удара о стекло лифтовой дверцы серебряного набалдашника трости, которую выронила неловкая старческая рука. Но, по правде говоря, он стремился не к тому, чтобы сохранить эти следы, собрать коллекцию воспоминаний, он хотел другого – остаться в этом коконе счастья.

Серебряный набалдашник все еще поблескивал перед его мысленным взором. И он вспомнил о снарядной гильзе, блестящей в зарослях среди сухой листвы. Ему тогда было лет пять-шесть. Он стоял на четвереньках в кустах Люксембургского сада. И слышал, как маленькая девочка откуда-то сзади шепотом окликает его по имени. А там, перед ним, в затененной ямке, среди сухих или растоптанных листьев, веточек, винных пробок и окурков сигар поблескивало невиданное сокровище – гильза от снаряда совсем еще недавней войны, когда немецкая ПВО дислоцировалась в Люксембургском саду.

Ему тогда было пять или шесть лет, дело происходило в 1946-м или 1947 году. Девочка рядом с ним была не Жофи – в ту пору Жофи только-только родилась. Он с триумфом приволок свою добычу тете Оттилии и торжественно вручил ей, прямо в руки. Наградой ему были две оплеухи, столь же неожиданные, сколь и беспощадные. Он оцепенел, стоя с горящими от боли щеками под яростным взглядом тетки, которая первым делом избавилась от гильзы; вскоре набежали сторожа и полицейские. И ему пришлось указать – выдать! – заветное место. Из парка тут же всех эвакуировали.

Эдуард Фурфоз так и не узнал, нашли ли что-нибудь еще в кустах Люксембургского сада, хотя бы в том укромном уголке, который он предательски открыл стражам порядка. Но с тех пор, где бы он ни находился: в парках Брюсселя или Монреаля, в Сиссингхёрст Каста,^[26] в огромном саду моголов в Дели, в нью-йоркском Бронксе, Проспект-парк или Центральном парке, в римских садах Пинчо, в зоопарке на вилле Боргезе – словом, в любом саду, в любом лесу планеты, – его неодолимо притягивала именно низкая поросль, кусты. И ему вдруг нестерпимо захотелось опуститься на колени. Он и сам не мог бы сказать зачем. В раннем детстве он проводил лето в загородном доме на невысоком холме к востоку от Берхема, над Антверпеном; там он играл с маленькими машинками в самой западной части сада, в райском уголке среди кустов красной и черной смородины, вдалеке от аллеи, усыпанной гравием. Что он там искал, в этих канавах, в этих кустах, между корнями этих низеньких деревьев, которые превращал волею фантазии в дороги и висячие мосты для своих автомобильчиков? Мусор? Осколки снарядов? Жестяные игрушечные машинки? Молодые древесные побеги с их трагической, беззащитной хрупкостью? Он не знал, что ищет. Может, он искал самую древнюю из богинь – богиню арденнских лесов, богиню Ардуинну? Трудно сказать. Он не знал, что ищет, и именно потому-то и искал. И он знал, что ищет. Всю жизнь он был тем,

кто безнадежно и упорно отыскивает нечто в лесной чашобе, на чердаках, в залах аукционов и публичных торгов. Эдуард не был ни верующим, ни ученым. И, однако, он сохранял в душе некое боязливое благоговение перед этими странными зонами, потаенными или нечистыми, где бы они ни располагались – в садах, в городах, в душе.

Внезапно он оторвался от этого воспоминания; его слегка знобило. Он бессмысленно глядел на лестницу из серого мрамора, на старозаветный лифт с застекленной дверцей, на банкетку с желтым бархатным сиденьем перед собой. Он буквально физически чувствовал, что два слога, составлявшие ее имя, перевернули мир. Чувствовал, что теперь его ждет нечто неизмеримо более важное, чем вся предыдущая жизнь, что отныне река его существования изменит свое течение. Дождь на улице уже стих. Нежданно снова показалось солнце, залившее светом Лилльскую улицу, по которой неслись потоки воды. Он вздрогнул. Поднял воротник своего темного пиджака. Наконец-то судьба поставила его лицом к лицу с настоящим испытанием. И он безумно боялся, что окажется не на высоте положения.

Лоранс поскользнулась, ступив на пол мокрыми ногами. И так и замерла обнаженной, скрючившись в неудобной позе, упершись подбородком в колено; ее взгляд затерялся в зеркале, занимавшем целую стену ванной. По запотевшей поверхности зеркала сбегали струйки воды. Опустив глаза, она взглянула на пальцы ног.

Лоранс только что приняла ванну. Она находилась в своей квартире на авеню Монтень. Ее муж Ив Гено уехал в Гренобль. Он должен был вернуться завтра вечером. Теперь пар заволок все зеркала в ванной. Интересно, как она выглядела? Она подумала об Эдуарде, которому назначила встречу на сегодняшний вечер. Уже не впервые она встречала его на улице. У него такие нежные пальцы. Она почти всегда видела его в обществе лысого мужчины-великана, чем-то похожего на англичанина и одновременно на буддийского монаха; видимо, он работал где-то в районе набережной Анатоля Франса. А еще она видела его вместе с одним знаменитым японцем крошечного роста, всемирно известным миллиардером, чьи фотографии часто встречались в журналах по декоративному искусству, – Маттео Фрире. Лоранс попыталась вспомнить, уж не этот ли Маттео Фрире два-три года назад выступал экспертом одной из коллекций, приобретенных когда-то ее матерью; это собрание культовых предметов кельтов или галло-римлян прочно загромодило их дом в Солони, к величайшему раздражению ее отца, считавшего подобные «штуковины» мрачным кладбищенским хламом.

Больше всего на свете она любила своего отца Луи Шемена. Он был самым красивым из мужчин, самым щедрым из мужчин, единственным, кому пришла в голову оригинальнейшая мысль – родиться 1 апреля. И те минуты, что она проводила подле отца, становились настоящими первоапрельскими праздниками. Лоранс думала: «Друг друга моего отца – друг моего отца. Значит, друг друга друга моего отца вполне достоин есть пирожные в моем обществе!»

С виду Эдуард был лет на десять-двенадцать старше ее. Да, но который теперь час?

Лоранс вскочила на ноги, выпрямилась, прошла в комнату. Семь часов вечера. Ванная примыкала к спальне и будуару со светлыми деревянными панелями и плетеной цветной мебелью начала века; в будуаре было холодно, как в погребке, он был битком набит кадками с лавровыми деревцами, папирусами, которые она ненавидела. Она всегда глядела на этот будуар с отвращением. Само ее тело отвергало его.

Что за легкий акцент проскальзывал в речи Эдуарда? Немецкий? Или голландский? Наверное, он сочтет это помещение омерзительным. Триста квадратных метров на авеню Монтень, где она жила, вдруг показались ей напыщенно-холодными, безобразными донельзя. Никогда она не осмелится пригласить сюда Эдуарда. Лоранс считала, что отцу хотелось сохранить эту квартиру, где жила, а в августе 1968 года скончалась его мать, в том же виде, какой она была при ее жизни. Она была убеждена, что отец оскорбится до глубины души, если она хоть что-нибудь здесь изменит... Нет, это не акцент, просто голос Эдуарда был странно хриплым, звучал как-то необычно. «У него бледное лицо. Черные волосы и при этом удивительно светлые глаза. Те несколько раз, что я видела его на набережной, он носил темные костюмы – что-то темно-синее, темно-зеленое. Я тоже надену что-нибудь темное». Лоранс позвонила.

У нее была горничная Мюриэль, женщина лет пятидесяти, уроженка Лиона. Сама Лоранс в общем-то ничем определенным не занималась: хотела когда-то концерттировать, работала моделью, перенесла тяжелую нервную депрессию после смерти брата. Не менее четырех часов в день Лоранс посвящала игре на рояле – она играла превосходно, даром что не на публике; кроме того, она управляла своим состоянием и частично финансировала ежемесячный фотожурнал, редакция которого располагалась на набережной Анатоля Франса. Она посмотрелась в зеркало у себя в спальне. Как всегда, она держалась чрезвычайно прямо, у нее было холодное лицо, она была очень красива. Она принимала ванну дважды в день. Она взглянула на свои руки. Как жаль, что игра на фортепиано требует коротко остриженных ногтей! Это визуально укорачивает пальцы. На средний она надела кольцо с рубином-кабошоном. Она думала: «У него большие, очень веселые глаза, в которых все можно прочесть».

Они спорили вполголоса. Эдуард только что переставил на соседний столик чайного салона букетик черных скабиоз с одной розовой в центре – пушистой, но уже сильно увядшей и унылой.

– Я ненавижу цветы, срезанные людьми ради удовольствия, – объяснял он полушепотом. – Для меня цветы – это труд, это роды. Господи Боже, вы только посмотрите на эти кошмарные вазочки, набитые отсеченными от пуповин зародышами.

Он сел на место.

– Значит, вам не нравятся отсеченные зародыши? И этот апельсиновый торт вам тоже не по вкусу?

Лоранс сидела, напряженно выпрямившись, поджав губы, с непроницаемым лицом.

– О, прошу вас! Вы меня пугаете.

– Разумеется. Помидоры – а я обожаю помидоры, – вишни, орехи, ведь они все зародыши, в той же мере что и цветы.

– Лоранс, умоляю вас, не надо! Иначе я больше никогда в рот не возьму апельсиновый торт!

– А что уж говорить об икре.

Но тут в голосе Эдуарда прозвучало торжество.

– Слава тебе господи, на свете нет таких тортов, которые были бы украшены нарезанной икрой!

– Принесите-ка назад эту вазочку со скабиозами.

Эдуард Фурфоз встал. Его лицо пылало от смущения. «Ну вот, я ей наверняка не понравлюсь! – думал он. – Нужно немедленно прекратить болтать глупости!»

Она была одета во все черное – узкие, черные в горошек, брюки «корсар» и черное шелковое болеро с широким, вызывающе низким квадратным вырезом. Сейчас она почему-то казалась ему еще более худощавой, но все такой же сияющей и белокурой. Светлые, стянутые в пучок волосы, на удивление прямая, жесткая осанка, слегка высокомерный вид, отрешенный и надменный взгляд, говорящий о богатстве, о безжалостной силе денег. И, при всей этой надменности облика и угадываемой худобе тела – по-детски округлые щеки. Да и груди у нее были высокие, упругие. Он разглядывал ее. Она была одета на редкость изысканно.

Эдуард ехал в «Альмавиву», слегка волнуясь и чуточку опаздывая. До этого он побывал в Шату, где встретился с Филиппом Соффе. Сворачивая на улицу Риволи, он был абсолютно уверен, что она не придет. Жадно высматривал ее лицо. Издали завидел фигуру Лоранс. Она была вся в черном, и на какой-то миг это повергло его в растерянность. Она помахала ему. Она была такая грациозная, такая красивая – тоненькая, как колеблемое ветром деревце. Он подошел ближе. Ему казалось, что она улыбается искренне, что она и вправду счастлива, что он дождался ее. Он был потрясен, заметив полоску кожи между брюками «корсар» и шелковым болеро с щедро вырезанными проймами. Низкое декольте на миг приоткрыло ее грудь. Поистине, увидев это тело, можно было желать только одного – прильнуть к нему, и прильнуть навсегда.

Лоранс заговорила о своем отце, назвала его с легким смущением – Луи Шемен; это имя было синонимом огромного богатства. Ей почудилось, будто лицо Эдуарда на секунду омрачила тень ярости. Он рассказал о своей семье в Антверпене, намеками дал ей понять, что и сам имеет состояние. Они ощупью продвигались сквозь это скопище намеков и символов. Вдруг она прервала его на полуслове, сказав:

– Я ведь замужем.

Он взглянул на нее.

– Что вы хотите, чтобы я вам ответил?
– Не «вы», а «ты». Ты ведь попросил меня перейти на «ты». Что ты хочешь...
– Ладно, пусть будет так. Что ты хочешь, чтобы я тебе ответил? Сам я одинок. Холост.
– Не вижу связи, – сухо бросила она.
– Между чем и чем?
– Быть замужней и не быть одинокой.
– Лоранс, ты играешь не по правилам...
– Он не может иметь детей. Он...
– Лоранс, не надо... Пусть отсутствующий отсутствует, это все, что от него требуется. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
– А ты никогда не стреляешь в пианистов?
– Я только и делаю, что стреляю в любых призраков, кто бы ни попался на глаза.

Они рассмеялись – или сделали вид, что смеются. Все вдруг стало звучать фальшиво. Они вышли на улицу. Теперь они снова обращались друг к другу на «вы». Он взял ее руку – так держатся за руки детишки, перебегающие парами улицу, – и они пересекли улицу Риволи; он повел ее к одинокому такси, стоявшему поодаль. Но она удержала Эдуарда, крепко стиснув его пальцы. Он ощутил холодок ее золотого кольца, а Лоранс вдруг осознала, что они с Эдуардом одного роста. Ее отец тоже был одного роста с ней. Впервые в жизни она увлеклась мужчиной, который был не ниже ее. Она остановила его.

– У меня машина, – сказала она.

– А у меня нет.

Они смолкли. Он увидел ее туфли, это были открытые лодочки. Он повторил про себя: «На ней черные лодочки». И вдруг сказал, совсем тихо:

– Простите меня. Наверное, еще слишком рано. Но... пойдете со мной.

Она помедлила с ответом. Она стояла в темноте, картинно прямая, точно выступала на подиуме. Затем все же спросила:

– Где это?

– В отеле, на юге 7-го округа.

– Ни за что. Ненавижу отели. Когда-то я лежала в отеле тяжело больная.

– У меня нет своего дома. Я живу в отелях. Но здесь у меня довольно большие апартаменты. И они не слишком уродливы.

– Лучше пойдете ко мне, – предложила она.

– Нет.

– Я не могу идти в отель.

Лоранс выглядела совсем растерянной. Она держалась уже не так прямо, как раньше. Нагнулась к нему. Болеро из черного шелка было вырезано так низко, что он увидел ее груди. Ее груди отличались изумительной красотой. Она перевела дыхание. И призналась ему упавшим голосом:

– Каждое новое место для меня все равно что пропасть. Обедать в незнакомом ресторане, в чужой обстановке – все равно что стоять над самой пропастью.

– А мне всегда нравилось жить в отелях. Где ни остановишься, уезжаешь без всякого сожаления. В отеле чувствуешь себя голым, словно только что родился на свет.

– Нет, это пропасть. И отъезд – тоже пропасть. Любой уход – пропасть.

Эдуард не сохранил каких-то потрясающих воспоминаний об этой ночи. Все было очень просто, нежно и гораздо больше походило на супружеские объятия, чем на пламенную страсть любовников. Пожалуй, живее всего он запомнил, как пытался определить запах. Пахло молоком, а может, медом – и самую чуточку не то мочой, не то гиацинтом. Он подумал: «В спальне любимой женщины всегда витает какой-то старинный аромат, который существовал веками и который в один прекрасный день становится самым новым, самым удивительным запахом в мире и непрерывно зовет к себе, как зовет доверие». Вот так цветочные венчики ищут и впивают малейший солнечный брызг.

Из стыда, или смущения, или застенчивости Лоранс не захотела включить ни одной лампы. Они вошли, как воры, в полной темноте, словно забрались в чужое жилище. И он провел ночь, не уставая удивляться тому, как мало поразила его нежность этого тела во тьме, смутная красота этого тела в сочившемся из окон слабом лунном свете, который с трудом проникал внутрь. Когда она отстранялась от него, когда говорила с ним, он едва слушал ее. Он заранее знал все, что она скажет. Он все глядел и глядел на нее в полумраке: длинная, тонкая, с такими хрупкими сочленениями, каких он никогда ни у кого не видел, она вставала с постели, вдруг оказывалась между двумя массивными подлокотниками кресла. Как же она была красива, когда сидела там, плотно сдвинув ноги, слегка наклонясь в его сторону, положив сжатые руки на колени, и бедра ее были так стройны, и ступни парили над ковром.

Сухощавость этого тела напомнила Эдуарду истощенные тела женщин Фландрии, точнее, Фландрии XV века, Фландрии дорубенсовской, Фландрии перед закатом Фландрии. Она как будто унаследовала от них это обнаженное светлое, чуточку слишком худое тело, этот тоскливый, отягощенный желанием взгляд, уголок светлого руна, какое можно увидеть на картинах Метсиса или Ханса Мемлинга,^[27] – уголок светлых волос внизу живота, которые впитывали скудный лунный свет, проникавший снаружи, и удерживали его, и обращали в мягкое мерцание.

Обнаженная, она говорила не умолкая, непрерывно двигалась. Присев, подбирала с пола свои узкие брючки, разглаживала черное шелковое болеро. Тут же сминала его одним взмахом руки, снова раскладывала или вдруг скручивала жгутом. Неожиданно исчезала куда-то. Возвращалась со стаканом воды. Потом они уснули.

Утром лицо Лоранс, тело Лоранс еще яснее говорили о тоскливом страхе. Он узнал эту боязнь. Она не ответила на его желание. Надела свитер. Натянула шелковые брючки прямо на голое тело. Он не стал задерживаться. В голосе Лоранс звучал страх. Он поцеловал ее. И сказал, совсем тихо:

– Я не хочу, чтобы ты страдала. Хочу видеть тебя. Хочу часто видеть тебя. Но ни за что в жизни не стану принуждать тебя видиться со мной.

Лоранс страдальчески поморщилась. В ее глазах блеснули слезы.

– Вы неучтивы.

Она сообщила ему, что уезжает с мужем на Антильские острова, в район Спейтстауна, на конгресс по эмбриологии.

– Лоранс, для этого вовсе не нужно уезжать так далеко! – вскричал Эдуард. – Я сам специалист по эмбрионам – по детским машинкам и кукольным домикам.

Она снизошла до короткого смешка. Положила ему на плечо руку, свою длинную руку пианистки с коротко подстриженными ногтями.

– Вы можете писать мне на адрес Розы ван Вейден.

– К черту Розу ван Вейден!

– Я прошу вас, напишите мне. Роза ван Вейден – моя самая близкая подруга. И, кстати, ваша соотечественница. Она голландка.

– Но я-то не голландец. Я из Антверпена.

Он обнял ее.

– Вы мне напишете...

Она и отталкивала его, и умоляла. Он чмокнул ее в розовую щеку.

– ...это 18-й округ, улица Пуассонье, 28, Розе...

Она подтолкнула его к двери. Взяла кусочек картона – или то был клочок плотной глянцевой бумаги – и написала адрес Розы. Он, в свою очередь, оставил ей адрес, телефон офиса на улице Сольферино. Они еще раз обнялись – неловко, торопливо. Даже в ее дыхании чувствовался страх. Их пересохшие губы слились воедино. Потом он вышел. Дверь оглушительно хлопнула за его спиной. Он по-прежнему желал ее. С яростью думал о том, что она замужем. С яростью вспоминал этот обмен адресами. «Женщины только об одном и мечтают – переписываться! – мрачно говорил он себе. – Ты жаждешь любить женщину, любить тело женщины, а оно, это тело, ждет от тебя только слов. Но я-то – я люблю одни лишь вещи!»

Глава V

*Мы оказываемся
выброшенными в этот
чудовищный мир, как муравей –
на обочину.*

Ипполит Тэн [28]

Он пытался смотреть непредвзято. Переставил, чтобы тот не мозолил глаза, ржавый велосипед марки «пежо», приткнувшийся к рукоятке дернореза. Эдуард Фурфоз вздыхал, разглядывая домик в беррийском^[29] стиле и стараясь обнаружить в нем хоть что-нибудь «типично английское» или «наполеоновское». С самого утра он бродил по Шамбору. Осмотрел два дома, выставленных на продажу, – первый в духе ложного ренессанса, второй вот этот, беррийский. У него складывалось впечатление, что отыскать английский дом эпохи Наполеона III будет трудновато. Едва покончив с беррийским домиком, он забился в уголок ресторана, стоявшего на эспланаде замка. Сейчас Лоранс, наверное, уже прилетела на Барбадос, в Спейтстаун, и теперь прогуливается среди банановых пальм и деревьев какао. Может быть, она думает о нем.

Затем он попытался непредвзято разобраться в том, что творилось у него в душе. Необходимо наконец понять, чего он, собственно, хочет и чего желает она. Он подумал: «Хочу быть счастливым. Хочу любить. Хочу стать независимым. Хочу наслаждения. Хочу все время передвигаться с места на место. Хочу одиночества. Хочу, чтобы мне было тепло. Хочу...» Но все эти желания не складывались в единое целое, как, например, части головоломки. Память сосредоточилась лишь на одном, и это одно наполнило все его тело сладкой истомой: рука Лоранс, коснувшаяся его тела, нежная ладонь и ее тепло, и ее аромат, и безобидность коротко подстриженных ногтей; прекрасная рука Лоранс – полная противоположность отрубленной руке, давшей имя его родному городу, затерянному среди ледяных вод; рука, на которой неизменно сверкала только одна, старинная драгоценность – не обручальное кольцо, не железное кольцо рабыни, но золотой перстень, увенчанный рубином-кабошоном. Вся кожа его тела отныне носила нежный отпечаток руки Лоранс. Он мог находиться за тысячи миль отсюда – в Гонконге, на Суматре, при дворе Франциска I, во дворце Навуходоносора, в гнезде какого-нибудь сокола тети Оттилии, – все равно он весь перевоплотился в эту страсть. Он любил ее. Ее имя возносило его на седьмое небо, переполняло восторгом. Золото этого имени, изогнутая ручка,^[30] за которую он удерживал имя Лоранс, вселяли в него надежду привлечь ее к себе, сюда, на берега Луары, через все лежащие между ними моря с их Спейтстаунами. Перед этим именем шесть тысяч гектаров леса и прудов Шамборского заповедника, с его шестью сотнями оленей и ланей, были всего лишь жалким клочком черной, рыхлой, заросшей вереском земли. Восемьсот здешних кабанов и тысячи уток были всего лишь видением. А тетя Оттилия – всего лишь старенькая фея из полузабытой сказки.

Он сидел в углу, у окна просторного унылого ресторана, на площади замка. Он выбрал блюда прямо у стойки. И теперь ждал. Ему было холодно. Наконец принесли заказанный салат из редиса. За окном потемнело. Небо над замком оставалось по-прежнему серым. Но с запада его начали затягивать черные тучи. В ресторане было одновременно шумно и пусто.

Он встал, снял с вешалки плащ, набросил его на плечи и вернулся к своему редису. Утром, еще до открытия агентства недвижимости, он долго бродил вокруг прудов Шамбора. Затем вошел, с ощущением нереальности окружающего, в огромный пустынный замок, призрачный замок, так никогда и не достроенный до конца, в замок, где никто никогда не жил, белый, точно саван привидения, белый, как миндальная нуга, съеденная им во Флоренции, белый, как редис в сметане на его тарелке. Самая белая, самая прекрасная руина Франции, изначально обреченная быть недостроенной руиной. Войдя в парадный зал, он сразу же припомнил смешанный запах – древесного сока, порея, влажной штукатурки, характерный для этого просторного дворца, укрытого в лесных зарослях, где бродили кабанихи со своим потомством и олени стада. Эти обширные залы никогда не обставлялись мебелью и именно потому выглядели более обширными, чем в действительности, словно они предназначались для людоедов или богов. И никогда под этими сводами не звенело эхо дружеских бесед, собачьего лая, лошадиного ржания, так же как не

осквернил их белизну даже легкий след копоти факелов, сажи очага или табачного дыма. Угрюмая, надвигавшаяся с запада туча делала этот замок-гигант с белыми каменными стенами, перед которым он сейчас сидел и обедал, еще более иллюзорным, еще более призрачным; при всем своем монументальном величии, он не мог перевесить то единственное имя, которое он вот уже два дня с любовью шептал себе. Этот замок так никогда и не изведал подлинной жизни. Он был грандиозным порождением человеческой фантазии, заранее обреченным на небытие. Тетя Оттилия заблуждалась: обитая здесь, в соседстве с хищными птицами, между лесом, охотничьими угольями и призрачным замком, она погребет себя заживо.

– Лоранс...

Он не уставал с наслаждением произносить это новое для него имя. Забившись в уголок ресторана и отодвинув тарелку с редисом в жирной сметане, Эдуард размышлял о том, какие волшебные оттенки принимают имена в зависимости от их владельцев, в зависимости от страсти, которая влечет к ним, в зависимости от того, какой отпечаток накладывают на них лица предков, в зависимости от созвучия с названием либо родной страны или родного города – словом, от всего, вплоть до манеры произносить их. Это имя – такое любимое, такое новое, словно оно всего миг назад родилось на его устах, – было подобно необитаемому замку, к которому так стремилась тетя Оттилия: в нем с минуты на минуту могла возникнуть жизнь – возникнуть и в один миг сотворить из костяка букв, из череды звуков нежную, трепещущую плоть, наделенную волшебной притягательной силой. Эдуард постарался припомнить одну за другой, как набожный человек перебирает буксовые зернышки своих четок, всех Лор, Лаур и Лоранс, которых когда-либо знал. Но в этой череде нашлось мало драгоценных зерен. И ему почудилось, что он забыл какое-то имя.

То же самое произошло с ним, когда он вновь увидел шамборские лестницы и с удивлением понял, насколько остыло и поблекло воспоминание о первой встрече с замком – в детстве, в те времена, когда он еще был маленьким приходящим учеником-иностранцем, робким и смущенным, и церемонно держал за руку девочку, такую же робкую и смущенную, как он сам, с черной косичкой, болтавшейся по спине, в лаковых туфельках. Ему было ужасно стыдно подавать руку девчонке, которая шмыгала носом, дожидаясь своей очереди войти в автобус. Неожиданно его мысли обратились к мужу Лоранс, врачу, специалисту по эмбриологии. Он вспомнил рисунки – изображения молекулы ДНК, мелькавшие на страницах чуть ли не каждого журнала. И его вдруг осенило: да ведь лестницы Шамборского замка – это та же самая спираль ДНК, которую Леонардо да Винчи, со свойственной ему гениальной прозорливостью, увеличил до гигантских размеров; вероятно, он подумал об этом еще и потому, что Лоранс Гено находилась сейчас в Спейтстауне. Эдуард Фурфоз приблизился, вошел в пустой пролет, начинавшийся у подножия лестницы, поднял голову и узрел там, в вышине, в самом конце этого длинного, призрачного столба пустоты, обвитого головокружителями спиралью беломраморных перил, тот же райский свет, что так мягко озарял щеки или живот обнаженной Лоранс Гено в лунном мерцании, проникавшем в окна ее

спальни. Вокруг этой женщины сиял лучезарный ореол, присущий лишь ей одной. И это сияние, облекавшее ее тело, было сродни тому вышнему свету – рассеянному, холодному, белому и даже чуточку, неощутимо золотистому свету, что падал вниз из стеклянного купального фонаря. Да, вот он – свет, живший в ее имени, почти в ее запахе. В бледном солнечном луче, пронизавшем межлестничную пустоту, затанцевали светлые пылинки. Имя Лоранс казалось ему единственным именем в мире, которое невозможно забыть, и в то же время, несмотря на все его усилия раствориться в имени Лоранс, какое-то подспудное чувство или стеснение упорно нашептывали ему, что другое имя – не ее, а другое имя – все еще ускользает от него. Ему казалось, будто он блуждает в поисках какой-то неуловимой звуковой пыли, бесследно растворившейся в нем самом. Он так сильно озяб, что попросил карту вин. Стал отыскивать в ней бордоские вина. Заказал целый стакан «Пойяка». Долго пил и, захмелев, внезапно все понял. Сказал себе: «Наверное, я мужчина-однолюб. Я верен женщине, чья блестящая косичка мотается по спине. Ее рост – шестьдесят сантиметров. Я знаю цвет и форму ее туфелек. Ее ступни не длиннее десяти сантиметров, и я не помню черты ее лица. А главное, у меня в памяти не сохранилось ее имя!»

Он поспешно встал. Торопливо прошел к стойке, чтобы расплатиться. На три часа у Эдуарда Фурфоза была назначена встреча у последнего домика, который он хотел осмотреть. Он спросил дорогу. Дом, как сказали ему в агентстве, стоял на опушке леса Аннетьер, близ Сен-Дие. Но что такое Аннетьер?^[31] И где этот самый Сен-Дие? Ему вспомнилась одна их старая клиентка, жившая в Динане, – ею занимался Франк в своем бутике на площади Гран-Саблон; она коллекционировала сачки для бабочек, сачки для майских жуков времен Марии-Антуанетты и сачки для мух, на которых ловят форель. Ее супруг когда-то любил удить форель.

Он прошел мимо «Проката велосипедов», где можно было взять на пару часов какую-нибудь ржавую громыхающую развалину, чтобы покататься по опушкам парка в компании оленей и корсиканских муфлонов. Со времени его возвращения в Париж Франческа непрерывно названивала на улицу Сольферино. Он велел одной из секретарш отвечать, что его нет в городе, но его мучили угрызения совести. Подойдя к дому, он почувствовал разочарование. Служащий агентства недвижимости ждал его перед кошмарной бордовой калиткой в массивной белой, выпяченной наружу стене. Да, видимо, уикенд пройдет впустую. Агент испробовал два ключа и наконец отпер калитку. Эдуард вошел в заросший травой двор. В глубине сада он разглядел маленький, комнат на восемь-девять, домик XIX века, похожий на вокзальчик времен Второй империи, но с элементами ренессанса, тяжеловатого и одновременно, трогательного стиля, почти в английском духе; несмотря на самое начало июня, сад буквально тонул в густых зарослях могучих трав и местами крапивы высотой в метр-полтора.

В центре этих дебрей, среди нескольких еще не отцветших примул возвышался внушительный цементный куб, явно совсем новый, снабженный рукояткой насоса более старинного происхождения, из кованого фигурного железа. Агент объяснил, что насос давно уже не качает воду и оставлен здесь просто для декора. Он даже попытался привести в действие скрипучий рычаг. Но Эдуард тотчас остановил его. Он, конечно, засыплет этот колодец. Скрежет насоса был из числа тех звуков, которые наверняка терзали слух грешников в одном из кругов ада. Он и сам – а не только супруг Лоранс, Ив Гено, и не только на Антильских островах, на Барбадосе, – был способен представить блестящий доклад на международном симпозиуме по человеческой эмбриологии. Пытка звуком – худшая из пыток. Ибо ухо, в отличие от глаза, лишено века и не может закрыться. А появление слуха намного опережает появление на свет. Лично у него слух прорезался на 22-й день после зачатия. Он помнил об этом так явственно, словно уже жил на свете. Именно тогда у него образовались барабанные перепонки. Вот почему он велит теперь снести бетонный куб еще до приезда тети Оттилии. Будучи куда более сведущим, нежели человек, за которого Лоранс имела несчастье выйти замуж, он мог бы уточнить время события с точностью до минуты: оно произошло в Антверпене, в ювелирной лавке на Пеликанстраат. Его мать покупала кольцо с бриллиантом. Она еще не знала, что беременна им. Значит, он был совсем крошечным. Наверное, чуть больше двух миллиметров в длину. То есть размером с ладошку оловянного солдатика. То есть размером с зародыш лепестка примулы. Тот первый услышанный им звук до сих пор пугал его.

Он вошел в дом со сложной, бестолковой планировкой; крошечные безмолвные комнатки походили на монашеские кельи. Он сиял от радости. У него уже складывался план, как переделать их для тети Оттилии в пять или шесть более просторных помещений. Узкие окошки смотрели в лес. Электропроводка оказалась новой. Обнаружились две ваннные комнаты. Эдуард был покорен. Тетушка Отти будет на седьмом небе от счастья. Только ни в коем случае нельзя пускать ее сюда, пока он не наведет в доме полный порядок. Он вышел и поморщился: снаружи моросило. Он снова нырнул в дикие заросли сада. Нагретая растоптанная трава испускала под мелким дождем более резкий запах. Эдуард собрался было повернуться, чтобы еще раз, как бы заново, взглянуть на дом. Но тут же замер в полуобороте: что-то хрустнуло у него под ногой, между гравием и подошвой ботинка. Он нагнулся. На земле лежала крошечная вилочка из голубой пластмассы, вероятно, из кукольного сервиза; она-то и треснула под его ногой, издав этот игрушечный жалобный вскрик. Значит, здесь бывала маленькая девочка – девочка, которая знала Шамборский замок, девочка, вопившая от радости на лестницах Шамбора, которая жила в этом доме. Он вынул из кармана пиджака голубую заколку-лягушку, подобранную на свалке Чивитавеккьи. Присел на корточки. И, приседая, с отвращением вдохнул запах сырой земли, древесного сока, намокающей травы. Он сравнил изломанную вилочку и лягушку. Нет, оттенки голубого не совпадали. И он убрал заколку в карман. Разломал половинки вилочки на мелкие частицы и веером разбросал их по траве, словно семена будущих вилок.

Служащий агентства недвижимости был преисполнен понимания и даже сочувствия. Он терпеливо топтался на месте, среди колючей крапивы, подняв ворот плаща и ежась под дождем. Эдуард обратился к нему. Сказал, что хочет побыть один минут пять – до того, как принять решение. Бросил короткий взгляд на дом и повернулся спиной к этому вокзальчику времен Наполеона III «потенциально английского стиля». Сойдя с усыпанной гравием дорожки, он пробрался сквозь густую травяную поросль к низкой каменной ограде, перешагнув через нее. Со стороны лесной опушки стена кое-где обвалилась; он увидел нарциссы и углубился в лес. Зашагал вперед, теребя голубую заколку в кармане. Дождь почти не проникал под шатер древесных крон. Вдруг он остановился и резко повернул голову: ему почудилось, будто кто-то крадется следом. Но вокруг никого не было. Он прикрыл рукой глаза. И мало-помалу перед его мысленным взором возникла детская косичка, скрепленная голубой пластмассовой заколкой. Черная косичка и голубая заколка дергались, как бы отбивая такт. Это внезапно нахлынувшее воспоминание было больше, чем просто воспоминание, – оно было видением. Но видение исчезло – так же мгновенно, как появилось.

Она сидела за пианино. На ней были толстые желто-розовые носочки. Ее ноги не доставали до пола. Они были обуты не в туфельки, а в высокие полуботинки из желтой кожи. Но одном из них развязался шнурок, иногда он касался пола. Эта ножка и этот шнурок тоже отбивали такт. Увы, он видел девочку только со спины. Ей было, наверное, четыре или пять лет. Темная косичка, тугая и короткая, болталась по спине из стороны в сторону, но она-то как раз – Эдуард ясно видел это – не попадала в такт музыки, вообще не попадала ни в какой такт, а двигалась как хотела, независимо, наперекор всему. Эта музыкальная коса заканчивалась маленькой заколкой не то из яшмы, не то из голубой пластмассы, в форме лягушки или водяной черепахи. В общем, какого-то существа голубого цвета с зеленым отливом.

Девочка выглядела ужасно печальной, угнетенной. По крайней мере, у нее была очень печальная спина. Он видел, как она сникает, вздрагивает. Девочке явно хотелось заплакать, и он тоже готов был проливать слезы, глядя на эту спину, выдававшую желание заплакать. Он носил короткие детские штанишки. И чувствовал, как его потные ладони прилипли к голым коленкам. Его и впрямь душили слезы. Беспорядочное метание голубой заколки походило на крик отчаяния.

Он приложил руку к холодному тополиному стволу с шершавой облупленной корой. Итак, решено. Он купит этот дом для Оттилии Шрадрер-Фурфоз. Купит этот «Аннетьер» – под таким названием дом выставялся на продажу. Он уже собирался вернуться и найти агента, покинуть туманный лесной полумрак, снова шагнуть в бледное и вместе с тем темное марево, окутывающее Шамбор. Его нога – в тот миг, когда его посетило это внезапное воспоминание, – нечаянно сбила цветок нарцисса, затоптав лепестки в землю. В нескольких сантиметрах от того места, на склоне маленького холмика, цвел молодой папоротник. Эдуард наклонился, и волна воздуха от этого движения всколыхнула зеленый стебель, увенчанный крошечной ручкой, до поры до

времени сжатой в миниатюрный кулачок Крохотная ручка, сжатая в миниатюрный кулачок, хранила секрет, хранила какую-то тайну. Которая не спешила раскрыться навстречу пока еще слабому призыву солнечного луча.

Эта зеленая верхушка папоротника, сжатая в кулачок, чем-то напоминала головку карликовой скрипки. Или же лягушачью лапку, невесомо лежащую на травинке, на песке у воды, после того как лягушка проглотила муху. Или лапку пресноводной черепашки, которая поедает малюсенький, со спичечную головку, кусочек сырого мяса в аквариуме. Или тельце улитки-литторины, которую извлекают из раковины шпилькой для волос, летними месяцами, облизывая соленые губы, на суровом побережье Атлантики.

Лоранс позвонила ему сразу же по возвращении из Спейтстауна. Они встретились возле церкви Святого Фомы Аквинского. Эдуард ждал на тротуаре. Он стоял, погруженный в какое-то бездумное забытие. И вдруг подпрыгнул от неожиданности: его колена мягко коснулось крыло машины. Лоранс в своем «мерседесе» въехала прямо на тротуар. Эдуард указал ей пальцем на подземную стоянку. Она испуганно съежилась, на ее лице отразился ужас. Она сказала, что ненавидит туннели и подземные стоянки. Вышла из машины, хлопнув дверцей. Она чудесно загорела. Он сделал ей комплимент по этому поводу. Налетевший ветер облепил юбкой ее бедра. Это была юбка из темного шелка со странным рисунком ромбами – оранжевыми, густо-зелеными, кроваво-красными. Юбка была длинной, но с боковым разрезом, открывавшим щиколотку. Они не решались обняться, а может, не захотели. Спустились в ближайший подвальчик-бар. Она рассказала про Спейтстаун, эмбрионы, Антилы, врачей и деревья какао. И повторила еще раз:

– Знаете, вы не первый нидерландец, которым я увлеклась.

– Лоранс, перестаньте, прошу вас! Во-первых, между фламандцами и нидерландцами нет ничего общего. Во-вторых, я родился в Антверпене.

– Мою лучшую подругу зовут Роза, Роза ван Вейден. Я должна как можно скорее познакомить вас. У нее двое детей. Мы непременно должны поужинать все вместе. Мне хочется, чтобы она вам понравилась.

Она села поглубже в кресло и произнесла, совсем тихо:

– Я больше не выношу Ива, моего мужа.

Он обернулся к ней, а ее уже не было на месте. Он собирался помешать ей сказать непоправимую глупость. Он увидел ее на другом конце бара: положив руки на стойку, она говорила с официантом, потом начала что-то объяснять ему широкими жестами. Он выпил вина. Она вернулась к столу. Тронула его за плечо.

– Я заказала кусок лимонного торта. Вы хотели бы съесть кусок лимонного торта?

– Я не хочу никакого лимонного торта, а вы не бросите своего мужа.

– А вас-то это с какого боку касается? И потом, давайте немножко помолчим.

И они умолкли. Минуту спустя она сказала:

– Я не люблю много говорить. Когда я молчу, я целиком ухожу в себя. Вот настоящая причина, по которой я занимаюсь музыкой. Без нее меня всегда одолевает тревога. По одному только звуку вашего голоса я сразу угадываю, что вы злитесь.

– Да насколько я не злюсь. Я даже не представляю, что это значит – злиться. Я и ромашку-то не способен ощипать, не пролив по ней слезы.

– Вы, наверное, питаете ко мне не любовь, а скорее, страсть. А может, не любите вовсе.

– Прекратите, прошу вас.

– Нет, это я прошу вас, Эдуард, давайте расслабимся, вытянем ноги и посидим немного вместе вот так, молча.

Он взял ее за руку. Позже она вполголоса объяснила ему, почему стала музыкантшей. Она сидела в кресле в своей привычной позе, с высоко поднятой головой, выпрямившись, вытянув вперед ноги, точно кинозвезда, позирующая перед публикой, и шепотом признавалась ему, как безумно боится всего на свете.

У нее был брат, он умер. После этой смерти ее мать повредила рассудком. Она дважды повторила, что живет в состоянии непреходящей тревоги, постоянного ощущения изгнанности. Если не считать часов, когда она погружается в музыку. В музыке чувство пустоты исчезает, и ей чудится, будто ее обволакивает что-то теплое и очень надежное. Так внезапно обволакивает человека сон, когда он подступает совсем близко. Хотя лично у нее сон – редкий гость. По ночам она встает с постели. Садится за свой Bosendorfer и пускается в нескончаемые легато. Связывая день с ночью, связывая живых с умершими, связывая психиатрическую клинику в Лозанне и замок в Солони со своим сердцем.

Эдуард Фурфоз не посмел сознаться ей, насколько ему невыносимо слушать музыку. Она сказала, что заставляет себя играть по четыре часа в день. Но он и не подумал расценить это признание как удобный предлог для разрыва с нею – напротив, тут-то он и испугался, что потеряет ее. Она сказала, что ей пора уходить, и он ощутил прилив незнакомой доселе ревности. Ей нужно было повидать отца, известного промышленника, всеми ненавидимого и в высшей степени вульгарного типа, которым дочь безмерно восторгалась. Его охватила тоска, ревнивый страх. Он ревновал ее к музыке, к роялю, к мужу, подруге, отцу. Она поцеловала его. Что ж, по крайней мере, она хоть коснулась его губ – и была такова.

Он встал, в свой черед подошел к стойке и заказал бельгийское пиво Chimay, чтобы ослабить судорогу, схватившую горло. Но Chimay не нашлось. Тогда он спросил пшеничного пива, немецкого пива. Не нашлось и такого. А у него во рту стоял вкус пива, и эту жажду требовалось утолить немедленно. Он решился взять Pore's. Едва отхлебнул из кружки. Расплатился, но снова сел за стол, на то место, где только что сидела она. Теперь он тоже вытянул ноги, распрямил спину. И так провел четверть часа в думах о ней, в тоске по своему любимому пиву. Постепенно эта тоска растворилась в нем, так и оставшись неутоленной. Ему стало холодно. И подумалось, что есть какая-то странная красота –

японская, теплая, благостная – в полях хмеля Фландрии или Эльзаса, и частичкой этой красоты наделены волосы Лоранс, ее брови – такие детские, такие тонкие, такие шелковистые, отливающие золотом брови. И той же красотой были отмечены ее утонченные черты, и фигура, и нежная округлость груди. Лоранс, наверное, презирает пиво. Но, по крайней мере, ей нравится молчание. И еще он подумал: «Я люблю эту женщину, ибо ее можно назвать "той, что приходит бесшумно"». И уходит беззвучно. Так оно было на набережной Анатоля Франса, на тротуаре Лилльской улицы, в лифтах, в роскошных машинах, в креслах бара. Всякий раз как он обнаруживал ее подле себя, она словно возникала из небытия.

Но сейчас рядом с ним было пусто. Воздух бара вдруг показался ему скудным, душливым. Лампы источали желтый матовый цвет – оттенка мимозы или яичного желтка. Ему захотелось произнести вслух ее имя. Он пробормотал его – правда, почти неслышно, как будто оно, разлившись в окружающей атмосфере, помогло бы ему дышать свободнее. «Когда я сижу возле Лоранс, – говорил он себе, – когда я чувствую близость ее тела, сам воздух вокруг меня пронизан свежестью, взявшейся неведомо откуда». Он долго размышлял, как бы это назвать, – нечто вроде воздушной волны, дуновения, бриза, совсем слабого бриза, способного всколыхнуть разве что первые листочки дуба, или зеленые волосы плакучей ивы, или крошечный стиснутый кулачок молодого папоротника, или женские ресницы, или косичку маленькой пианистки из лица на улице Мишле, не умевшей попадать в такт музыки. Почти то же самое он испытывал рядом с ней: ему легче дышалось, яснее виделось, словно ее лицо – нет, не только лицо, но каждую часть ее тела омывала волна идеально чистого, первозданного эфира, волна утреннего света, волна проснувшегося дня.

Он встал. Он был счастлив. Он забыл про музыку.

После многих любовных свиданий он заметил, что временами она бывала сильно угнетена, чересчур сдержанна, холодна, безучастна, скупа на выражение чувств, маниакально осторожна, но и это ему нравилось в ней. Она была очень скованна, очень худа. Ее невероятно узкое тело, однако, вполне гармонировало с пышными грудями. Волосы она стягивала узлом и, пока говорила, непрестанно множила его призраки, то и дело поднимая руки к затылку. При этом движении ее ребра напрягались, и торс казался еще более хрупким. Лоранс могла часами хранить молчание. Эдуард слегка побаивался ее. Она исчезала мгновенно: смотришь, а ее уже нет, ускользнула без единого слова, то ли домой, то ли еще куда-нибудь, к Розе, к своему роялю, на улицу, где она величаво, с нескромной, но вполне объяснимой любовью прогуливала свое дивное тело, – на обед к министру, в оперу, к одному из великих кутюрье – в общем, он не знал, куда именно.

А иногда, напротив, она бывала утонченной, изысканной, трогательной, тактичной, простой и понятной. Он слышал, как смятенно, едва не разрываясь, бьется под нежной кожей ее сердце. Бьется в два неровных – неравных – удара, приводящих в изумленный восторг руку, щеку, которые их ощущали.

Однажды вечером она провела у него в отеле целых четыре часа. И снова терзалась страхами. Ее муж уехал в Аннеси и Женеву, но она категорически отказалась остаться на всю ночь, не позволила даже проводить ее на авеню Монтень. И опять повторила, что не выносит отелей и этих мимолетных любовных свиданий. Тем не менее и на этот раз они любили друг друга с торопливой, неистовой страстью. Потом она два часа сидела в гостиной, обнаженная, на безвкусном пышном ковре отеля, обхватив руками тесно сжатые, высоко поднятые колени, которые расплющивали ей грудь. На ее щеках застыли следы высохших слез. Глаза казались скорее серыми, чем золотистыми.

Теперь они звали друг друга на «ты». Его поразило уныние Лоранс, эти нескончаемые слезы. После долгого молчания она вдруг сказала:

– Мне страшно.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ты на меня смотришь так, что мне страшно.

– Да что ты хочешь этим сказать?

– Именно так, Эдуард: ты смотришь на меня как на существо иной породы, с другой планеты, из другого тысячелетия.

Он изумленно воззрился на нее.

– Смотришь, как будто я существо иного, враждебного тебе пола.

– Нет.

Он несколько раз повторил: «Нет, нет». И сказал, что любит ее. Сказал, что тоже боится и что любит ее. Она ответила, что от этого ей еще страшнее и что она любит его еще больше.

Глава VI

*Какие же мы странные
создания, если начинаем свою
жизнь с того, что хватаемся
за игрушки, – иными словами,
обращаем наши первые
желания на то, что не сулит
никакой надежды!*

Рильке [32]

Франческа звонила ему из Флоренции. Он не отвечал ей. Потом наконец решился.

– Лоранс, – сказал он. – Я уезжаю в Антверпен. Меня вызывает мать.

И сел в самолет на Рим. Он увидел истоки Сены. Увидел Лозанну. Потом Флоренцию. Самолет покачивало, и он вцепился в подлокотники кресла. Три дня назад, в воскресенье 15 июня, то есть на праздник Отцов, Лоранс ездила в Солонь, в замок, которым владел Луи Шемен – он отдыхал там после внезапного приступа слабости. В понедельник она навестила также и мать, жившую после смерти сына в психиатрической лечебнице Лозанны. Эдуард Фурфоз повидался с Пьером Моренторфом, а днем заехал на машине в Шамбор, где уже начался ремонт дома. На следующий день Лоранс сообщила ему о смерти одного поэта, аргентинца по имени Борхес.^[33] Эдуард ответил, что

никогда не слышал о таком. Он признался Лоранс, что не любит книги и отнюдь не считает это преступлением. Однако заявил, что на свете остался еще один поэт, живой – Рутгер Копланд де Гоор, его он как раз знает.

В Риме он встретился с Ренатой в магазине на виа дель Корсо, арендовал машину «датсун» и заночевал в отеле «Флора», где ни на минуту не сомкнул глаз. Посоветовавшись с Пьером Моренторфом, он принял решение использовать эту поездку, чтобы завернуть в Сиену к Дону Джо Гуизо и вручить ему кукольный театрик, игрушку ломбардского мастера конца XVI века, сделанную из букса, и коробку немецких декораций XVIII века, которые недавно приобрел для него. Ему не удалось избежать представления «Чио-Чио-сан», Это было ужасно, хоть уши затыкай. Ну почему нельзя смотреть этот миниатюрный спектакль в полной тишине, любуясь причудливыми марионетками с их изломанными, но изящными жестами, карликовыми, но бурными страстями, непроницаемыми личиками, которые игра света делала на удивление живыми и трагичными! Он провел ночь в Сиене, на квартире у Дона Джо, и спал превосходно.

Эдуард приехал во Флоренцию ранним утром, зашел в бутик на пьядца Пьяве, поговорил с Марио, который не желал покидать магазина, затем направился к Понтасеве, поставил машину возле склада оливкового масла и вин, перенес два небольших ящичка в мастерскую Антонеллы. Поведение Антонеллы изумило его: бледная, напряженная, она замахала руками, отказываясь от ящичков. Запах рыбьего клея был настолько удушлив, что у него тут же началась дикая мигрень. Антонелла сунула ему пакетик, завернутый в страницу «Мессаджеро», и тут же убежала, запершись в одной из двух своих кладовок. Он развернул пакет, стоя в зловонной тишине мастерской. Обнаружил внутри большой спичечный коробок, с виду не новый, открыл его: на дне коробка лежали только два цветочка – цинния и маленький розовый бутон. Эдуард Фурфоз вздрогнул. Это было объявление войны. Маттео не удалось завербовать Соланж де Мирмир, зато Антонелла переметнулась во вражеский лагерь. Он осторожно положил на верстак цветок разрыва, а рядом цветок смерти. Голова болела невыносимо. Он озяб. С тоской подумал о чугунной печке. Вот уж где огонь бушевал, как адское пламя. А Маттео с истошными воплями корчился на раскаленных угляях. Но он воскреснет. И снова будет вредить. «Истопник – вот настоящая профессия», – сказал он себе, прижав ладонь к гудящей голове.

Тщетно он звал Антонеллу. Двери обеих кладовок были заперты на ключ. Он оставил на верстаке разорванную газетную обертку, спичечный коробок, циннию и розу. Забрал только оба своих ящичка, вышел, не прикрыв за собой дверь, и пересек двор, заставленный бидонами с маслом и винными бочками.

Сел в «датсун», снова выехал на сиенскую дорогу, миновал Импрунету поднялся на холм.

Они сидели в столовой – он и Франческа с глазами, полными слез. Слезы текли по ее щекам, по подбородку, скатывались наземь, она не вытирала их. Она прилежно лизала шарик красного мороженого. И мрачно глядела на него.

– Ты так и не скажешь ни слова?

Он говорил совсем тихо, но у него было лицо человека, который вопит во все горло. Он сжал ее руку выше локтя. Франческа резко вырвалась, вскочила, взмахнув подолом черной юбки.

– А зачем, Дуардо? Тебе же совсем не нужно, чтобы я говорила. Ты мне кричишь шепотом о своей ненависти и хочешь, чтобы я тебя благословляла за это?

Он вернулся в Рим, проклиная Антонеллу, проклиная Фрире, проклиная Франческу, которая потребовала, чтобы он вернул ей ее долю во флорентийском магазине. В Риме он провел только одну выгодную сделку – закупил крупный лот помпейских игрушек, которые предстояло провезти через Югославию и Германию. Собственно, это были контрафакции, изготовленные в XVIII веке для неаполитанского двора и раскрашенные в золотисто-желтый, небесно-голубой и кроваво-красный цвета. Кукольные головки, крошечные галльские повозки, женщины, играющие в кости, греческие и скифские всадники, религиозные сценки, разыгранные детьми, чьи личики светились счастливым экстазом.

– Мне кажется, я люблю этого человека. Да. Я люблю этого человека.

Лоранс говорила в полный голос. Она только что проснулась, выглянула из-под простыни. Ногой откинула ее прочь. На ней была коротенькая детская ночная рубашка из бумажного трикотажа. Теперь она знала, что такое счастье. Вид постаревшего отца в Солони (он даже завел привычку спать после обеда), испуганное лицо матери, безразличие с легкой примесью отвращения, которое она испытывала ныне к своему мужу, – все это бесследно стерлось из ее памяти. Проведя в Париже в одиночестве целый день, она даже не страдала от отсутствия Эдуарда. С восторгом представляла его возвращение. Она нажала на звонок – дважды, чтобы Мюриэль принесла завтрак. Вприпрыжку побежала в ванную, попыталась причесаться, надела свое любимое кольцо.

Она стояла в ванной растрепанная. Взъерошенные волосы цеплялись за щетку, вбирали в себя свет лампы над раковиной, сияли вокруг ее лица ореолом счастья. Сейчас она нравилась себе. По крайней мере, ей очень нравилось собственное отражение в зеркале. Она услышала, как Мюриэль ставит поднос с завтраком на столик в спальне. Запела – сперва еле слышно, потом во весь голос, вкладывая в эти звуки брызжущую через край энергию:

– Я его люблю! Я его люблю!

Она сунула пальцы в шерстяную рукавичку с дурацким рисунком – Бекассина^[34] и Шарло рука об руку, он со своей тросточкой, она с зонтиком, – взялась за горячий чайник, осторожно наполнила чашку на подносе. А он – он пьет пиво. «Могла ли я представить себе, что когда-нибудь влюблюсь в человека, который пьет пиво?!» Он любил крепкое бельгийское пиво. Все виды крепкого бельгийского пива. И еще он называл сорта Chimau и Pore's, объясняя ей все оттенки их вкуса, которые она не запомнила. В таких случаях она сосредотачивалась на его манере говорить, не особенно вникая в смысл слов. И смотрела на его руки – нервные, узловатые, приходившие в движение, когда он

говорил. Он рассказывал ей о происхождении пива – разумеется, оно родилось в Антверпене. Услышь она эту историю от кого-нибудь другого, она бы умерла со скуки. Но в устах Эдуарда легенда напоминала старинный гобелен: один антверпенский пастух, сморенный усталостью (эдакий Геракл, распростершийся на траве близ леса, за которым виднелся вдали старый фламандский порт в голубых тонах), заснул на солнцепеке, не доев своей ячменной каши. Проснувшись, он отхлебнул рыжую пену, поднявшуюся над горшком, и она пришлась ему по вкусу. Так забытье человека, жар солнца и прекрасное, долгое сновидение сообща породили пиво.

Лоранс Гено старательно покрыла тост ровным слоем смородинового джема. Она, конечно, ни секунды не верила, что на севере Европы, вдали от Франции, солнце могло светить так долго и так жарко. Да нет, это же смеху подобно... Но тут ее лицо внезапно омрачилось.

Когда-то она знала еще одного человека, не питавшего отвращения к пиву. Это был ее единственный брат. «Уго!» Это имя отозвалось болью во всем ее теле. Она больше не видела его в снах – или во время своих бессонных ночных бдений. Не могла вспомнить его черты, или, вернее, выражение лица. Зато у нее в памяти сохранилась его манера держаться. Голова, склоненная к плечу. Улыбка. Сохранились и все его письма, хвастливые письма мальчишки-подростка. Ее вдруг передернуло. Она опустила тост, покрытый красный джемом, на тарелку.

Он кричал. Это случилось в Оше. Лоранс представила себе, как Уго пытался держать голову над водой, над этим взбесившимся потоком жидкой грязи. Но склон был крутой, напор безжалостной водяной лавины увеличивался с каждой минутой, намокшие пудовые ботинки тянули вниз, не давали сохранять равновесие. Вытянув руки, он шарил вокруг себя, ища, за что бы уцепиться, любую опору – куст, водосточную трубу, стену, дерево. Но поток уносил его вниз с сумасшедшей скоростью. Свирепая мощь селя и необходимость держать голову над водой мешали мальчику управлять своими движениями. Вдруг он врезался лбом в капот автомобиля, опрокинутого течением, сделал попытку удержаться за него, но машина в тот же миг канула в пучину.

Не успел он схватиться и за железный поручень лестницы, попавшийся ему под руку. Пальцы соскользнули, а колени больно ушиблись о каменные ступени. Склон сделался еще круче, а скорость потока стала и вовсе неуправляемой. Все бешено клочкотало, кипело вокруг него. Он боролся из последних сил и тут жестоко ударился головой о стену. Почувствовал, как его затягивает водоворот. Вероятно, его всосала канализационная труба метрового диаметра, проходившая параллельно железнодорожному мосту. Он погиб мгновенно, захлебнувшись внутри нее водой и жидкой грязью.

Лоранс оттолкнула поднос, стоявший на низком столике, так ничего и не съев. Она побежала в ванную, чтобы сполоснуть лицо. Вот уже более полугода, как она оставила свою манию – принимать воображаемую позу, в которой могло находиться тело Уго, погибшего в грязевом селе, что обрушился на Ош 20 июля 1977 года. Тогда ее отец на четыре месяца погрузился в черную депрессию. А мать, и до того слабая здоровьем и склонная к меланхолии, безнадежно сошла с

ума. Два дня назад Лоранс навестила ее: мать сидела на железном стульчике у берега озера, под раскидистым платаном, ее лицо было непроницаемо, неприступно и загадочно. Мало-помалу отец перенес всю свою любовь – и даже причины этой любви – на дочь. Поначалу, в дни самой острой скорби и отчаяния, это несказанно радовало ее, потом стало пугать все больше и больше: она догадывалась, кого он любил в ней.

Лоранс натянула джинсы; лицо ее было искажено, в желудке пусто. Она села за свой Bosendorfer. Сняла старинное кольцо с рубином-кабошоном, положила его на деревянную площадочку слева от самой низкой клавиши. И сделала медленный, глубокий вдох.

– Вы бледны, Пьер. У вас ужасный вид.

– Такие замечания отнюдь не вселяют бодрости, месье.

– Извините меня, Пьер. Но вам непременно нужно сходить к врачу. У вас желтое бескровное лицо. Щеки прямо восковые.

– О, это очень тонкое наблюдение, месье. Я вынужден признаться, что буквально умираю от переживаний: мой карликовый вяз, которому уже сто пятьдесят лет, заболел – видимо, какая-то инфекция. Листья один за другим теряют цвет. На стволе выступили два пятнышка.

– Вы никогда не приглашали меня к себе. А ведь обещали позвать. Я с самого Лондона не видел ваших деревьев!

– О, я просто не смел обременить вас таким предложением, месье. Я живу в 11-м округе, рядом с площадью Бастилии. Этот квартал вас ужаснет. Но я был бы счастлив, если бы вы пришли.

– Так вы обещаете меня пригласить?

– Разумеется, обещаю, месье. В ближайшие же дни мой дом удостоится вашего посещения.

– Значит, в ближайшие же дни я наконец смогу потрогать ветви ваших древних миниатюрных деревьев.

– Делайте все что вам угодно, месье. Можете хоть повиснуть на них!

– Ну что вы такое говорите!

– По моему скромному разумению, месье, повиснуть на ветке в двадцати восьми сантиметрах от пола совершенно не опасно.

Всякий раз как они вдвоем закусывали в баре кафе на Лилльской улице, Пьер Моренторф изыскивал тот или иной предлог, чтобы завести речь о своих зеленых питомцах – карликовых деревьях. Это позволяло Эдуарду погружаться в мечты, попутно слушая его, а то и не слушая вовсе. Моренторф старался придать растеньицу в тридцать сантиметров высотой вид могучего дуба, что высится над горным склоном, или безжалостно искривленной ураганом сосны, вцепившейся корнями в скалу на безлюдном, унылом морском берегу. Эдуарду пришли на память клетки великолепного антверпенского зоопарка близ вокзала, а следом – «обезьянья скала» Венсеннского парка. Этот образ позабавил его: крошечная сосенка держалась за скалу точно так же, как детеныш обезьянки,

ухватившийся за шерсть матери. И впрямь, грудь самки имела определенное сходство со скалой на безлюдном, унылом побережье.

Увлечение Пьера казалось ему тем более благородным, что оно питалось не иллюзиями и не останками старины, а вполне реальными, живыми деревьями, просто меньших размеров. И они были не только живыми, но и куда более долговечными, чем люди. Люди, которые их разглядывали, уподоблялись жалким личинкам в тени их крон. Какая-нибудь карликовая сосна видела на своем веку, как седеют и сходят в могилу, поколение за поколением, ее садовники. Вот и Пьер Моренторф посвящал всю свою жизнь судьбе этих хрупких растеньиц вовсе не для того, чтобы упиваться властью над ними, превращая в домашних карликов. Напротив, именно это садоводство в миниатюре, эти инсоляции в миниатюре, эти поливки в миниатюре, эти подкормки в миниатюре, эти треволнения в миниатюре помогали возделывать, согреть, питать игрушечный сад, где сверхчеловеческое долголетие было сравнимо разве что с жизнью богов и титанов. Тщательно выверенная «порция» солнечных лучей, регулируемая с помощью седзи,^[35] дабы замедлить вертикальный рост; тщательно выверенная «порция» воды, отпускаемой малюсенькими лейками по капле, чтобы приостановить чрезмерное развитие корней, каждодневный уход, прореживания, пересадки, прививки – все способствовало этому парадоксальному долголетию, которое заставляло грезить о вечности и которое он иногда дерзко сравнивал с грезой, навеваемой искусством, если допустить, что искусство навевает одни грезы. Подумать только: вещь, живущая веками и вдобавок имеющая над всеми искусствами то преимущество, что она принадлежит природе и упорно не желает расставаться с жизнью!

Эдуард положил себе еще немного сельди, выловленной в его родном море, и отхлебнул пива. Он подмешал в него чуточку бургундского, в надежде сделать напиток более терпким и темным. «Странная все-таки у нас дружба!» – думал он. Она началась в Лондоне, три года назад, с беседы обо всех тех вещах, что способны уместиться в неуклюжей детской ручонке, – он тогда гостил у миссис Дороти Ди, школьной подруги тетушки Отти; именно тот разговор и заставил его взять на работу Пьера Моренторфа, при всех неудобствах, какие представлял в этом многонациональном мобильном мире старинных игрушек служащий, который не терпел никаких передвижений, впадал в дикую панику, едва слышав слово «путешествие» или «отпуск», человек, так сказать, прочно укорененный, где бы он ни жил, в своем садоводстве и отдававший своим деревьям долгие часы нежных забот. Эдуард Фурфоз был высок и поджар, Пьер Моренторф был грузным лысым гигантом. Но, подобно карликовым деревьям в горшочках из матовой керамики, их руки, их взгляды, их манера говорить отличались удивительным сходством. Эдуард поставил бокал, взглянул на Пьера и попытался представить себе, как тот любуется маленьким деревцем. Наверное, при этом он забывает о собственном росте, о собственной дородности. В такие минуты мгновенно сам превращаешься в карлика. Вначале находишь себе приют под этими корявыми ветвями. Потом нежишься, лежа на травке, в крохотном пятнышке тени. Недвижный ветер начинает потихоньку

задувать в лицо, обдавая прохладой щеки на лице, взлохмачивая волосы, даже если ты лыс. И ты чувствуешь себя самым древним человеком на земле. И ты находишься в самом древнем саду на земле.

Нынче утром Пьеру Моренторфу предложили лот из четырехсот пятидесяти автоматов XVIII и XIX веков, который по стоимости сильно превышал суммы, имевшиеся в их распоряжении, а по объему превосходил все запасы на рынке, которым они владели. Эдуард тотчас сказал себе: «Вот и еще один фьорд в сторону запада, еще более узкий, дикий и холодный, и я должен его покорить». Куклы с фарфоровыми личиками, с глазами из полудрагоценных камней или стекла, с деревянными туловищами стояли на цоколях-футлярах, скрывающих либо часы, либо музыкальный автомат со скрипучей мелодией на медном валике. Ему представилось, как он погружает взгляд в эти холодные молочно-голубые или желтые глаза – в эти жалко вытаращенные мертвые глаза. И все-таки он велел Пьеру покупать, сняв деньги с брюссельского счета, но не пускать в продажу всю партию разом. Эдуард мысленно перебрал все сложные ухищрения, с помощью которых он перевезет эти четыре с половиной сотни неживых созданий на лондонский склад, минуя таможду, а затем осторожно, по одному, будет выставлять их на аукцион.

Они вышли. Серый небосвод уже начал чернеть, не дав угасающему солнцу обогреть деревья и крыши. Они зашагали по набережной. Эдуард инстинктивно ускорял шаг. Последнее время ему все чудилось, что за ним следят. Он часто оглядывался, но сзади никого не было. Пьер Моренторф, мужественно борясь с отчаянием, вызванным болезнью карликового вяза, тащился за ним с убитым видом. Эдуард подумал: наверное, в наших двух страстях, его и моей, таится секрет, который мы и разделяем и в то же время не постигаем – сдвиг масштабов, ощущение удаленности, уменьшения, и все это необходимо преодолеть. Теперь они шли по набережной Вольтера. Пьер Моренторф указал на громоздкое здание Лувра вдали – почти зеленое, окутанное предвечерней мглой.

– Месье, – шепнул Пьер, – ветра больше нет. И солнца больше нет.

– Но там, над дворцом, еще мерцает свет, – ответил Эдуард.

– Он зеленый и черный. Без золота. Это самая чистая красота, – бормотал Пьер. – Красота сумерек, уступающих место тьме.

– Значит, бывают и другие сумерки? – спросил со странной тоской Эдуард, обернувшись к Пьеру Моренторфу.

Лоранс включила лампу у изголовья. Приподнялась, опершись на локоть. Посмотрела на Эдуарда – он лежал рядом, на левом боку, и спал; сбившаяся простыня обнажила поникший член. «Возле меня лежит теплый и мертвый мужчина», – подумала она. «Теплый мертвец», – повторила она шепотом, как ни трудно было ей выговорить это. Она сдвинула простыню, обнажив его тело до кончиков ног. Взглянула на его колени, на мерно дышащую грудь, взглянула на ребра, выступавшие под кожей при вдохе, на впалый живот. Придвинулась ближе и начала поглаживать – легко, нежно, почти неощутимо, желая только

одного – чтобы жар, передающийся ее ладони, вечно сохранялся рядом с нею, здесь, в этой постели.

Она плохо спала. Каждую ночь Лоранс Гено вставала после одного-двух часов сна. Натягивала майку и джинсы. Шла во вторую гостиную, посреди которой стоял ее Bosendorfer, а у стены старенькое пианино Erard из светлого дерева. Она опускала крышку рояля, ставила ногу на левую педаль. Потом резким движением скручивала волосы в небрежный узел, скрепив его парой шпилек, заколкой или цветной резинкой; она и днем то и дело запускала в него пальцы, безжалостно дергая и терзая волосы вместо того, чтобы привести их в порядок. Ей хотелось ощущать затылок свободным, обнаженным, более прохладным, не отягощенным ни током крови, ни страхом. Она играла – час или два. Потом шла назад, в постель.

Эти ночные бегства всякий раз обескураживали Эдуарда. Когда она ложилась подле него, он, как правило, сам вставал через какое-то время. Она не могла спать, не могла есть. Эдуард, недовольный собственной худобой, возмущался худобой молодой женщины, которую так любил. Ее живот был не просто плоским, он становился впалым, когда она поднимала руки, чтобы вытащить шпильки из волос перед тем, как заснуть.

Он ставил ей в вину и то, что она редко смеялась, была мрачна, а ведь он обожал ее смех. Раскатистый, громкий, чуточку даже грубоватый, но живой смех – он сотрясал ее хрупкие плечи, заставлял сгибаться вдвое. Он словно не принадлежал ей, а снисходил откуда-то извне, прорывался внезапно, как бурный паводок, как налетевший ливень. И тогда она вся струилась, светилась детством. И в ее глазах сверкало молодое, победное, торжествующее пламя. Он подходил, заключал в объятия это тело, содрогающееся от смеха, чьи диковинные спазмы казались то ли животными, то ли божественными. Но, по правде сказать, его тянуло к ней всегда, каждую минуту, смеялась она или нет. Больше всего на свете он любил близость ее щеки, близость ее дыхания – это дуновение между носом и губами.

Какое это чудо, думал он, свежесть ее поцелуев, свежесть ее слюны. И хотя его раздражало то, что она богата – по крайней мере богаче его самого, ему нравилось, что она так страстно любит носить шелк. Он обожал ее пышные горячие груди под шелком, нежные, как сам шелк.

Г лава VII

*Имя летит впереди вас.
Окажите милость,
вслушайтесь в него.
Хань Сян-цзы [36]*

Однако выходные дни были ему заказаны. Пока Лоранс с Ивом проводили время в своем нормандском имении, в Киквилле, возле Сен-Васта, Эдуард отправился в Зебрюгге встречать тетюшку Отти.

Он сел в поезд, пересек Валуа, миновал Уазу. В Ольнуа он полюбовался блестящими под дождем порфиrowыми плитами – казалось, они веками источают кровь – большой мастерской мраморщиков Годье-Рамбу. В Брюсселе

зашел в магазин на площади Гран-Саб-лон, повидался с Франком, и тот представил ему молодого шотландца Джона Эдмунда Денда, который хотел работать на них. Эдуард согласился взять его на испытательный срок. Потом он забежал в близлежащую кондитерскую Виттамера и съел восемь маленьких кофейных эклеров за восемь минут. В эти минуты он искренне верил, что мир создан Богом.

Наконец он прибыл на антверпенский вокзал. Стояло лето. Вернее, то был первый день лета – суббота 21 июня 1986 года.^[37] Ребенком он считал этот вокзал – Антверпен Сентраал – самым красивым на свете. Он толкнул узкую застекленную дверь светлого, сияющего монументального вокзала-собора. Нескончаемый мелкий дождик, похожий на жиденькое белое кружево, сыпал, не скупясь, с холодным, неумолимым, чисто кальвинистским прилежанием на Фландрию и Брабант. Этот тихий ливень здесь называли «la drache». В детстве он обозначал этим словом еще и тот рассеянный свет, который словно припудривал город, окутывал его призрачным флером печали. Он поискал глазами такси и не обнаружил ни одного.

Тогда он пошел пешком вниз по улице Меир в сторону Эско и моря, постепенно ускоряя шаг. Дождик, который доселе только щекотал и покалывал лицо, теперь полил гуще, встал сплошной стеной. Эдуард уподобился пловцу, захлестнутому внезапным паводком. Он с ужасом вспоминал рассказ Лоранс о смерти брата. Почему жизнь всегда зависит от какой-нибудь ветки, обломка бревна, древесного корня?! Ему вдруг захотелось простонать, из последних сил позвать на помощь. Вот так лебединая песнь рождается в груди именно в том городе, где ты испустил свой первый крик. Он воочию видел – тогда как не мог видеть и не увидит никогда – брата Лоранс, носившего, по его мнению, весьма старозаветное имя, брата, о котором она так долго и подробно говорила во время одной совсем бессонной ночи, сорванным голосом, заливаясь слезами; она сидела на табурете, распущенные белокурые волосы плащом укрывали ей спину, узкую, идеально прямую спину, отчего грудь упруго выдавалась вперед. Это было в просторной кухне на авеню Монтень. Эдуард стоял обнаженный. Он откалывал кусочки льда и сахара, смешивал их с растворимым кофе. У него не хватило мужества молоть кофе, греть воду – словом, варить среди ночи настоящий кофе.

На Кorte Гастхюйсстраат никого из родных дома не оказалось. Мать только что уехала на неделю в Лимбург, в Маасмекелен. Шофер сказал ему по-фламандски:

– Госпожа ваша матушка велела передать, что рада вашему приезду. Мадемуазель Жозефина обещала позвонить. Вот я и передал месье оба поручения.

Эдуард со смехом ответил:

– Twee suikerklontjes geven de leidekker voor 6 minuten énergie. (Два куска сахара придают кровельщику бодрости на целых шесть минут).

Однако позвонила не Жофи, а старшая сестра, Аманда. Она сообщила, что придет в восемь часов к ужину. Ровно в восемь он вошел в столовую. Все здесь выглядело так же безвкусно, трогательно, напыщенно и фальшиво, как прежде:

печка 1875 года, облицованная фаянсовой плиткой XV века, высокий зияющий камин, обширный, как желто-зеленая исповедальня, семейный обеденный стол в окружении четырнадцати узких стульев с красноватой обивкой, с четырьмя фигурными перекладинами на спинке. На столе стоял всего один прибор. Он ждал стоя, за стулом, вытянув руки по швам, как бывало в детстве, и смотрел в пустоту. Он ненавидел высокий потолок столовой, украшенный расписными кессонами и фальшивыми красно-бело-зелеными гербами. Его невидящий взгляд уперся в длинный гобелен XVII века, который уже целую вечность, с 1880 года, красовался на торцевой стене зала: Вертумн в образе землепашца приближается к Помоне. Помона с серпом в правой руке глядит на подходящего Вертумна, придерживая левой рукой собранный подол, наполненный яблоками и лимонами.

В десять минут девятого вошла Аманда в вечернем туалете. Она унаследовала от матери ее акцент – несомненно, голландский, даром что их мать предавала анафеме Голландию с тем же гневным пылом, с каким обрушивала проклятия на Францию. Старшая сестра не подошла к нему.

– Как поживаешь, Вард? Я велела приготовить твою комнату. Сегодня вечером я не могу остаться. В доме холодно. Я велела Луизе положить тебе в постель грелку. У тебя сильно поредели волосы за эти два года. Наверху в шкафу есть много одеял, если замерзнешь.

– Настоящих одеял? Из овечьей шерсти?

– Да. Ну приятного тебе вечера.

Только теперь она подошла и подала ему руку. Он притянул сестру к себе и поцеловал в щеку. Аманда вернулась к двери, распахнула ее, оставила открытой – Луиза как раз несла в столовую супницу – и пошла вниз по парадной лестнице из красного мрамора.

Эдуард сел. Он ненавидел этих людей, эту страну, этот дом. Единственное, о чем ему приятно было думать, – это вражеский набег 836 года на Антверпен, когда город разграбили и сожгли дотла. Он явственно представлял себе языки пламени, исландские драккары на Эско. И как будто слышал топот норманнов, молчаливых кровожадных воинов, какими их описывают саги, в миг, когда они неожиданно вторгаются в город под рев своих костяных рогов. При этом воспоминании он с удовольствием съел поданный суп.

Кофе он велел принести в «первую гостиную». Луиза вышла, прикрыла за собой дверь, и он распахнул окно, за которым все так же немо и упорно лил дождь. Потом придвинул к окну кресло, глядя на мокрые черные деревья под ливнем, в ночной мгле. Но скоро он встал и уселся рядом с креслом, прямо на португальский красный шерстяной ковер, как обычно садятся дети – потурецки, не опираясь на руки.

Подняв голову, он взгляделся в маленькое, ярко раскрашенное распятие, висевшее в самом центре черной стены, обитой масляно поблескивающей кордовской кожей. Он выпил слишком много вишневого пива Audenarde. Тишина воцарилась в просторном, обманчиво уютном жилище, и ночь вступила

в свои права, а с нею тоска; и знакомые с детства стены были все такими же чужими, и высокие потолки все так же тяжело довлели над ним – в общем, все было по-старому. Только уныние этой ночи хоть как-то успокаивало своей реальностью. И еще – не до конца утоленный голод.

Внезапно его объял короткий приступ паники. Иногда с ним приключалось такое: непонятный, болезненный страх налетал неведомо откуда. Целую четверть часа он заставлял себя думать о ремонтных работах, которые препоручил подрядчику из Шамбора, вернее, из Оливе. На их совещании, проходившем в шамборском кафе, захотели присутствовать представители всех строительных профессий. А завтра он встретится с теткой. Понравится ли ей все, что он там напридумывал? Не совершил ли он крупную оплошность, все решив за нее и не посчитавшись с ее вкусами? Он дотянулся до лампы и выключил свет. Ему хотелось проникнуться запахом этой комнаты, которую всегда называли «первой гостиной», хотя на самом деле она служила курительной. Он отодвинул чашку, чтобы не мешал запах кофейной гущи. И мало-помалу начал различать запахи кожаной обивки стен и отсыревшего бархата, еще какой-то отдаленный и густой запах, ароматы сахара, сладкого торта, окурков сигар, жуткий запах, или, вернее, смрад музыки Габриэля Форе с примесью бренди и еще запах старой женщины, распеваящей во все горло, запах одиночества.

Это слово – «одиночество» – принесло ему ощущение прохлады и радости. Встав на ноги, он закрыл окно. В темноте больно ударился бедром об угол пианино. Слово «одиночество» было верным его товарищем. Он поднялся по парадной порфировой лестнице. Ему уже не требовалась грелка. Слово «одиночество» согревало его с давних пор – и на все будущие времена.

Он шумно захлопнул дверь своей детской. Она находилась на третьем этаже. Собственно говоря, это была не детская, а род часовни, даже узкое окно состояло из мелких квадратиков толстого витражного стекла. Он зажег все лампы, и старинные, и неоновые, последние были закреплены на сорока шкафчиках светлого дерева, идущих по периметру комнаты. Лампы высветили яркие краски игрушечных экипажиков «Россиньоль» семидесятых годов XIX века – сочные, радостные цвета, свойственные детским игрушкам: медонский белый, бирюзовый, красный «сольферино»... Старинные жестяные каретки словно тянулись к нему, узнавали хозяина в лицо. Все эти крошечные вещички в один миг проснулись, восстали из царства мертвых.

Он сел на пол. Всякий раз как он попадал в свою бывшую детскую – всякий раз, как возвращался в страну, которую так хотелось бы назвать «родиной», – всякий раз его до глубины души пронизывало ощущение большей чистоты, разлитой в воздухе, большей живости света, исходящего лампами. В такие минуты он просто физически чувствовал, что рай существует взаправду, мало чем отличаясь от порта, воспетого художниками долины Мёзы и берегов Эско, что звено, связующее его с этими местами, и есть тот самый порт, получивший свое имя от окровавленной отсеченной руки.

Он поймал себя на том, что бормочет фламандские слова, сидя на полу. Отняв руку от ушибленного бедра, он взглянул на раскрытую ладонь. И вошел в Антверпен, уместившийся в детской руке, в город, куда вела его детская рука, в музей предметов, уменьшенных до размеров его детской руки, – именно тех предметов, которыми он теперь торговал повсюду, по всему Старому свету. Сидя в окружении шкафчиков с дверцами светлого дерева, в половину человеческого роста, в окружении застекленных витрин, доходивших до потолка, в окружении горящих ламп и резких красок, он командовал. Командовал двумя сотнями фигурок святых, шестьюстами прочими мелкими куколками и таким же числом солдатиков – целой тайной армией, которую выставил на бой с невидимым врагом – быть может, счастьем? Он очертил им передовую линию, где нужно стоять на коленях, прильнув щекой к холодному прикладу, в ожидании ужасной незримости, в ожидании чего-то бестелесного, не занимающего пространства, не воплощаемого в цвет. В ожидании чего-то, лишённого подобия на земле, лишённого подобия в мире, лишённого имени и названия.

Под одним из двух окон спальни стоял комод с восемью ящиками, где он содержал великолепнейшую коллекцию табакерок и перстней семейства ван Бларенбергов. В начале XVIII века на улице Сент-Оноре жили два брата Бларенберга; ввинтив лупы в глазницы, они изготавливали миниатюрные копии всех великих баталий, писанных Ван дер Мейленом,^[38] баталий столь же безмолвных и бесплодных, как и те, что вел он сам. Эдуард встал на колени. Вынул драгоценные коробочки. Поднялся, снял пиджак, раскрыл чемодан и извлек оттуда «Зарю в Брюгге», называемую также «Брюггские зори»: растерзанные французы, подернутая туманом вода и удирающий Жак де Шатильон. Он снова сел на пол по-турецки: такую позу он принимал всякий раз, как разглядывал одну из этих табакерок у себя на ладони. В этот миг он перевоплощался в тонюсенькую, изворотливую, пропитанную гуашью кисточку, зажатую в пальцах Луи или Анри ван Бларенберга. Он проникал в самую гущу сражения при Амфельде, развернувшегося на трех дюймах слоновой кости. Воочию переживал осаду Ла-Рошели, запечатленную на крышке карманных часов. Входил в хоровод «Танца в Безоне», где восемнадцать персонажей умещались на одном-единственном перстне. Замирал, не смея дышать, превращаясь в испуганного оленя перед «Дианой после купания, надевающей сандалию», размером с детский ноготок, написанной на буксовой коробочке для пилюль.

И вдруг он понял, что ровно ничего не чувствует. Впервые в жизни он ровно ничего не чувствовал, любясь этими сокровищами. Не мог побороть безразличие, посторонние мысли. Ушибленное бедро болело все сильнее. Он разложит миниатюры по ящикам, торопливо задвинул их. Тот порядок вещей, над которым он имел неограниченную власть, безнадежно рухнул. Он подумал о Лоранс, о душистой коже Лоранс, о ее золотисто-серых глазах. В тот миг когда он вставал на ноги, потирая бедро, ушибленное о край пианино в «первой гостиной», перед ним блеснуло молниеносное видение. Девочка из школы на улице Мишле. Внезапно она обернулась, показав ему лицо. Но он не успел

разглядеть ее черты. Увидел только глаза – огромные, лучезарные, карие глаза. Она взяла его за руку.

– Не буду больше играть на пианино!

– Мне хочется пить. А тебе?

Дождь лил как из ведра, а его мучила жажда. Он отошел от девочки и начал слизывать водяные капельки с железной решетки Люксембургского сада, ощущая холод железных прутьев.

Вот и все. Видение длилось только миг, пока он вставал на ноги. Он растворил окно своей комнаты, впусив шум ливня, поглотившего и сад, и Антверпен, и Эско, и Северное море вдали. И подумал о детских годах на площади Одеон, которые на десятки лет словно бы выпали из памяти, возникая лишь обрывками, неожиданно-негаданно. Он резко обернулся. Прикрыв ладонью рот, лег на свою детскую кровать. И проклял эту маленькую призрачную женщину, что неотрывно следовала за ним по пятам, где бы он ни был. Ему стало холодно. Он пожалел, что не взял грелку, которую Луиза приготовила для него в буфетной. С ненавистью покосился на ящики комода, с отвращением вспомнил свои путешествия, свои магазины, свой номер в отеле. Прошел в туалетную, снял одежду, умылся. Вернулся в спальню. Тоска, охватившая его в «первой гостиной», снова завладела им. Он закрыл окно, отгородившись от дождя и темноты. Нет, это была не тоска – просто он, сидя голым на детской кровати и лоя свое смутное отражение в освещенных стеклах шкафов, чувствовал себя растерянным, убитым. Кто-то затаившийся внутри него жалобно хныкал, «пускал слезу», бормотал по-антверпенски, скулил, упрасивал, заклинал: «Маленькие видимые вещи! Маленькие видимые вещи, вы же связаны с миром невидимого! Вы же стонете, угодив в непомерно большую руку, которая держит вас в плену, давно разучившись играть вами. Вы плачете по пухлым губкам, которые никогда уже не будут гудеть и вибрировать, изображая великолепный рев автомобильного мотора. Маленькие видимые вещички, вы разучились возить своего хозяина, вы бессильны вернуть его в дом, в настоящий, отчий дом, в единственный на свете родной дом, но, молю вас, сохраните для меня, презрев время, это мое любимое местечко на краешке ковра, где детским коленкам так тепло на мягкой старинной шерсти, на границе с темным холодным паркетом, чьи узоры еще тогда пророчили дальние дороги!»

Ей почудилось, будто пара слуховых окошек вперила в нее невидящие круглые глаза цвета расплавленного золота. Лучи семичасового солнца багряными пятнами лежали на полу. «В этой квартирке, – думала Лоранс, – словно пожар занялся». Было семь вечера. Лоранс разглядывала комнату студии, которую оставила ей Роза. Вчера она принесла сюда цветы. Ей следовало бы вернуться к Иву, вернуться домой. Они так и не поехали в Киквилль. Весь день лил дождь. Она не знала телефона Эдуарда в Антверпене. Лоранс Гено чувствовала себя безнадежно одинокой. Вот уже десять лет, как ее мать находилась в клинике Лозанны, на берегу озера, где все дни напролет

просиживала у воды на железном стуле под сенью платана – скорбная, погруженная в себя женщина в темно-сером костюме. Ее мысли витали где-то далеко. Тщетно Лоранс обнимала ее – отрешенная мать никого не замечала. Лоранс чувствовала себя отверженной, выброшенной из жизни. Из жизни Ива, из жизни Эдуарда, из музыки – последние три дня, из жизни всех, всего мира. Это ощущение заброшенности было невыносимо для Лоранс. Все, что ни попадалось ей под руку, дышало заброшенностью. И это чувство повергало ее в панику. Куда исчез Эдуард? Чем он занят? Думает ли о ней? И отчего не звонит – боится или, может, попросту отказался от нее?

Лоранс начала искать вазу для цветов в модернистской Розиной кухне с желто-голубыми кафельными стенами. Наконец взяла графин для воды и поставила в него купленные накануне левкой. Их желтые грозди наверняка увянут до того, как вернется Эдуард. И все же это был род подарка, подношение Эдуарду, способ растрогать его, пусть даже в его отсутствие. Говорят, некоторые люди простирают свое безумие до того, что дарят цветы тяжелым каменным плитам, под которыми погребены умершие.

Она говорила сама с собой, сквозь зубы. Наконец она захлопнула дверь холостяцкой квартиры своей подруги. «Надо будет обязательно познакомить мою голландку с моим антверпенцем», – думала она. Лестничная клетка черного мрамора была такой мрачной, такой холодной. «Они понравятся друг другу», – думала она. И вдруг, захлебнувшись тоской, бессильно прислонилась к полированной ледяной стене. Да любит ли ее Эдуард? Любит ли так сильно, как она любит его? Он желает ее, это несомненно. И, несомненно, искренне хочет сделать ее счастливой. Но он так не похож на нее. Так скупко отмеривает время на встречи. И он не способен страдать. Это просто торговец-молчун, его мысли заняты лишь вещами и деньгами. Корсар, упивающийся властью над своим крошечным королевством. Он только и умеет, что брать. И пить свое любимое пиво. И кутаться в свои любимые шерстяные свитера. Ни о чем ее не спрашивает. Ни единым словом не поминает страстных увлечений своей жизни. Его мысли, чувства, путешествия, вкусы, дела, воспоминания были для нее закрытой книгой. Хоть бы рассказал что-нибудь о детстве, но нет, ничего.

Она-то рассказала ему про Уго, подарила ему Уго. Ее отец – вот кто делился с ней всем, что имел: она была в курсе его финансовых дел, знала о его могуществе, окружении, покупке людей и вещей, прибылях и убытках, об увольнении служащих, безжалостном, как обрезка гнилых ветвей. Эдуард же никогда не говорил о своих делах, не очень-то ревновал к ее окружению, не интересовался ее повседневной жизнью, ее делами, ее фотожурналом, издававшимся на набережной Анатоля Франса. Любую мелочь из него приходилось вытягивать настойчивыми вопросами, которые только злили его. Когда она играла на рояле, он не подходил послушать. А ведь она при желании могла бы стать известной пианисткой, если бы так не боялась публики. Ей хотелось, чтобы он разделил с ней абсолютно все. Хотелось, чтобы он питал к ней безграничное доверие. Она опасалась, что ее страсть пугает его, не хотела быть ему в тягость, быть чересчур навязчивой. Опасалась, что он учует ревность, которая незаметно росла в ее сердце и которую ей уже не удавалось

скрывать. Ревность к каждой его мысли, к каждой минуте его жизни, к каждому воспоминанию, даже к его одежде – этим темно-зеленым и синим одеяниям, таким мрачным, всегда из шерсти, из альпаки, из кашемира, – непонятно даже, где он такие откапывал. Она зашагала вниз по черно-мраморным ступеням – медленно, осторожно, словно боялась упасть, крепко держась за розоватые перила.

Она вспоминала его взгляд: глаза не скрывали обуревавших его чувств, лучились жизнью, детской радостью, доверием. Но ей было неведомо, что это за радость, что это за жизнь, что это за доверие, потому что губы, так любимые ею, никогда не выражали вслух этих чувств. А она жаждала получить от него хоть частичку этой радости. Ей хотелось жить. Она мысленно повторила слово «жить», продолжая свой боязливый путь вниз, ступень за ступенью, все так же судорожно хватаясь за перила. Даже речи быть не может о том, что это выльется в легкий адюльтер, в короткое приключеньице, затеянное по случаю хорошей погоды и весны, сказала она себе. Она разведется. Она уже разводится.

Коричневые или красные силуэты людей стирались в клочьях тумана. От причала отошло какое-то судно. Эдуард стоял на набережной в ожидании тетушки Отти, вглядываясь в негустую толпу пассажиров на деревянных сходнях. Ветер злобно трепал его черные волосы, передняя прядь то и дело падала на глаза и колола веки. Ему было холодно. В детстве он страстно любил смотреть на отъезды. Он мог часами торчать в порту на берегу, упиваясь этой загадкой – или чудом, от которого испуганно сжималось сердце: где бы ни оказывались люди, на пароходе или на суше, но и отбывшие, и оставшиеся всякий раз удалялись друг от друга, медленно и неумолимо уменьшаясь прямо на глазах. И уже нельзя было обнять любимых, с которыми разлучило море. Они превращались в крохотные точки, малюсенькие фигурки, затерянные в пространстве. Какая-нибудь чайка, севшая на железные перила причала, откуда глядели провожающие, или на поручень кормы парохода или катера, где отплывшие искали глазами людей на берегу, могла заслонить собой целую деревню, целый океанский лайнер. А потом точки уменьшались вконец, растворившись в морской хмари. И все эти гигантские плавучие сооружения и все живые существа на их борту бесследно исчезали.

Даже и теперь, тридцать, нет, сорок лет спустя, он зачарованно созерцал пароход, постепенно терявшийся в мокрых, мутных извивах того, что и туманом-то не назовешь. Наконец он покинул скрипучий причал из сырого дерева, такого рыхлого, что оно вбирало в себя влагу с его подошв. Он не забыл, как в детстве пять его сестер и трое братьев насмехались над этой неистребимой страстью к отплытиям, над этим маниакальным влечением, иногда вызывавшим у него рвоту или анорексию, к елейному дурману моря, к запахам моллюсков и жидкого меда, водорослей и нефти, которые притягивали или отвращали его точно так же, как запах мочи или дубовой коры некогда притягивал дубильщика или перчаточника.^[39] Когда в 1951 году он вернулся больным из Парижа, то, несмотря на свой десятилетний возраст, постоянно

слонялся в порту, а по выходным заставлял шофера возить его на дальние причалы, в Ховенен или на Фоссесштейн-страат. Там он забирался на борт какого-нибудь катера.

И целыми часами готов был наблюдать, как тот уходит вдаль, как ведут себя покинутые на берегу, и эти прощальные объятия и взмахи платками завораживали его не меньше, чем безразличие всего окружающего – морских птиц, всплесков воды под сходящими, бесстрастных приливов и отливов в реке и море. Внезапно ему пришло в голову название цветка. Он ненавидел воду, и все же что-то в ней привлекало его взгляд. То же было и с цветами: для него они являли всего лишь тайный язык, нелепую валюту и в то же время зачаровывали, пугали. Он резко обернулся. Нет, позади никого не было. Он ненавидел воду за ее губительную приманчивость и холодное безразличие. Потому-то и не желал слушать рассказы Лоранс о брате, поглощенном водой. Той самой водой, что втянула его в канализационную трубу, где он мог кричать, лишь глотая эту черную вязкую жидкость, несущую смерть. Он устал ждать. Ему все чудилось, будто он только что расстался с девочкой, или потерял цветок, или забыл название цветка. И ему никак не удавалось вернуть эти лепестки, эти слоги. А наряду с именами цветов, наряду с цветами в канавке под изгородью, среди тощих стволиков куста были ведь еще и игрушки, были пасхальные, освященные в Риме подарки, укрытые среди примул, среди хвощей.^[40] Эдуард поднял воротник пальто.

Ему было очень холодно. И он боялся встречи с тетушкой Отти. В море не осталось ни одного парохода. И горизонт тоже исчез. Он с нетерпением ждал, когда же она появится и они смогут наконец выпить чего-нибудь горячего. Всякая любовь на свете должна прежде всего источать тепло. У него застыли ноги, кончики пальцев на руках. Ноги его стояли на ржавых рельсах. Он передвинулся вперед, ближе к краю причала. И замер там, кутаясь, как мог, в свое зеленое пальто, на ветру, среди вагонов и подъемных кранов. Точно ящерица, точно крошечная саламандра, затаившаяся в зарослях гигантских папоротников и хвощей.

Он буквально оледенел, и его пьянило странное ощущение: это прибытие медлило с прибытием. Это прибытие было вечным отъездом, вечным уменьшением в пространстве. Пока что сюда пожаловал один ишь туман – нестойкое скопище бывших водяных капелек. В Антверпене он взял напрокат японскую машину. Проехал через Брюгге, прошел вдоль Дейвера, порывлся в старых игрушках на грязных прилавках барахолки, трусливо сбежал от сорока семи колоколов брюггского собора. Ему представилось, как там, далеко в вышине, звонарь в кожаных перчатках, в теплых сапогах сражается с клавишами колокольного механизма. Он свернул на Лиссвеге. И вот уже два часа мерзнет в Зебрюгге, а уж как он ненавидел ожидание!

– Не забудь мне напомнить, чтобы я купила фишки для бриджа!

Она говорила это, обнимая его. Он вскрикнул, застигнутый врасплох, побагровев от стыда. Тетушка Отти уже здесь. У пристани стоял большой

паром. Из его чрева выползали легковые машины, грузовики. Он в свою очередь обнял ее.

– Тетя... тетя...

– А ну-ка, малыш, помоги мне с багажом.

Схватив Эдуарда за руку, она сунула ему огромный чемодан в нейлоновом желто-зеленом полосатом чехле. Он растерянно воззрился на нее. Наконец-то он видит тетку, эту грузную женщину, такую резкую и такую ласковую, видит ее пухлые, мягкие щеки со слабым лимонным запахом, мешочки под глазами, сами глаза – точь-в-точь переспелые сливы, чья кожа лопнула на солнце, а из трещин выглядывают круглые, блестящие, зоркие птичьи зрачки.

Он отстранился и узнал теткин шиньон оттенка красного дерева: это сооружение, монументальное, точно старый манхэттенский небоскреб, внушительное, хотя, кажется, пустое внутри, тщательно окрашенное в огненно-рыжий цвет, прилизанное волосок к волоску, всегда, сколько он себя помнил, высилось над лицом тетушки Отти.

Она была облачена в желтый костюм из синтетической пряжи и блузку с розово-зеленым галстучком. С шеи свисала узкая фиолетовая бархатная ленточка, на которой болтался желтый кожаный футлярчик – в нем тетка всегда носила грошовую зажигалку; футляр то и дело подпрыгивал на ее бурно вздымавшемся бюсте.

Тетушка Отти уже достала свою пачку Velga и прикурила сигарету от зажигалки на ленточке.

– Скажи-ка, малыш, ты принес мой любимый белый шоколад?

– Ну конечно, тетя.

Эдуард поставил наземь чемодан, вынул из кармана пальто плитку в золотой бумаге и протянул тетке.

– Но разве ты не хочешь сперва пообедать?

– Еще успеется, благодарю. А в это время я всегда ем шоколад.

Дождь все не утихал. Тетушка Отти развернула прозрачную целлофановую косыночку в белый и черный горошек и прикрыла ею свой огненно-красный шиньон. Эдуард поднес чемоданы к машине, погрузил их в багажник. Они тронулись в путь. Он вел машину. Они болтали.

– Мой супруг прямо-таки оброс мхом. Понимаешь, что я имею в виду?

– Конечно.

– Хотя, надо сказать, бывают прекрасные замшелости. Сморчки, например.

– Или бордоские белые грибы – тоже неплохо!

– Или трюфели. Или вот еще молодые лисички – чудесные замшелые малютки. И Евангелие... И фирма «Крайслер»...

– И семейство Фурфозов...

– Э нет, малыш, наша семья вовсе не замшела, она, конечно, перезрела, но мхом еще не обросла. Поэтому и не воняет, как некоторые. Мне кажется, скорее, семья Фурфозов издает тот самый изысканный душок, каким отличается сыр реблошон. Послушай, Вард, не будь злокой. Ненавидеть нужно не то, что замшело, а лишь то, что окончательно мертво. Вещи, которые воняют, конечно, недалеко от смерти, но пока еще в них кипит жизнь...

Если не считать чисто английской, вернее, американской интонации, его имя прозвучало в ее устах совсем по-фламандски – Вард. И это внушило ему неожиданный, почти комический восторг: он любим. Тетка опустила ладонь на его кулак, сжимавший ручку скоростей. И тихонько сказала:

– Вот мы и опять вместе, малыш. Давненько не виделись.

Эдуард молча стиснул зубы. Его тело пронзила дрожь; казалось, она достигла сердца, жестоко сотрясла сердце. Он вновь почувствовал нежную шероховатость пальцев тетки, это противоречивое – и сухое, и бархатистое, и жесткое – касание на своей руке, обхватившей рычаг.

Но в тот самый миг, когда Эдуард судорожно сглотнул, борясь с подступившими слезами, тетушка Отти убрала руку и спросила совсем другим голосом, бодрым, энергичным голосом Нового Света, одновременно прикуривая очередную *Belga* от висевшей на шее зажигалки и стряхивая тлеющую крошку табака с юбки своего ядовито-желтого синтетического костюма:

– Ну-с, а как поживают твои миниатюрки?

Они сидели в ресторане, возле двери, которая непрестанно распахивалась, тренькая колокольчиком и ударяясь о спинку стула Эдуарда. Эдуард пытался описать тетке дом в Шамборе, берега Коссона, спешные строительные работы. Но ему никак не удавалось подобрать нужные слова. Он предпочел бы просто показать ей «Аннетьер» без всяких объяснений, но тетка нетерпеливо требовала рассказа. Ему казалось, что он понапрасну сотрясает воздух: так фермерша усердствует над бадейкой с молоком, пытаясь сбить масло. Скоро тетушке Отти надоело его слушать, и он умолк. Тетушка Отти заговорила о своей жизни. Поедая кусок пассендаля, она не оставила камня на камне от Сиракуз, истребила всех музыковедов на свете и безжалостно расценила последние пятнадцать лет, прожитые в Америке, как пропащие. Эдуард Фурфоз внимал ей благоговейно, точно верующий – своему божеству. Тетка была тучной женщиной с пухлыми брыластыми щеками. Ее морщинистая, обвисшая, как жабо, шея напоминала шеи кондоров в Андах, да и светлый взгляд отличался хищной, ненасытной ястребиной зоркостью.

Она любила пиво не менее страстно, чем ее племянник. На их столе теснились бутылки *Gueuse*, *Chimay*, *La Moinette*, можжевелевки и множество стаканов, в которых под светом деревянной настольной лампы весело искрились остатки пива. Тетушка Отти заявила, что намерена вспомнить все напитки своего прошлого. Она поднимала стакан, то и дело восторженно взвизгивая, блаженно прикрывая глаза, и с упоением перебирала пивные названия и вкусовые ощущения, которые, на ее взгляд, дарил тот или иной сорт пива. Ее коротенькие ручки и скрюченные пальцы с распухшими узловатыми суставами напоминали мощные когтистые лапы пернатых хищников, которыми она так увлекалась, их длинные, крючковатые клювы, способные безжалостно рвать чужое оперение или шкуру, терзать живую плоть своей стонущей жертвы. Тетушка Отти прикончила свой пассендаль.

– Среди самых живых вещей, – поверяла она Эдуарду, поблескивая глазами из-под тяжелых нависших век и прикуривая следующую Belga от зажигалки, болтавшейся между грудями, – среди тысяч вещей, которые я повидала на этой паршивой земле, я уж точно не назову сословие музыковедов. Самая живая вещь на свете – это... впрочем, ты наверняка не угадаешь, верно, малыш?

– Ну конечно, нет, тетя. Боюсь признаться, но, ясное дело, не угадаю.

– Так вот, самое живое, что я когда-либо видела, – это кружок света на письменном столе моего отца. Я имею в виду в кабинете твоего деда.

– А я мог видеть этот кабинет?

– Нет, не мог. Сказать по правде, я и сама там не была! Мне строжайше запрещалось входить в отцовский кабинет. Именно там в начале века твой дед и Фриц Майер ван дер Берг подготовили первую брюггскую выставку фламандских примитивистов; она состоялась в 1902 году. Кстати, в те времена фламандские примитивисты ровно ничего не стоили. Такого направления просто не существовало. И дед с ван дер Бергом собирали мазню, за которую никто не дал бы ни гроша.

– И которая была еще отвратнее, чем игрушки.

– Примерно так. Ну вот, в этот самый кабинет я и пробиралась в мечтах, в воображении, замирая от страха. Пробиралась много раз, даже не счесть. Но именно потому, что это была чистой воды фантазия, я и уверена, что люблю отцовский кабинет больше всего на свете. Я разглядывала сотни рядов книг в ярких переплетах, оранжевые круги света под красивыми абажурами эпохи Наполеона III, старинные кожаные кресла, перья на столе, бороду отца. Подходила к карандашной точилке в маленькой стеклянной витрине, прибитой к стене у двери. Вертела ручку и смотрела, как сыплется из дырочки деревянные очистки с яркими краями. От этой точилки так приятно пахло. Она слегка напоминала молитвенное колесо, которое крутят с гортанными песнопениями монахи-буддисты. От нее исходил легкий, почти неуловимый запах свежего дерева. И еще я чувствовала сладкий аромат сигар.

– У сигар нет сладкого аромата.

– А я говорю, есть, малыш, и именно что сладкий. Я беседовала с отцом. Обсуждала с ним проблемы природы и общества, а он частенько гладил меня по голове по моим длинным волосам, приговаривая: «О дочь моя, Оттилия, как же ты умна! Ты мое единственное, самое любимое дитя на свете. До чего же ты мудро рассуждаешь! Верховный тибетский Лама и тот мыслит не так глубоко, как ты!»

– Мой дед взаправду говорил тебе все это?

Тетушка Отти сунула в рот кусок чесночного сыра и ответила:

– Я видела своего отца только на семейных похоронах.

– Что ты говоришь! Вот ужас-то!

– На похоронах и еще в опере, где пела твоя мать.

– В Королевском фламандском театре на авеню Франкрейклей?

– Да. Хотя, честно говоря, я не находила большой разницы между тем и этим.

– Ну ты знаешь, как я люблю маму!

– Вот в этом я не очень-то уверена.

– А она никогда не называла меня по имени.

– Подумаешь, какое дело! Ни в твоём, ни в моём имени нет ровно ничего замечательного.

– Неужели имена звучат красивее на похоронах и в опере?

– А ты бы хотел, чтобы моя дорогая Годлива произнесла твоё имя на твоих похоронах? Или спела бы его, обнимаясь с тенором в белом прозрачном хитоне, на сцене Королевской оперы?

– Ты обижена на своего отца?

– Не больше, чем ты на свою мать. – И она добавила: – Видишь ли, малыш, я не совсем откровенна.

И она залпом допила остатки красного Moinette.

– Скорее, я обижаюсь на себя саму за то, что так ни разу и не осмелилась переступить порог отцовского кабинета. Мне иногда думается: а может, он бы меня и не убил за это? Я вполне могла бы взяться за ту дверную ручку и отворить ту чертову дверь, обитую кожей.

– Все это как-то лишено смысла.

– Э нет, все это имеет глубокий смысл. Самое прекрасное место на земле... я так его и не увидела, но по крайней мере знаю, где оно находится. Знаю, что оно существует где-то там, далеко, растворенное в кружочке света, падавшего на стол из-под старинного абажура. Совсем как здесь. Взгляни, малыш! Вот оно, рядом с чесночным сыром. Самое прекрасное место на земле – оно затерялось тут, в этой лужице света, куда я сейчас кладу твою руку.

Она взяла его руку и положила ее на светлый круг под абажуром коричневой деревянной лампочки. Эдуард был счастлив. После тридцатипятилетней разлуки тетка рассуждала точно так же, как в былые времена. Они сидели вдвоем в этом слегка претенциозном ресторанчике англосаксонского стиля, на обочине шоссе, ведущего от Зебрюгге к Магделену и Экло. Тетка шумно высморкалась, отняла свою руку и встала. Перебрала на банкетке свои четыре сумки, лежавшие сбоку от нее, взяла одну из них, сшитую из разноцветных кожаных квадратиков, и снова уселась. Порывшись в сумке, она достала оттуда портсигар и нажала на замочек; в отверстом зеве портсигара лежали рядом тонкие «сигарки». Тетка вытащила одну из них, прикурила от своей «шейной» зажигалки и выпустила облачко дыма в настольную лампу.

Эдуард отодвинулся. Он рассеянно глядел в пустоту, в окно. Дождь поливал шоссе, идущее на Экло. И вдруг он подскочил и уставился на тетку, которая только что резко защелкнула портсигар. Этот щелчок отдался в его сердце, напомнив удар железной линейки учителя по деревянному столу на возвышении, когда тот призывал к тишине и порядку. Как будто снова учитель ловил его на шалости и бранил, колотя линейкой по столу. Как будто снова он оказывался виноватым, сидя на задней парте у окна и нашептывая что-то на ухо своей соседке.

Но потому-то он и шептался с ней, потому-то его и призывали к порядку в классе лица на улице Мишле, что оба они были маленькими детишками, сидевшими на задней парте возле окна, в глубине класса. Это странное воспоминание вызвало у него дрожь и внезапно замкнуло уста. Их было двое в

том двенадцатом или одиннадцатом классе^[41] школы на улице Мишле, по соседству с Люксембургским садом. А тетушка Отти вдруг показалась ему точной копией бывшей маленькой подружки по играм. Сидя здесь, в ресторане, на зебрюггской дороге, он впал в безумие, иначе не скажешь. Рядом с ним вдруг очутилась девочка пяти или шести лет. Он наклонился и что-то шептал ей на ухо. Их голые коленки соприкасались.

Глава VIII

*Единственная радость,
которая меня пленяет, – это
та, что даровала мне
рождение.*

Дон Жуан из Севильи

– Да погодите же, Лоранс. Подумайте как следует, прежде чем принимать такое решение!

Эдуард был испуган. Он никак не мог понять пыл, с которым Лоранс обрушивала на него свои аргументы, и пребывал в полной растерянности. Лоранс объяснилась с мужем, пока Эдуард ездил в Лондон. Там он припрятывал некоторые из сокровищ в своем тайном убежище, в Килберне, на четвертом этаже обветшалого здания без водопровода, без газа и почти без жильцов. Он скрывал свои богатства под рубищем нищеты, как некогда вавилоняне доверяли их песку. Два дня назад он отвез тетку в Антверпен, на Корте Гастхюйсстраат, и тут же отправился самолетом обратно в Лондон.

Лоранс Гено решила развестись – как можно скорее. Она хотела, чтобы они с Эдуардом поженились. Детей у нее не было. Она прожила восемь лет с человеком, который не принес ей ни счастья, ни горя. И полагала, что Эдуард намерен жить с нею или жениться на ней – а как же иначе?! Он заказал официанту еще один кусок шарлотки с клубникой и стакан «Пойяка». У Лоранс потемнело лицо. Эдуард сдирал бумажную обертку с маленького спичечного коробка. Она протянула руку к подбородку Эдуарда и, повернув к себе его лицо, сказала:

– Вы меня не любите.

Эдуард высвободил подбородок и, взяв Лоранс за руки, крепко стиснул ей пальцы.

– Просто вы очень уж торопитесь.

Лоранс залилась краской. Сегодня на ней был костюм с серыми и перламутровыми пайетками – юбка и широкий жакет-кардиган. Она кричала шепотом:

– Что значит «тороплюсь»? Просто я тебя люблю. Я... я безумно тебя люблю. И не желаю ждать чего-то, чтобы любить тебя.

Ее глухой ломкий голос был почти беззвучен. Глаза, обычно золотисто-серые, гневно почернели.

– Да и я ничего не жду, чтобы любить тебя, – прошептал Эдуард.

– Нет, ты ждешь. И меня уговариваешь ждать, ждать... Ты ничего не понимаешь. Это все равно что ты попросил бы мое сердце перестать биться.

– Но я ни о чем не прошу.

– Нет, просишь.

– Ничего не понимаю.

Он проводил ее до дома. На прощанье поцеловал в лоб. И усиленно старался говорить на нейтральные темы.

Потом вернулся к себе в отель далеким круглым путем. Он и сам не мог уразуметь, чего хочет. Ему снова померещилось, что кто-то едет за ним на машине, и он начал петлять по Парижу, чтобы сбить с толку непрошеного соглядатая. Он очень устал. И замерз. До него вдруг дошло, что с самого начала их ужина – с той минуты, как Лоранс рассказала о своем признании Иву Гено, о бурных сценах с мужем, о решении уйти от него, – они почти все время говорили друг другу «вы». Он не знал, кто он.

Роза тыкала кулаком в бок Эдуарда, подкрепляя таким образом свои доводы, и он вспомнил этот жест – любимый жест Франчески в ее домике близ Импрунеты. И снова мысленно увидел Франческу в теннисной юбочке, вспотевшую, с огромными ножницами в руках, которыми она энергично выравнивала буксовые кусты вокруг террасы.

Лоранс затащила Эдуарда к своей подруге Розе ван Вейден; ее дом представлял собой длинное одноэтажное кирпичное здание возле Маркаде-Пуассонье, в 18-м округе; некогда здесь была фабрика. Они сидели за ужином. Роза хлопала его по спине, пыталась растрепать – впрочем, безуспешно – его короткие волосы, бросала салфетку в лицо, громко разглагольствовала. Она верила в Бога истово, как верили в XII веке. Она восклицала: «Ну шикарно!», как говорили в тридцатые годы. Жила она без мужа, с двумя детьми. Четырехлетняя Адриана гостила сейчас у своей прабабки в Херенвене, во Фризе, напротив бывшего Зюйдерзее.^[42] Дома остался только ее брат, тринадцатилетний Юлиан. Стоило ему открыть рот, как его голос срывался на бас. В его огромных глазах застыла робость, такая же неодолимая, как сменявшие ее временами страх или скука.

Эдуард был измотан, его знобило, глаза слезились от усталости. Он только что вернулся из Дели. В Индии он побывал впервые. Ему удалось раскрыть сикхскую сеть, организованную Маттео Фрире в Панипате и Лакнау. Незадолго до этого он взял на работу Джона Эдмунда Ленда. По пути в Индию он заехал в Дахран, где находились Франк и Джон Эдмунд. Потом отправился в Бомбей, Удайпур и в Аравальские горы. Сидя под вентилятором, болтавшимся под потолком лишь на тонком электрическом проводе, – так, что вертелись не только лопасти, но и сам он с сиплым гудением вращался вокруг своей оси, – несколько сикхов в мундирах цвета хаки, благоухавших удушливой смесью пота и кориандра, продавали ему игрушки всевозможного происхождения – сикхские, индийские, тибетские, кашмирские, монгольские, харапские^[43] и даже английские, викторианского периода. Он решил самолично заняться переправкой самых красивых вещей – девяти статуэток, найденных недавно при раскопках в Мадхья-Прадеше. В отель он возвращался на мототакси, под

дождем, держа на коленях свои приобретения, которые предварительно бережно упаковал и завернул в клеенчатый чехол, сорванный с коляски мотоцикла. Когда он вошел в гостиницу, с него ручьями текла вода, но все равно он был буквально пьян от счастья. Товар он собирался отсылать в Бельгию и Лондон четырьмя разными путями. Ему даже удалось договориться со службой археологического надзора Индии о выдаче сертификатов на несколько незарегистрированных вещей, для доказательства подлинности их происхождения, необходимых для сбыта на легальном рынке. Самые ценные предметы следовало вывозить через Карачи, а затем морем в Дахран, где их должен был забрать Джон Эдмунд. Эдуард, совершенно больной от карри и индийского пива, зябко дрожал и спал с открытыми глазами. Сейчас он мечтал лишь об одном лоте, менее прибыльном, но куда более милосердном: лечь и погresti себя под теплыми одеялами из кашмирской козьей шерсти. Он сидел и клевал носом. И вдруг вскрикнул:

– Ай!

Это Роза ван Вейден уже восьмой раз ткнула его кулаком в живот, сопроводив свой жест парочкой нидерландских ругательств. После чего зычно расхохоталась и выплеснула себе в бокал остатки вина из Прованса, покончив таким образом с третьей бутылкой. Лоранс выглядела счастливой и умиротворенной, она не спускала глаз с подруги. В те минуты, когда Эдуард стряхивал с себя дремоту и поднимал голову, его взгляд блуждал по просторному лофту,^[44] оклеенному старыми афишами футбольных матчей, автомобильных гонок и кетча. Роза сообщила Лоранс, что осенью в Париж приедут на целый сезон японские борцы сумо. Эдуард опять погрузился в дремоту.

Но тут же встрепенулся от хриплого громового баса Юлиана. Тот спросил у Лоранс, нельзя ли поставить пластинку. Лоранс кивнула. Она и впрямь выглядела счастливой. На ней было платье старинного покроя из тусора, серое, прямое, с глубоким квадратным вырезом на груди. Брюс Спрингстин завопил *Born in the USA*,^[45] и Эдуард испуганно вскинулся. Впрочем, заведи они сейчас Иоганна Себастьяна Баха, он ужаснулся бы ничуть не меньше. Он подумал о дружбе со своими тремя братьями, которую так и не смог сохранить, хотя вернее было бы назвать ее товариществом – грубоватым и одновременно стыдливым, без сердечных излияний и телячьих нежностей. Но эти отношения разъедала ревность. С самого отрочества – с той минуты, как их голоса начали срываться на бас, он и его братья наверняка не раз впадали во взаимную ненависть, но и она в конечном счете вылилась в полнейшее безразличие, и теперь они обменивались смущенным рукопожатием паз в пять-шесть лет, только и всего.

Комната наполнилась завываниями. Роза и Юлиан размахивали руками, дергали плечами. Эдуард встал и подошел к маленькому письменному столу, возле которого на диванчике валялись плащи, сброшенные им и Лоранс. На столе стоял телефон. Он позвонил Пьеру Моренторфу. Пьер оказался на месте. Он был всерьез озабочен проектом перепродажи лондонского магазина.

Откровенно говоря, дела шли вполне успешно лишь в трех местах – Париже, Риме и Брюсселе. Нужно было действовать без промедления. Эдуард рассказал Пьеру о своем триумфе в Панипате, объяснил, какой подводный камень представляет собой Лондон.

– Ну что ж, раз война объявлена, месье, может, нам следует закупать оловянных солдатиков для обороны?

– Ох, Пьер, не шутите так!

– Месье Мишель Шолье предлагает за два тюльпана, плюс процент с обмена, целую армию таких.

– Нет и нет! Это слишком старый рынок, старый и бесперспективный. Я не желаю ни олова, ни свинца, ни алюминия. До сих пор мы делали исключение только для солдатиков из папье-маше, из древесных опилок и медонской жести.

– Месье, бывают еще очень красивые пластмассовые. А вы почему-то всегда ими пренебрегали.

– Пластмассовые?! Да ни за что на свете! Игрушка, сделанная после Второй мировой войны, никогда не пройдет через мои руки!

– Месье отворачивается от своего времени.

– Вы просто болван, Пьер. И прекратите величать меня «месье».

– Нет, месье. Я буду называть вас так, как мне хочется вас называть.

– Меня зовут Эдуард. Моя фамилия Фурфоз. И никакой я вам не «месье». Я родился в 1941 году...

– ...когда американские солдатики из пластмассы побили немецкую армию из свинца и алюминия, а было это в 1945-м.

– Нет. Это было в 1946-м. Звезднополосатый солдат выиграл войну в 1946-м!

– Месье, конечно, считает, что лучше иметь алюминиевые пороки, нежели пластмассовые добродетели.

– Вовсе нет. Я считаю, что нужно иметь пластмассовые пороки, пластмассовые добродетели и свинцовые или золотые желания. И вообще, мне холодно. И я смертельно устал. Отныне будьте любезны обращаться ко мне на «ты».

Положив трубку, он сел, колеблясь между необходимостью вернуться к столу и желанием сбежать. Теперь он будет обходить за километр эту Розу ван Вейден. Она голландка. В ней нет ничего бельгийского. Лоранс не чувствует эти нюансы, разницу между этими двумя мирами. Роза ненавидела Ива Гено и толкала Лоранс на развод. Сама она успела развестись с двумя мужьями. У нее была брутальная внешность и вызывающе грубые интонации, которые путали Эдуарда еще больше, чем ее резкие манеры. Ее тело с могучими плечами, излучавшее здоровую энергию, переполненное ненасытной жадой жизни, способное на любые неожиданные выходки, находилось в постоянном лихорадочном движении. Бракоразводные процессы, планы летних каникул – в июне в Нормандии, а затем, в августе, на юге, – туалеты Лоранс, которую она осыпала ласками и толкала на откровенность, – все приводило ее в возбуждение. Это была прихлебательница Лоранс, она донашивала ее платье,

служила ей и адвокатом, и гувернанткой, и придворным шутком. Она ни минуты не сидела на месте, кипела завистью, пила сверх меры, распевала во все горло, швыряла туфли через всю огромную залу своего лофта на улице Пуассонье.

Эдуард вернулся к столу с плащом в руках. Сказал, что ему, к величайшему сожалению, пора уходить. Роза была уже пьяна вдрызг. Она взялась откупоривать четвертую бутылку прованского вина. Придвинувшись к Эдуарду и тыча ему в грудь и живот донышком бутылки, она объявила, что и сама намерена заняться коллекционированием игрушек. Потом соскользнула на пол, села в позу «лотос» и залилась слезами. Юлиан ван Вейден сгорал от стыда, глядя на всхлипывающую мать. Он покраснел до корней волос. Остановил пластинку с причудливыми песнопениями Брюса Спрингстина, сунул ее под мышку, обошел стол, прощаясь за руку с гостями, и удалился в свою комнату, где тут же загремел телевизор.

Ни Лоранс, ни Эдуард никак не могли утешить рыдавшую Розу ван Вейден, которая по-прежнему сидела в позе «лотос» у их ног. Одурманенная прованским вином, Роза вдруг решила поведать им историю своего детства понидерландски. Каковой рассказ постепенно вылился в подробнейшее изложение мультфильма Вилли Вандерстеена «Suske en Wiske», позже вышедшего на французском под названием «Боб и Бобетта, Сидони и Ламбик».

Эдуард знаками умолял Лоранс поскорее сбежать отсюда. Но Лоранс не желала уходить, она тоже расплакалась и села на пол рядом с подружкой в позе «лотос»; обе женщины принялись подсчитывать, сколько подгузников было использовано в раннем детстве Адрианы (теперь уже четырехлетней). Установив цифру 2240, они в ужасе разохались и начали вычислять стоимость всех этих подгузников. В результате Роза разрыдалась еще пуще, вопя, что все эти траты разорили ее вконец. Попутно она осыпала ругательствами Эдуарда, который спал стоя, держась за свой плащ, как за лестничные перила или поручень катера в антверпенском порту, идущего против ветра из гавани вверх по течению Эско. Она тыкала пальцем в Эдуарда, указывая на него Лоранс и проклиная на все лады:

– Это его игрушки виноваты... Игрушки этого мерзавца!..

И Роза ван Вейден рассказала, как она играла с машинками в Херенвене, на берегу озера Эйсель, когда умирала ее мать. Ей было тогда не четыре года, как Адриане, но пять, уточнила она, торжественно воздев кверху палец. Ее бабушка с материнской стороны – та самая, у которой проводила каникулы Адриана, – схватила Розу за плечи и с помощью няньки кое-как дотащила до комнаты умирающей. Роза сжимала в правом кулаке игрушечный «ситроен». Женщины подталкивали ее к постели, но она билась и изворачивалась у них в руках. Тогда они приподняли ее так, что она не доставала ногами до пола и могла только брыкаться. «Поцелуй свою маму. Поцелуй ее!» – говорили они понидерландски, и девочка, сотрясаясь от рыданий, коснулась губками мертвенно-бледной, скользкой от пота щеки матери. Но это неожиданное, болезненное ощущение чего-то податливо-мягкого и холодного привело в транс маленькое сопротивляющееся тельце. Она упала навзничь, ударившись головой об угол ночного столика и выронила свой «ситроен». Едва она приподнялась, встав

голыми коленками на паркет, как получила жестокую затрещину от бабки, оравшей: «И ты смеешь играть с машинками, когда мать на смертном одре! Поцелуй ее сейчас же, в последний раз!»

Роза ван Вейден так и не узнала, что случилось дальше. Может, она и в самом деле поцеловала в щеку труп матери. А может, потеряла сознание. Впоследствии Роза участвовала в национальных соревнованиях по плаванию и прыжкам в высоту, дважды поднималась на пьедестал почета. Эдуард никак не мог уловить связь между этими спортивными подвигами и смертным одром матери. Лоранс, сидевшая на полу, положила голову Розы к себе на колени, прижала ее к животу, к платью из серого тусора. Роза легла, свернувшись калачиком.

Эдуард дослушал захватывающую историю о машинках и смерти, незаметно пятясь и натягивая плащ; потом стремительно вышел.

«Мама, зачем ты придумала себе это путешествие к смерти!» Среди ночи Лоранс внезапно проснулась. Приподнявшись на локте, она вспоминала больно ранивший ее сон. Накануне она слишком много выпила. Она взгляделась в светящийся циферблат будильника. Два часа ночи. Лоранс села на постели. И подумала о матери – безупречно подкрашенной, тщательно одетой и молча сидевшей на берегу Женевского озера. Сколько Лоранс помнила мать, та всегда была склонна к депрессиям, преувеличенно сентиментальна, очаровательна, плаксива, любила читать мораль, чего особенно не выносил Луи Шемен, восторгалась всем подряд и постоянно глотала какие-то лекарства. И тут ей вспомнился сон, от которого она проснулась. Там был Эдвард со шлемом на голове. В этом сне его звали именно Эдвардом. Ей хотелось называть его Эдвардом – так, как произносила это имя Роза. В самом конце сна он почему-то остался почти голым, но все еще в шлеме и явно желал ее. Он с трудом распутывал грубую рыбачью сеть, которая сковывала его движения, не позволяя приблизиться к ней. Но как только Эдвард склонился над нею, его дыхание обожгло ее лицо, и все тело вспыхнуло огнем от его близости. Лоранс осторожно приподняла простыню, взглянула на тело спавшего рядом мужа. Он был гораздо красивее Эдварда. Но она-то любила Эдуарда, вернее, Эдварда, поскольку Роза именно так произносила это имя, поскольку тот сон повелевал ей называть его именно так.

Лоранс всегда считала, что ей не нравится нагота. Живя с Ивом, она не очень любила показываться ему обнаженной. В наготе Ива было что-то торжествующее, хвастливое. Она же никогда не спала голой: любой предлог – боязнь замерзнуть, начинающийся грипп – мешал ей уснуть, и она тотчас натягивала ночную сорочку. А вот с Эдвардом ей почему-то начала нравиться ее нагота, хотя по ночам, когда злая бессонница не давала ей сомкнуть глаза и она вновь погружалась в свое безнадежное одиночество, даже если он лежал рядом, ей случалось что-нибудь накидывать на себя. Она одевалась не потому, что зябла. Она одевалась потому, что он спал. То есть покидал ее. То есть предпочитал ей сон – или сновидение.

Ее мучила жажда. Слишком много она выпила накануне. Она встала с постели, чтобы напиться. Но, заплутавшись в темноте, угодила в гостиную, наткнулась на громоздкий Bosendorfer и стала ошупью пробираться в кухню. Ей хотелось, чтобы кто-нибудь убаюкал ее. Хотелось уткнуться лицом в теплый кошачий живот. Хотелось иметь ребенка. Она сидела в кухне, на черном табурете, как всегда, напряженно выпрямившись и держа в руке стакан с холодным молоком. И вдруг у нее из глаз брызнули слезы.

Обрывки сна, где Эдвард выпутывался из рыбацкой сети на берегу озера, никак не выходили у нее из головы. Нет, то был не Эдвард, то был маленький Уго, он нес ее на руках, его одежда вымокла, лицо неузнаваемо изуродовала грязь не то со дна канавы, не то из глубин Женевского озера. Она дрожала в его руках. Он прижимал ее к себе, и она ощущала холод его мокрого живота. Он бежал, крепко обхватив ее руками. Да, это был Уго, он бежал, неся ее на руках. Его живот был обнажен. Он весь был обнажен. Это был голый мокрый младенец.

Она принесла джинсы и положила их рядом с собой на кухонный стол, возле стакана молока. Встав, она натянула их, пошла в гостиную, в яростном порыве села за рояль, яростно заиграла баркароты, вальсы, экспромты. Она сидела прямо, в своей обычной, напряженной позе, за концертным роялем, который служил ей уже восемь лет. Зато руки ее отличались изумительной гибкостью. Хоть они-то, по крайней мере, беспрекословно повиновались ей. Она играла легато. Знала, что все связывает этими легато. Ее педагоги возмущались подобной манерой исполнения. Зато она никогда не злоупотребляла правой, «громкой» педалью. Играла великолепно, с безупречным мастерством и чувством. Просто в ее игре никогда не оставалось ни единой отдельной, свободной ноты для нее самой. Ни одной лазейки, где звук мог бы уединиться, затеряться или, наоборот, возникнуть. Музыка звучала восхитительно, но в этом вечном, неразрывном легато крылся какой-то надрыв. Эдуард однажды заметил Лоранс, что, возможно, легато передалось самой ее жизни, самым обыденным поступкам, вплоть до манеры есть, вплоть до манеры любить. Она все соединяла, все связывала, все фиксировала, все стягивала воедино, скручивала в тугой узел. И – душила.

Внезапно ее руки замерли над клавиатурой. Она встала. Пошла в гостиную, обставленную в стиле «директория». Отперла маленький вычурный секретер с зеленой доской. Вынула пять пачек писем, перетянутых широкими белыми резинками.

Отец никогда ей не писал. Она знала только, как выглядит его подпись. Она раскрыла самую тонкую пачку – там были открытки, которые мать присылала ей из лечебниц или санаториев, когда Лоранс была маленькой. Она просмотрела две-три из них и сосредоточилась на черно-белых фотографиях, кое-где раскрашенных ее детской рукой. Потом сложила открытки в пачку.

И взялась за четыре других, гораздо более толстых, – это были письма от брата, написанные за все двадцать два года, что они прожили бок о бок; перечитав их, она снова ощутила острую боль потери. Однако по мере того, как она переворачивала белые странички, похожие на школьные сочинения, ей

начинало казаться, что душа Уго ощущается в этих обращенных к ней словах все слабее и слабее.

Лоранс пыталась мысленно сравнить три тела, неразличимо слившихся в ее сне, – тела Уго, младенца и Эдварда. Тело Ива уже перестало являться ей в снах. Она расценила это исчезновение как знак, коему следовало починиться. Но отчего же она почувствовала в своем сне, по выходе из своего сна, необходимость безотлагательно переименовать Эдуарда? Почему отдаляла от себя и его тоже – этим необычным, грубоватым произношением его имени? Зачем ей непременно хотелось называть его так, как называла Роза?

– Твой друг – он кто?

Этот вопрос задала ей Роза вчера перед ужином, до того как он пришел, вернувшись из Дели, измученный четырнадцатью часами полета с несколькими пересадками. Лоранс ответила зло и беспощадно. Теперь она раскаивалась в этом.

– Это гений Грегор Мендель перед горошинкой.^[46]

С площади Гран-Саблон позвонили с сообщением, что Маттео Фрире женился на Антонелле. В офисе никто не знал, где находится Эдуард. Пьер Моренторф думал, что он в Нью-Йорке, а он был в Вене. Он только что вышел из музея на Варингерштрассе. Его терзал страх, терзала ненависть к Маттео Фрире; дрожа от лихорадки, он зябко кутался в свои шерстяные одеяния. Недавно он побывал в Шамборе. Строительные работы уже шли к концу. Осталось только установить паровой котел для отопления. Из Брюсселя приехал Франк и оказал ему большую помощь, занявшись внутренним дизайном «Аннетьера». И Рената дважды прилетала из Рима, чтобы внести свою лепту в украшение дома. Это воплощение в реальность мечты о волшебном жилище приводило его в экстаз. У него вдруг возникла потрясающая идея: «Что если начать жить по своему собственному вкусу? Бросить эти работы для тетушки Отти и для всего остального мира. Купить в Париже дом – только для себя. Я хочу, чтобы мне было тепло. Хочу иметь жилище, где мне будет тепло. Я так ненавижу горе».

Дома Вены, Варингерштрассе, серое венское небо – все дышало печалью. Он торопливо шел по улице. Она была безлюдна. Он прибавил шаг. Ему хотелось как можно скорее дозвониться на авеню Монтень и сказать Лоранс, что они встретятся сегодня же вечером в двухэтажной квартире Розы ван Вейден, по адресу, который она ему указала.

Он побежал, борясь со встречным ветром и твердя себе-. «Мне нужен плед, чтобы защититься от тени, которая меня подгоняет!» Но в то же время его даже на бегу не покидала уверенность, что неведомое существо, которое идет за ним по пятам, все равно когда-нибудь настигнет его, как бы он ни мчался. И нужно было остаться свободным в ожидании этой грядущей встречи, этого неизъяснимого пришествия. Нужно было остаться свободным и одиноким в предвидении чего-то подобного.

Он вошел в здание аэропорта вымокший до нитки. Дождь лил как из ведра. Эдуард прилетел из Вены. По дороге он размышлял об отоплении шамборского домика эпохи Наполеона III с примесью ренессанса; там следовало внимательно проследить за установкой котла. Он не ожидал, что работы будут идти так споро. Все делалось по плану и в срок. Что-то близкое к чуду творилось в этом заповеднике – приюте хищных птиц, кабанов, корсиканских муфлонов и усопших королей. Его мысли обратились к тетушке Отти.

– Эдвард!

Эдуард поднял глаза. За барьером, в восьмидесяти сантиметрах от него, стояла, к великому его изумлению, та, что произнесла его имя на особый, фламандский манер, – стояла Лоранс. Он обнял ее, борясь с накатившей яростью. Он ненавидел, когда его встречали, или по крайней мере ненавидел, когда его встречали там, где он не ожидал никаких встреч. При виде всех этих судорожно обнимающихся существ ему всегда безумно хотелось отсечь им руки одним взмахом абордажного топора, с победным кличем: «Антверпен! Антверпен!» Тем не менее Лоранс была сегодня особенно хороша собой и больше, чем когда-либо, выглядела стройной, высокой и прямой. На ней был костюм с черными и голубыми пайетками и просторный бледно-желтый жакет, очевидно, заменявший плащ. Он подумал: я люблю манекенщицу, только у этой манекенщицы коротко острижены ногти. И верно: эти ногти, эти сильные округлые пальцы пианистки, которыми она непрерывно играла, когда сидела в тишине, словно исполняя по невидимым нотам музыку, недоступную его слуху, никак не вязались с ее телом, с ее обликом. Подойдя к белому «мерседесу», он попросил разрешения сесть за руль. Так ему хотя бы придется меньше говорить. Он злился, что не может поехать прямо в офис, на улицу Сольферино.

Он вел «мерседес», грубо выкручивая руль; Лоранс повелительно и точно направляла его к дому Розы ван Вейден, и эти команды несказанно раздражали его. Наконец они свернули на узкую старую, залитую дождем улочку в 15-м округе. Он проехал мимо липы.

– Это здесь! – крикнула Лоранс, показав на узкий темный дом. – Вон там, на самом верху!

На скате серой цинковой крыши, блестящей под дождем, виднелись мансарда в одно окно и старая железная лебедка со свисавшим вниз канатом.

Они отворили тяжелую красную дверь, и его охватил ужас при виде роскошной узкой лестницы из черного мрамора, мраморных стен, розовых перил.

Много дней подряд они поднимались по этой черной мраморной лестнице в холостяцкую квартирку с мансардой, принадлежавшую Розе ван Вейден, и любили друг друга.

В самой верхней комнате приходилось вставать на стул, чтобы поднять оконную фрамугу; отсюда, если вытянуть шею, можно было полюбоваться светлым небосводом и городом. Ежедневно, когда Эдуард бывал в Париже и работал в своем офисе, он выезжал в четыре часа на набережную. Он любил этот послеполуденный свет, витавший над рекой, над кронами Тюильрийского сада, над крышами Лувра. Чутье более тусклый, но и более нежный свет.

Чуть более бледное небо. Он спешил насладиться отблесками этого света в спальне Розиной двухэтажной квартирки, хотя тот ни разу не показался ему таким же идеально чистым вокруг старой лебедки на серой цинковой крыше.

Она любила цветы, и он дарил их ей – букетики пурпурной или желтой горечавки, синие колокольчики, лиловатые или светло-голубые «райские птички». Однажды, желая хоть как-то приукрасить спартанскую обстановку этой «модерновой» квартиры, он принес старинную вещицу – букет из севрского фарфора; на пестрых цветочных лепестках сидели, как живые, бабочки и прочие насекомые. Он покупал и фрукты, но покупал скорее ради их аромата, нежели из-за красок. Он пытался удержать извечный вихрь, окружавший эту женщину, уловить этот запах другого тела, другого мира. Отстранив голову Эдуарда, она всматривалась в его глаза – куда-то вглубь, дальше зрачков – и говорила: как я люблю их! Он впивал дыхание ее уст, и она растворялась в его глазах, в том, чего не видели его глаза, в желании обладать ею, которое она жадно искала в его взгляде. Вечерний свет медленно обволакивал и странным образом округлял ее, делая щеки более пухлыми, груди более пышными, губы более жаркими.

Глава IX

*Небо, человек, гора – всего
лишь жалкие личинки,
искажающие образ Бога.
Мартин Лютер^[47]*

– Нельзя, месье!

Старая корпулентная дама преградила ему вход в примерочную. Она носила шиньон в стиле «Невообразимых» эпохи Директории, который напомнил ему Эмпайр Стейт Билдинг, венчавший пухлое личико тетушки Отти. На шее у дамы сверкало рубиновое ожерелье: казалось, она только что сошла с эшафота и едва успела водворить на место отрубленную голову.

– Но я пришел с мадам Гено.

– Пойду спрошу мадам. А пока что не входите.

Эдуард спросил, нет ли тут другого помещения, где он мог бы подождать Лоранс. Старая монументальная дама ткнула пальцем в молоденькую продавщицу.

– Мадемуазель Флоранс! Проводите месье в салон номер четыре.

Он покосился на юную Флоранс. Машинально перебрал про себя буквы, составляющие ее имя, как будто в нем таилась необъяснимая манящая головоломка. И отсек эти звуки от красоты Италии, от воспоминания о Франческе, о залитой солнцем террасе на дороге, ведущей в Сиену. Внезапно он понял, что место, где он сейчас находится, более чем какое-либо другое располагает к воспоминаниям о бесконечных примерках Франчески, разве что платья были не такие роскошные, как туалеты Лоранс. Но сами переодевания, казалось, очень скоро утрачивали всякий смысл. Франческа тоже была красива.

Лоранс оказалась рядом, он и не заметил, как она подошла, и приник губами к ее губам. Она отстранила его. Он ощутил ее аромат. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, словно ища приюта в его взгляде. Сказала:

– Едем ко мне.

– Нет.

В ее глазах блеснули слезы.

– Все уже кончено. Ив уехал из дома. Во вторник, в половине седьмого, я познакомлю тебя с отцом у меня на квартире. Едем ко мне.

– Нет. Сначала поужинаем в ресторане. Я голоден.

– Поехали ко мне. Я приготовлю поесть.

Наклонившись к Лоранс, он шепнул ей на ухо, что не выносит, когда женщина занимается стряпней. Он любит рестораны. Если она хочет поужинать, пусть едет с ним. Они вышли. Она согласилась на ресторан. Он спросил, доводилось ли ей когда-нибудь самой готовить пищу. Она призналась, что нет. Он рассказал, как одна из его сестер – самая любимая, Жозефина, на пять лет младше его, – в одно прекрасное утро решила начать стряпать. Она была первой женщиной из восьми поколений семейства Фурфозов, дерзнувшей подойти к дровяной или газовой плите. При всей нежной любви к сестре он должен констатировать, что результат оказался плачевным. Он высказал предположение, что в стряпне таится мужское начало. Возможно, это одна из тех редких человеческих способностей, если не единственная, что недоступны женщинам. Лоранс стало стыдно при этих словах.

Он рассмотрел ее квартиру, которую видел лишь однажды, мельком, в ту ночь, когда они еще стеснялись друг друга, когда ими владело первое, неутоленное желание, когда из окон сочился неверный лунный свет. Огромное мрачное помещение. Гостиная эпохи Луи-Филиппа с обитыми пунцовым шелком диванчиками-канаве вдоль всех четырех стен. Голый паркет. Чопорные ножные скамеечки перед креслами с фиолетовыми парчовыми спинками. Портреты десяти или пятнадцати бородатых господ – каждый в черном сюртуке по моде XIX века, в полный рост, с часовой цепочкой поперек живота. Кое-где мешок цемента – напоминание об источнике благосостояния рода.

Во вторник Эдуард пришел с опозданием на четверть часа. Было уже почти семь вечера. Лоранс встретила его торопливым поцелуем и, взяв за рукав, повела в гостиную Луи-Филиппа.

В центре комнаты между четырьмя пунцовыми канаве стоял худощавый пожилой мужчина.

– Это папа, – представила Лоранс.

– Я знаю вашего отца, – сказал Луи Шемен.

– Счастлив слышать это, – ответил Эдуард.

– И не только по имени. Я часто встречался с ним. Мы даже виделись в Канзасе.

– Мне это удавалось гораздо реже, чем вам. Я очень рад, что вам так повезло.

– Отчего вы не работаете в фирмах отца?

– У меня есть три брата. А я застрял во дворе, когда перемена уже кончилась. Не услышал звонка на урок.

Луи Шемен вздернул брови и обвел его презрительным взглядом. Потом вдруг устало ссутулился и сказал, понизив голос:

– Вы должны подумать об этом. Сейчас как раз подходящий момент.

– Видите ли, человек либо слышит звонок на урок, либо не слышит. Готов признать, что это сравнение может показаться вам идиотским, но оно ясно отражает мой образ жизни. Я люблю вашу дочь. Я достаточно богат и без помощи фирм моего отца. Я владею четырьмя замечательными антикварными магазинами. У меня прочное положение и более чем интересная работа. Деньги...

– В наши дни люди не бывают богаты. Нет такого состояния – быть или не быть богачом. Можно только быть или не быть глупцом.

– Под таким углом зрения выбор мне представляется затруднительным. Разрешите задать вам вопрос: почему вы стремитесь оскорбить меня?

– Да потому, что ваша позиция не выдерживает никакой критики. Уж не прикажете ли мне выбирать вместо вас? Вы и в самом деле глупец.

Эдуард побледнел, его лицо исказилось; он бросил взгляд на Лоранс. Она, как и отец, стояла; ее поза была напряженной, рот приоткрыт. Руки теребили высокий узел волос. Лицо Эдуарда совсем побелело. Лоранс застыла с поднятыми руками. Эдуард вышел.

Захлебываясь рыданиями, Лоранс умоляла отца смягчиться. Он крепко обнял ее. Наконец они оба уселись на широкое канапе эпохи Луи-Филиппа. Он гладил ее по голове.

– Ты правильно сделала, что ушла от Ива. Но если бы этот Фурфоз был истинным Фурфозом...

– Нет, если бы это был Уго...

Он бросил на нее разъяренный взгляд. Потом Луи Шемен раздраженно оглядел стены, увешанные портретами людей в полный рост, которые явно не были его предками. И, помолчав, сказал:

– Может быть.

– Ты же сам ни в чем не уверен! Представь себе, что Уго не захотел бы участвовать в твоих делах. Что он не любил бы деньги. Что он ненавидел бы твой цемент. Что он презирал бы грубость и то, что ты называешь властью...

– Я порицаю твоего Эдуарда не за то, что он не хочет заниматься бизнесом. А за то, что он любит «звонки на перемену». За то, что любит игрушки. Кстати, ты еще не думала о продаже тех кошмарных кельтских игрушек из дома в Солони?

– Разумеется, нет.

– Ты связывалась с господином Фрире?

– Разумеется, нет.

– Лоранс, никогда не нужно смешивать любовь с удовольствиями, и крайне редко можно смешивать любовь с делами. Ты, кажется, через десять дней едешь в Солонь?

– Разумеется, нет.

– Этот японец – вот поистине деловой человек. Он любит не детство, а деньги, которые приносит детство. Он – полная противоположность твоему Эдуарду Фурфозу. У твоего возлюбленного еще молоко на губах не обсохло, он как был, так и остался младенчиком.

Лоранс все еще всхлипывала.

– Боже мой, папа, зачем ты вмешался?

– Да, я вмешался не в свое дело. Но ты заслуживаешь лучшего. Он тебя не любит.

Эдуард летел над океаном. Стояли последние дни июня. Он уехал, так и не сказав ей ни слова. Лоранс была потрясена их встречей с отцом, оставившей у нее горький, болезненный осадок. Это вылилось в легкую депрессию, упорно не отпускаящую ее. Эдуард наконец отправился в Нью-Йорк, заключил сделку в Нью-Йорке. Вечером в день прибытия он стоял у окна своего номера, прихлебывая пиво Michelob и глядя на голубоватые поезда метро, снующие по Бруклинскому мосту; его решение было принято. Он позвонил Франку, Джону, Соланж, Соффе, Ренате, Марио, Алаку. Он позвонил Пьеру.

– Атакуем Нью-Йорк. Атакуем Восток. Лондон ликвидируем полностью.

– Месье, это безумие.

– Да, безумие, но оно будет длиться несколько месяцев, потому что я так решил. Если боитесь, можете уходить.

– Вы несправедливы, месье.

– Да, я несправедлив.

– Но я, разумеется, останусь с вами, месье, даже несмотря на ваше безумие.

– Я вам очень благодарен, Пьер. Не пытайтесь связаться со мной в ближайшие десять дней. Место, куда я нанесу удар, должно маскировать главную бомбу, которую я взорву в семи тысячах километров оттуда. Ни под каким видом не пытайтесь связаться со мной, Пьер, и, умоляю, не зовите меня больше «месье»!

Фландрский лев черен. Эдуард поехал навестить отца. Канзас-Сити привел его в ужас. Он всегда боялся национализма, «фламандского блока», сурового кальвинизма своей матери, зато отцовская холодность была настолько неизменной, что казалась почти приветливой. Вилфрид Фурфоз родился в Ойгеме, жил между Канзас-Сити, Женевой и Антверпеном, становился поочередно финансистом, промышленником, экспортером крабов и сои, фабрикантом steelcord – арматуры для радиальных колесных дисков – и профессором Канзасского университета.

Эдуард Фурфоз попросил отца о займе и, едва получив согласие, сбежал из Канзас-Сити. В самолете он поймал себя на том, что вертит в руках голубенькую заколку, найденную в мусоре за Чивитавеккьей. Он положил ее перед собой на столик. Отец совсем не постарел. Ни одной морщины. Ни одного движения бровью при разговоре. Никаких поцелуев. Никакой теплоты в рукопожатии. Все тот же бесстрастный человек, что водил его в детстве на прогулки в поля и луга, но никогда не брал за руку. Эдуард сжал в кулаке

пластмассовую заколку в виде лягушки. Мальчишкой он ходил удить лягушек. Отец указывал ему кончиком трости, куда нужно забрасывать удочку. Они шагали по берегам *vennes* и *meers* – небольших заболоченных прудиков, разбросанных по равнинам. Он и его братья слонялись там целыми часами. Иногда он грезил наяву, сидя на плотине у пруда и забыв о поплавке, давным-давно нырнувшем в воду.

Он вернулся в Нью-Йорк, в это скопище каменных вигвамов, мириад чаек и такого же количества телефонов. Позвонил Пьеру.

– Я в Риме, – сообщил он ему.

В Лондоне Маттео Фрире переманил к себе Перри. Ярость Эдуарда достигла предела. Ярость Маттео Фрире, лишившегося Андре Алака и Соланж де Мирмир, не уступала его собственной. Пьер Моренторф получил букет из пяти полосатых черно-коричневых тюльпанов, гладиолуса, розмарина, цветков осины и одной хризантемы; Эдуард по телефону перевел на человеческий язык этот хаотичный кошмар. Он отказался от сделки. И отказался платить.

– А теперь, Пьер, можете снова переключаться на Лондон. Я вешаю трубку. Я должен повесить трубку.

– Умоляю вас, подождите, месье. Я только расскажу о двух бесподобных вещицах. Вы будете довольны. Мне удалось наконец разыскать плюшевого медведя времен Рузвельта, 1903 года.

Эдуард, едва не проговорившись, что звонит из Нью-Йорка, прошептал:

– Боже мой... Вы уверены в дате?

– Абсолютно уверен. Подлинный *Teddy Bear* 1903 года. Эксперт заявил однозначно: июль-август 1903-го. Он исследовал пыльцу и пятно ежевичного сока на плюше.

– Ежевичное пятно?

– Да.

– Покупайте за любую цену.

– Уже сделано, месье. И есть еще очаровательная кукла 1917 года...

– Нет! Никаких кукол, Пьер. Это слишком жестоко...

– ...в платьице от Марген-Лакруа по моде 1917 года, дивного зеленого цвета...

– Я сказал нет, Пьер.

– Вы только послушайте, месье! Головка из севрского фарфора, сплошное очарование! И такой веселый взгляд... Просто плакать хочется от умиления. Глазки, ямочки на щеках... По-настоящему счастливая женщина.

– Ладно, так и быть, берите. Но только на подставное лицо. Чтобы духа вашего там не было.

На авеню Монтень тоже не знали местонахождения Эдварда. Когда Лоранс догадалась, что он уехал в Нью-Йорк, он уже был в Антверпене. Стоял на самой дальней городской пристани. Эско устремлялась в море, исчезала в его пучине. Это длилось несколько часов. Потом Эско возникала на свет божий в Грейвсенде, под именем Темзы, и заканчивала свой бег в Лондоне.

Он приехал в Лондон. Укрылся в своем лондонском убежище в Килберне. Пролетел над страной индейцев-алгонкинов, пролетел над патагонцами, пролетел над самоедами. Ему чудилось, будто за три дня он облетел весь Земной шар, и это внушило ему ощущение превосходства с легким оттенком растерянности.

В самолетах он погружался в чтение «Интернешнл превью» с его убийственно нудными описаниями и в каталоги продаж лондонского «Сотбиса», Монако, Женевы, Нью-Йорка, Гонконга, Амстердама. Ему было холодно. Он погружался в изучение счетов строительных работ в Шамборе. В начале июля он свозил тетку осмотреть домик в стиле Наполеона III. Она, как и сам Эдуард, тут же влюбилась в него. Только не поняла, почему он велел засыпать колодец в саду. Удивилась горячности, с которой он поведал ей о своей ненависти к цементному кубу, ко всему, что сделано из цемента. Возразила, что лично она не питает к цементу никаких враждебных чувств. С восхищением разглядывала одичавший сад, травы в человеческий рост, близкий лес Сен-Дие.

Для этой поездки она нарядилась в перкалевую розово-зеленую блузку, зеленые фосфоресцирующие туфли, черную креповую юбку и очки с желтыми стеклами в голубой оправе.

– Это великолепно, малыш. Просто сплошной музей.

Эдуард залился счастливым румянцем. Он зачарованно смотрел на кошмарные светящиеся туфли тетки. Но к восхищению в его взгляде примешивалась и зависть.

– Он тебе вправду нравится, этот дом?

– Вправду, очень нравится, малыш. Он такой теплый, такой новенький. Новенький – и при этом буквально дышит стариной. Ты даже раздобыл эти низкие кресла с моей любимой бахромой. Знаешь, почему я люблю бахрому?

– Нет.

– Я люблю бахрому потому, что одна маленькая девочка, с которой я близко знакома и которая страшно переживала из-за того, что ее зовут Оттилия, все свое детство провела за расплетанием той самой бахромы. И еще я люблю ее за то, что кошкам нравится совать в нее свои мордочки.

Но больше всего ее очаровала ванная комната: круглая медная ванна, шезлонг с атласной фиолетовой обивкой, медные, трогательно безобразные бра в вычурном стиле Виолле-ле-Дюка.

Зайдя в спальню, тетушка Отти сперва нерешительно помедлила перед монументальной кроватью черного дерева с обнаженными нимфами, исполнявшими танец покрывал. Но когда Эдуард напомнил, что она сама высказала желание спать именно на таком ложе, сразу сдалась. Одобрив пару кресел у камина, латунные подставки для дров на бронзовых ножках, розовый диванчик, лампу-торшер возле секретера, где выстроились рядком томики в старинных переплетах. Конечно, не романы – ее племянник Эдуард знал толк в жизни, – а только научные труды о хищных птицах, поваренные книги, молитвенники и бухгалтерские тетради, а над ними – шесть маленьких ящичков, расположенных пирамидой.

В столовой полузадернутые плюшевые портьеры, темно-красная угольная печка с желтыми медными ножками, обутыми в башмачки из заячьего меха, старинный стол красного дерева – четыре его ножки были обтянуты лисьими шкурками – и бордовый ковер. Одна из дверей вела из столовой в спальню.

Вот тогда-то, взглянув через полуоткрытую дверь на кровать, тетушка Отти хлопнула племянника по плечу и восторженно зааплодировала.

– Да ведь это подлинный Восток времен Британской империи! Вершина искусства! Твоя викторианская спальня – настоящий шедевр, малыш, ты был совершенно прав, эти семь обнаженных нимф и в самом деле на своем месте!

Пообедав в ресторанчике перед замком, они вышли побродить по заповеднику. Прогулялись в лесочке вдоль берега Коссона, в сторону Юиссо и Блуа, дошли до Фазаньего пруда. Встали на колени, чтобы разглядеть как следует гнездо коршуна, сплетенное из тонких веточек, камышинок, вереска и устланное мхом. Тетушка Отти нежно ощупывала гнездо. Его цвета – темно-красный, желтый, голубовато-зеленый, коричневый – сливались в блеклую, грязноватую, неяркую пестрядь. Эдуард так и не осмелился признаться тетке, что не понимает ее пылкой любви к птицам.

На следующий день, когда они вышли из дома еще до рассвета и гуляли вблизи Тибодьера, к востоку от замка, она показала ему сарыча, который взмывал в небо с зайчиком в когтях. Поднявшись на цыпочки, она продекламировала племяннику на ухо стихи Гезелле:^[48]

Mijn beminde grijslawerke...

(Жаворонок серый, ты, который в небе...)

Он улыбнулся. На обратном пути она снова велела ему задрать голову: большая скопа, парившая метрах в тридцати над рекой, вдруг сложила крылья, камнем упала вниз, на невидимую человеческому глазу добычу, и скрылась под водой. Миг спустя она вынырнула обратно, держа в стальных когтях бьющуюся рыбину, похожую на щуку; рыбье тело, с которого струилась вода, сверкало в утреннем свете.

Тетушка Отти подвела Эдуарда к кусту и протянула ему бинокль, указав, куда смотреть. Вдалеке, наполовину скрытая за кучкой сухой травы, крупная скопахщица со зловещей белой головой и мощными белыми лапами пожирала свою еще живую жертву.

И тут Эдуард внезапно понял страсть тетки. А она, как всегда, склонная к назидательным педагогическим нравоучениям, которыми донимала его все детские годы на площади Одеон, закурила сигарету и начала разъяснять, что внутренняя сторона когтей хищных птиц-рыболовов покрыта так называемыми «спикулами», иначе говоря, мелкими острыми бугорками, позволяющими удерживать мокрую, скользкую добычу – скользкую и всеми силами стремящуюся ускользнуть от гибели.

«Хотел бы я быть такой вот скользкой и неуловимой добычей, – подумал Эдуард. – А еще лучше просто водой».

В Центральном парке диском фрисби ему поранили лицо. Рассеченная губа кровоточила. Он взбудоражил рынок мелких форм антиквариата, продавая и перепродавая направо и налево.

– Продавайте еще, – приказывал Эдуард Пьеру.

– Это уж слишком, месье. Рынок просто обвалится.

– Прикиньте, нельзя ли создать какие-нибудь инциденты на таможах.

– Так поступать нехорошо.

– Я вас не спрашиваю, хорошо это или плохо. Найдите средство. Придумайте, как это устроить.

– Я, конечно, сделаю, как вы хотите, месье, но категорически с вами не согласен.

– А мне и не требуется ваше согласие. Сел играть с шулерами, умею жульничать сам. На кон поставлена судьба моих коллекций. Лично я исчезаю на две недели в Токио. Здесь я незаметен. Там я нанесу ему удар, но никому не позволю прийти к нему на помощь. Я нанесу ему удар в Европе, я нанесу ему удар в Индии, а он в это время будет со страхом ожидать западни в Нью-Йорке. И в конечном счете я прикончу его в том месте, о котором он в жизни не догадается: на его собственном поле, в Киото и в Ниихаме. Он обречен. Он не сможет воевать на два фронта. Вряд ли ему удастся отразить мои атаки одновременно в разных местах, на расстоянии многих тысяч километров.

В Нью-Йорке он увиделся наконец с князем де Релем, поверенным в делах Маттео Фрире. Тот хотел вступить в переговоры. Эдуард отказался. Тогда князь объявил, что готов продаться. Эдуард отказался и от этого, но намекнул, что всегда может предоставить заем и что он ищет квартиру в Париже. В ответ князь попросил у Эдуарда место Пьера Моренторфа. Эдуард категорически отверг такую возможность.

Эдуард положил телефонную трубку. Ему не удалось связаться с Лоранс. А он как раз был проездом в Париже. И только что опоздал на римский самолет. Тогда он решил наведаться к Розе, в ее двухэтажную квартирку, ключ от которой дала ему Лоранс: вдруг она еще там? Или хотя бы оставила ему какую-нибудь весточку. Он надеялся, что Лоранс, посредством телепатии, догадалась, что он близко, и ждет его.

Но в квартире никого не оказалось. На столе в вазе догнивал букет зловонных, совершенно неузнаваемых цветов. Скорее всего, останки коричневых штокроз. Или жалкие фантомы пунцовых далий. Вода в вазе помутнела и превратилась в зеленоватую, вонючую слизь. Он вывалил все это в кухонную раковину, опростал вазу, положил ее на бок и открыл кран. Вонь стояла невообразимая. Он поднялся в спальню. Запихал в сумку все рубашки от Hilditch, которые ненавидел и которые подарила ему Лоранс.

Спустившись по черной лестнице, он вышвырнул рубашки от Hilditch в помойку, прошел вверх по улице Сент-Андре, купил на рынке Бюси горсть черешен и зашагал по улице Бурбон-ле-Шато в сторону Сен-Жермена, поедая на ходу теплые ягоды. Вдруг на улицу выехал грузовик, и ему пришлось

перейти с мостовой на узенький тротуар перед рестораном «Л'Эшодэ». Занавеска, прикрывавшая лишь нижнюю часть окна, позволяла заглянуть в зал. И поверх этой занавески он увидел Лоранс, обедавшую в обществе Маттео Фрире.

Он в ужасе отшатнулся. Потом снова ринулся к окну: Лоранс, подняв руки, поправляла высокий узел волос. На ней была та же одежда, что и в день их знакомства, – длинная широкая юбка из желтого хлопка и серая шелковая блузка. Он пошел прочь.

– Цены на черепаховый панцирь подскочили до девяти тысяч франков за кило, месье. Придется закрывать лавочку. Мне даже не на что нанять подмастерье.

Эдуард только что спросил консьержа-ремесленника, охранявшего блок зданий у площади Бастилии, на каком этаже живет Пьер; в правой руке он держал коробку с тортом. Когда он подошел к облупленным строениям, в одном из которых обитал Пьер Моренторф, ему вдруг почудилось, что он во Флоренции, в двух шагах от мастерской Антонеллы. Войдя в подъезд, он чуть не задохнулся от жуткого черепашьего запаха. Жан Лефлют был «панцирщиком» и работал, судя по его словам, для Boucheron, для Cartier, для Van Cleef. Это был грузный шестидесятилетний мужчина с густым ежиком седых волос. Жан Лефлют был болтлив и полон горечи. Он жаловался на скуку: эта убогая жизнь среди черепаховых гребней с бриллиантовыми инкрустациями и роскошных оправ для очков доведет его до могилы. Эдуард Фурфоз предложил Жану Лефлюту работать на него. Разговаривая, он медленно подошел к котенку, забравшемуся на полку. Эдуард погладил его. Шелковистый хвостик котенка наполовину прикрывал фигурки из черепашьего панциря, представлявшие собой средневековых музыкантов – две виолы и лютня. Он отодвинул котенка в сторону. Музыканты не продавались. Он попрощался с Жаном Лефлютом, пересек внутренний двор. Шел дождь.

Он пересек второй двор. Пьер Моренторф жил в самой глубине внутреннего двойного двора, выходявшего на Шароннский бульвар. Булыжное покрытие от старости поросло мхом, местами вылезало горбом, местами и вовсе отсутствовало. Назойливый запах рыбьего клея наконец-то растворился в воздухе. В углу двора Эдуард увидел небольшую полуоткрытую дверь и поднялся по безобразной ветхой лестнице; ступеньки прогибались и стонали под ногами, штукатурка кое-где отставала от стен, а где-то и вовсе рухнула; каждую площадку украшала расколотая раковина.

Он поднялся на четвертый этаж. Позвонил. Затем позвонил еще несколько раз. Он не предупреждал Пьера Моренторфа о своем визите. Дверь долго не отпирали. Наконец показался Пьер, он буквально окаменел от изумления.

– Вы в Париже!

Багровый от испуга колосс с несчастным видом торчал на пороге, перед Эдуардом, мешая ему войти. Неожиданность и конфуз превратили эти сто десять килограммов в соляной столб, заслонивший дверной проем. Эдуард

Фурфоз силком всунул коробку со сладостями в руки своему другу и слегка подтолкнул Пьера Моренторфа, который наконец посторонился, освободив проход. Эдуард вошел в тесную, убогую переднюю с грязными стенами, изъеденными плесенью, словно проказой. За прихожей – такая же маленькая гостиная-столовая, опрятная и безлика. Эдуард был разочарован. Пьер, красный от смущения, следовал за гостем, торжественно поднося коробку с тортом, словно нес драгоценное приношение на жертвенник. Эдуард нажал на ручку следующей двери, отворил ее, вошел и вот тут-то буквально задохнулся, словно получил удар под дых.

– Вы не должны были, месье... – бубнил Пьер у него за спиной.

Перед Эдуардом простиралось огромное помещение – сто двадцать – сто тридцать квадратных метров, бывшая мастерская краснодеревщиков с площади Бастилии, освещенное дюжиной окон в стене, выходившей в двойной внутренний двор. Длинный зал представлял собой обширный японский сад: на маленьких циновках, на низких белых столиках, в побеленных стенных нишах, всюду, куда ни глянь, на расстоянии двух-трех метров друг от друга стояли крошечные деревья, похожие на планеты Солнечной системы. Все окна были прикрыты безупречно-белыми седзи; три глухие стены окрашены в землянисто-охряный цвет. Строго напротив двенадцати окон с двенадцатью седзи в голой стене виднелись двенадцать неглубоких ниш. На старом паркете, который побелел и искрошился оттого, что его мыли водой, скребли железной щеткой и никогда не натирали мастикой, лежали двадцать восемь маленьких циновок чудесных пастельных тонов; рядом с каждой из них, на низком лакированном столике, росло в горшке карликовое деревце.

Это было нечто равнозначное Саду камней Рёандзи в Киото, с его четырехугольным двориком, мельчайшим, тщательно разровненным гравием и валунами. Комната площадью сто тридцать квадратных метров приводила на память бескрайнее море, где затерялись островки по имени Япония.

Теперь уже Эдуард шел следом за Пьером. В дальнем конце зала обнаружилась дверца, искусно скрытая в стене, она вела в подсобку, где хранились садовые инструменты; рядом располагалась спальня Пьера Моренторфа – он лишь на миг, с внезапной стыдливостью, приотворил ее дверь. На стенах кладовой висели полки из китайского дуба, где были аккуратно разложены японские палочки для пересаживания растений, секаторы с толстыми ручками, ножницы для обрезки ветвей длиной с мизинец, ножницы с длинными лезвиями для формирования кроны, ножницы для обрезки почек, скальпели для прививок, щипчики для удаления сухих листьев, щипцы побольше для выдергивания сорняков, лейка с длинным горлышком и крошечными дырочками, всевозможные пульверизаторы, деревянные вертушки, на которых можно было рассматривать куст или дерево со всех сторон.

Пройдя через эту мастерскую-кладовую, они оказались в кухне – уютном помещении с тремя окнами во двор; здесь царил больничная белизна.

Эдуард опустился на пол посреди кухни, напротив Пьера Моренторфа, также севшего по-турецки; Пьер крошил в фаянсовую чашку лук-шарлот. Глаза его были полны слез. Он спросил:

– Месье, что вы хотите выпить?

– Пиво у вас есть?

– Только японское, месье.

– Прекрасно. Вот что я хочу сказать вам, Пьер: Лоранс Гено...

– Пиво, месье, – это священный напиток. Египетские боги ничего так не любили, как пиво. А известно ли месье, что японских быков тоже выпивают пивом?

– Пьер, скажите откровенно, не скрывайте от меня правду: по-вашему, я все же достоин его пить?

Пьер, все еще обливаясь слезами, распаковал коробку с большим шоколадным тортом и извлек из нижнего отделения пирог с мирабелью. Он без малейшего усилия поднялся и вышел из кухни.

Когда этот лысый тучный людоед вернулся назад, его щеки пылали от волнения. Он смущенно извлек из кармана пиджака амулет – маленького Будду из голубой яшмы.

– Месье...

– Да?

– Дайте вашу руку...

Эдуард протянул ему раскрытую ладонь и молча, не найдя нужных слов, принял в нее крошечного теплого божка. Пьер кинулся к плите. Открыв духовку, он вытащил горячие бутербродики с анчоусами, один вид которых навевал смертную скуку.

Глава X

*Томление есть самое
прекрасное из всех состояний
любви. Его слабый огонек
неумолимо сжигает нас.*

Сент-Эвремон [49]

Она стояла в оконной амбразуре. На ней было черное вечернее платье. Она застыла в напряженной позе, кусая губы и судорожно прижимая руки к груди, как будто озябла и старалась унять дрожь.

Уже давно пробило восемь часов. Эдуард позвонил ей из Лондона и обещал приехать в семь, прямо к ужину. Три часа назад она ходила вместе с Розой к своему адвокату. Условия развода были определены. Когда она последний раз виделась с Ивом, он плакал, потом напился и стал проклинать ее, бросая в лицо все слова, что пришли ему на ум: «отец», «брат», «фригидность», «бесплодие», «безумие»...

Лоранс нагнулась к комоду, где лежали фотографии времен ее детства – тех счастливых времен, когда рядом еще были и мать, и брат. Но тут же резко задвинула ящик. Хватит, слишком уж часто она открывает эти тяжелые альбомы в кожаных переплетах. И еще: ее неизменно раздражало физическое сходство Эдуарда и Уго. Может, ей просто всегда нравилась мужская худоба? Нужно сказать, что сцена встречи Эдуарда с ее отцом, а главное, отзыв этого последнего об Эдуарде потрясли ее до глубины души. В прошлые выходные

Луи Шемен признался ей, что ему даже импонировал немой гнев Эдуарда, его внезапный уход. Именно с того дня или несколькими днями позже Эдуард начал относиться к ней совсем иначе. Она виделась с ним только урывками. Он непрерывно разъезжал по свету. И почему он сегодня опаздывает?

Внезапно Лоранс почувствовала острую боль, которая все нарастала и нарастала. Уже четверть десятого. Ей казалось, будто внутри рвется какая-то ткань, цепь доверия, что связывала ее с Эдуардом. Что-то непоправимо сломалось в ее отношении к человеку, которого она ждала, который отдалялся от нее в самом этом ожидании, который, видимо, не любил ее, раз он с каждой минутой уходил все дальше. Ее душили слезы. И жгучее желание предать смерти того, кто так легко забывал о ней. Интересно, почему говорится «бегать, как заяц»? Наверное, это самая быстрая из всех зверюшек: только что был на виду, а посмотришь, его и след простыл. В Эдуарде тоже было что-то заячье: именно вот эта страсть к бегству, непрерывные передвижения, неспособность усидеть на месте. И еще одна чисто заячья черта – трусость. Боязнь холода, боязнь скуки, боязнь любви.

Она дрожала от боли, от горького чувства брошенности. Изо всех сил сжимала губы, чтобы не расплакаться.

«Притулиться где-нибудь», – подумала она, отходя от комода. Сжавшись, присела на край подоконника. И попыталась найти в потаенных глубинах сердца нечто вроде маленькой исповедальни из темного дерева, с красной бархатной занавесью, наглухо отделяющей вас от остального мира. Крошечное местечко внутри себя, где можно встать на колени, съежиться, свернуться клубочком, поплакать, покаяться в прегрешении. Каково бы оно ни было, неважно. Рассказать о прегрешении – это все равно что укрыться теплым мехом и спрятать в него лицо после того, как тебя отчитают. И тогда рука воображаемой матери ласково погладит тебя по головке. И ты вдохнешь теплый аромат материнской груди. И можно будет еще чуточку выше поджать ноги и уткнуться подбородком в колени.

Он повернулся к соседу, который никак не мог найти пряжку ремня безопасности.

– Вам не кажется, что здесь очень низкая температура?

– Нет, но вы взяли конец моего ремня, а не своего.

По салону шла стюардесса. Эдуард обратился к ней:

– Вы не находите, что в самолете очень холодно?

– Нет, месье. У нас все функционирует нормально.

– Когда же мы взлетим?

– Через пять минут.

Эдуард сидел в лондонском самолете. Он сожалел, что не взял с собой пальто. Они ждали взлета уже два часа. Он попытался мысленно ощутить теплое тело Лоранс. Он сидел, вертя в руке холодную пластмассовую заколку. Вызвал в воображении это тело, которое так вождеделел. Сжал его в объятиях.

Простерся рядом с ним на ложе и приник лбом к шелковистым волоскам под мышкой.

Он рассчитывал приехать на авеню Монтень к половине одиннадцатого. Эдуард ликовал. Последние торги прошли из рук вон плохо, но ему это было безразлично. Он ликовал оттого, что нашел истинное сокровище – стенные часы времен Революции для тетушки Отти, для шамборского дома. Эти маленькие часы с гирькой лежали сейчас в сумке у его ног, на полу самолета. Он то и дело нащупывал сумку ногой, чтобы убедиться в ее сохранности. Лоранс, наверное, уже начала его ждать. И почему это считается, что люди всегда ждут со жгучим нетерпением тех, кого любят? Наверняка она пригласила к себе Розу или отца. И теперь ужинает с кем-то из них. А может, даже и с Матео Фрире. Сидит за столом и смеется. Что, конечно, не помешает Лоранс бурно упрекать его в опоздании. А ночью она будет плакать. Вот по этой-то причине моряки во все времена чурались женитьбы. Моряк... да, он именно моряк. Антверпенский моряк, настоящий *poordman* в крылатом драккаре. Пират в летучем железном драккаре, промышленяющий свою добычу по всему Земному шару. Только этот драккар никак не желал взлетать. Стюардесса объявила, что они взлетят через пять минут. Они уже в шестой раз обещают ему, что взлетят через пять минут. Нагнувшись, он расстегнул сумку, нежно погладил запеленатые часы, вытащил «Интернешнл превью» и Официальный бюллетень торговли недвижимостью. И погрузился в чтение Официального бюллетеня торговли недвижимостью.

Она плакала, сидя на полу, ее вечернее платье задралось выше колен. Она плакала и, не находя платка, размазывала слезы пальцами по векам и щекам. Он больше не придет никогда. Он ее бросил. Он умер, погиб. Его самолет упал в Северное море. Он бьется в ледяной воде. Слезы жгли ей веки. Он уже захлебнулся водой. И жестами молит о помощи. Но если Эдуард не умер, если у него просто не хватило жалости дать ей знать о себе она захлопнет дверь перед самым его носом. И никогда больше не увидит его.

Никогда больше не увидит его, как и в тот день двадцатого июля 1977 года. Он бился в воде Оша. В воде реки Жер в Оше. Потом он вцепился в дерево. Уго кричал. Она явственно слышала: он звал ее на помощь, как в детстве, когда падал и ушибался. Она слышала – в себе, внутри себя, – как он произносит ее имя, или, вернее, те невнятные, бессмысленные звуки, что составляли имя Лоранс. Древесный ствол был мокрым и скользким. Она явственно видела, что он обхватил его руками и ногами. Он хотел вернуться к ней. Выкрикивал ее имя. Вода неслась с оглушительным ревом. Его погубило то самое дерево, от которого он ждал спасения. Тяжелый ствол врезался в стену дома, и он разбил голову о камень, выпустил скользкое дерево, и чудовищный поток унес его в канализационный сток, поглотивший бесчувственное тело. Она увидела тот дом и ту трубу, когда вместе с отцом приехала хоронить брата. Ее одолел истерический смех, на минуту оскорбивший горе: местные музыканты с

трагически-скорбными минами исполняли похоронный марш в бодреньком, веселом темпе, бравурно, точно канкан.

Наступила ночь. Она встала, безмолвно проклиная Эдуарда. Она была уверена, что он жив-здоров; ну ничего, она ему в жизни этого не простит. Ей казалось, что она ждала всегда, целую вечность. Казалось, что она неживая, что она еще и не жила. Казалось, что все окружающие вещи тоже ждут: кресла – чьего-нибудь тела, бокалы – губ, лампы – взгляда, дом – живого существа, ребенка. Она решила уехать. Хватит, ей надоело ждать. Это невыносимо. Ожидание раздирало ее на части, острой болью раздирало надвое живот, раскалывало надвое голову, и невыносимая пустота в образовавшемся промежутке была хуже самой страшной казни. Она позвонила в отель Эдуарда и продиктовала для него записку с адресом дома в Киквилле и настоятельной просьбой срочно приехать туда, бросив все дела.

Эдуард позвонил Лоранс и долго ждал ответа. Но к телефону никто не подходил. У него мелькнуло воспоминание о ресторане на перекрестке улиц Л'Эшоде и Бурбон-ле-Шато, где она обедала с Маттео Фрире. Он еще раз набрал номер. Значит, Лоранс его предала. Как предала и Антонелла. Как вот-вот предаст Соланж де Мирмир. Как предал Перри. Каминные часы, которые он нес в сумке, оказались довольно тяжелыми. Может, Лоранс Гено ждет его в двухэтажной квартирке Розы ван Вейден? Может, он просто не понял, где они должны встретиться? Ему было холодно. Да ведь он и правда опоздал на целых шесть часов.

Шел дождь. Неспешный, ласковый, теплый дождик. Сняв перчатки, она расстегнула сумочку и нашарила массивный бурый от ржавчины ключ. Из почтового ящика на створке ворот выглядывали конверты, разбухшие от дождя. Лоранс отперла ворота, пропустила шофера в машине на въездную аллею, а сама вынула из ящика мокрые слипшиеся письма.

Она шла, оступаясь на скользком от дождя, звонко хрустевшем гравии, сквозь который кое-где пробивалась трава. Миновала конюшни, каштаны, плакучую иву, вступила на узкий мостик – тоже склизкий, точно маслом облитый, выгнутый над крошечной речушкой, что протекала через сад и впадала в море, точно настоящая, большая река. Настоящая, но в миниатюре. Три километра в длину, шестьдесят сантиметров в ширину и сорок в глубину, но она действительно впадала в море на пляже, в нескольких десятках метров от парковой ограды. А вот наконец и дом, а рядом дуб и памятный еще с детства фруктовый сад. Шофер с грохотом отворял ставни.

Эдуарду в конце концов удалось связаться с ней через Розу. Его рейс отменили, и он прилетел в Париж с шестичасовым опозданием. Но его доводы не убедили Лоранс. Он сказал Розе, что возьмет машину напрокат, заглянет в Шамбор и в мастерскую к Андре Алаку, после чего приедет в Киквилль. Роза тут же решила навестить подругу. Она сообщила, что будет у нее примерно к

полудню. В данном случае ее участие казалось Лоранс излишне назойливым. Она предпочла бы ждать в одиночестве.

Она положила на кровать свой чемодан. Уткнулась лицом в прохладный атлас покрывала. Она давно заметила, что, когда он ласкал ее живот, по всему ее телу пробегали мурашки озноба. Ей это нравилось. Она задремала и увидела сон. Ей приснилось, что она обхватила его ногами и удерживает возле себя.

Стоял серый пасмурный день. Задувал ветер. Толкнув дверь, Эдуард услышал, как звякнул старый колокольчик – коротко и глухо, словно обыкновенная жестянка. Он миновал серые железные полки, заваленные обезглавленными куклами, груды фарфоровых голов, бронзовыми статуэтками, сломанными экипажиками, голубыми крышками для игрушечных колясочек. Он ускорил шаг. Он торопился. Он уже побывал в Шамборе и хотел успеть в Киквилль сегодня же вечером, хотя ужасно боялся холода морского побережья. Наконец он увидел склоненный над верстаком силуэт в черном халате, от которого исходило слабое мерцание. Вернее, эта темная фигура была окружена светлым ореолом от лампы, направленной на рабочее место Андре Алака.

– Кто там? – спросил Алак, не оборачиваясь.

– Эдуард Фурфоз из Антверпена.

– Садитесь. Я скоро закончу.

Держа в руке маленький паяльник, он колдовал над огромной лампой двадцатых годов, сложной конфигурации, с переплетением хромированных и медных деталей. Андре Алак провел всю войну 1940–1945 годов в маки. Он не захотел возвращаться к своей прежней профессии учителя математики в турецком лицее и открыл домашнюю мастерскую по ремонту всего на свете. На его двери висела табличка, где коричневыми буквами в стиле модерн было выведено:

АНДРЕ АЛАК

Хирург и целитель неодушевленных вещей

Это был мастер от Бога, для которого не было ничего невозможного. Из его рук выходили настоящие шедевры реставрации – мебель ценного дерева, украшения, водяные органы, детские пианино, миниатюрные лютни гарнитуры для кукольных гостиных, учебные медицинские манекены, спальные корзинки для кошек, кукольные домики, комоды с потайными ящичками для детей богачей, макеты замков, французских парков и городов во вражеской осаде, алтари, золототканые ризы... В ожидании разговора Эдуард обследовал мастерскую Андре Алака. Она являла собой уменьшенное подобие старинного Антверпена, нечто вроде чердака, заваленного роскошной рухлядью поверженной Европы. Он с наслаждением разглядывал эти завалы, вспоминая о самой прекрасной вещи на свете, которой так часто восхищался в детстве и которую ему никогда не надоедало созерцать, – это была рака Мемлинга из Брюгге, шедевр миниатюрной живописи, рака святой Урсулы в больнице Иоанна Крестителя, заказанная Мемлингу Анной ван ден Моортеле. Его память

сохранила мельчайшие детали этой раки в форме готической часовенки, сделанной из дуба, со стрельчатыми окошечками и крышей, выложенной листочками червонного золота, – вот где он мечтал провести свою жизнь.

Андре Алак окликнул его. Эдуард подошел к верстаку, выложил свой пакет, развернул бумагу, показал часы. И попросил мастера-математика как можно скорее отладить эти революционные часы, приобретенные им в Лондоне: он поставит их на камин старой дамы, которую очень любит и которая недавно поселилась в Шамборе.

– Кроме того, мне очень хочется привести их в рабочее состояние к двухсотлетию Революции.

Утром Эдуард побывал в домике Наполеона III, в «Аннетьере». Его тетушка ударилась в мистические фантазии. Она установила строгое правило, согласно которому разговаривать вслух позволялось только через день, а музыка и вовсе была запрещена навсегда. Она вбила себе в голову, что должна основать маленькую духовную общину, и с этой целью намеревалась в самом скором времени пригласить свою подругу Дороти Ди. Эдакий Пор-Руаяль среди лесов и полей, с Богом в образе сокола; она объявила племяннику, что затевает это уже не впервые и что они с Дороти будут молиться в течение ста восьмидесяти двух дней, свободных от обета молчания.

– Вам не наносил визит господин Маттео Фрире?

– Нет. Но мне нанес визит князь де Рель.

– Вы сообщили ему о своем решении?

– Да. Отныне я буду работать только на ваших условиях.

– Отлично. Тогда давайте заключим новую сделку. Слушайте.

Андре Алак слушал, вертя в руках маленькие каминные часы в стиле «ампир», но заведенные по республиканскому календарю, иными словами, на десять дней по десять часов каждый. Часы представляли собой гильотину: раз в час ее нож падал на шею короля, чья голова (прикрепленная к пружинке) скатывалась в корзину с отрубями. Кроме ремонта механизма требовалось еще позолотить вручную корзинку с отрубями и сделать Людовику XVI парик из настоящих человеческих волос.

Они заключили договор. Глаза Андре Алака сияли от радости. Эти часы привели его в полный восторг. Они пожали друг другу руки.

Дождь льет как из ведра. Она у себя в Киквилле. В окна сочится тусклый зеленоватый свет. На ней черный слишком широкий свитер. Она старается потуже стянуть его на бедрах. То и дело закатывает и спускает шерстяные рукава, то и дело обнажает свои худые руки чуть ли не до плеч. Нагибается. Представляет себя под взглядом воображаемого мужчины. Здесь, в доме, она одна. Наклонив голову, она рассматривает шерстяную кромку своего свитера, свои голые груди в его шерстяной полутьме. И мысленно спрашивает себя: «Кому они нужны, мои груди, видные в широком вырезе свитера?» Она нервничает. Поднимает голову. Снова и снова комкает свитер, пытаюсь потуже стянуть его на бедрах.

Она слышит хруст гравия под чьими-то ногами. Резко оборачивается, глядит в окно. До нее доносится поскрипывание резиновых сапог. Эти желтые сапоги

Роза купила на развале деревенского базара, в рыбном павильоне. По правде говоря, сегодня Лоранс прекрасно обошлась бы без своей подруги. Роза без конца говорила о разводе, на который сама же и подстрекала Лоранс и условия которого обсуждала со страстным энтузиазмом.

– Вот он что у нас получит! – провозглашала Роза ван Вейден, показывая кукиш.

Лоранс вышла из библиотеки, открыла дверь гостиной. Роза сидела за круглым столиком возле балконной двери. Когда-то она была адвокатом, нынче возглавляла агентство недвижимости, но больше всего увлекалась деловым посредничеством и игрой на бирже. Сейчас Роза раскладывала перед собой документы о личных доходах Лоранс, которые та ей доверила. Лоранс решила выйти в сад. Ей вдруг почудилось, что, сосредоточившись, она сможет посредством телепатии привлечь сюда того, кого так ждала. Она попросила у Розы ее дождевик (ох уж этот нормандский июль!) и желтые скрипучие сапоги. И вышла из дома.

Пройдя по узкому горбтому мостику, перекинутому над речушкой, она пробралась в уголок сада, где ютились кусты бузины и утки. Дождь яростно хлестал ее по лицу. Ежась и вздрагивая, она вдруг присела на корточки, оглянулась на свои мокрые следы, поглядела на дорогу вдаль, которая вела от вокзала к ее дому, извиваясь между деревьями, бетонными домиками и дешевыми многоэтажками, с недавних пор тесно обступившими их парк. Ее бил озноб, преследовал запах дождя, запах жирной грязи, запах скошенной травы; даже чугунный столик под каштаном и тот испускал запах. Вот тут-то, разлученная с телом, которого ей так не хватало, она в молниеносном озарении поняла, чего именно ей не хватает и будет не хватать всегда. Судорожно всхлипнув, она упала на колени прямо в размякший песок дорожки. Но это движение показалось ей бессмысленным. Воробьи и синие дрозды заверещали еще пронзительней. Она раскинула руки и вдруг заметила, что дождь утих. У нее возникло мистическое ощущение, что в запахе скошенной травы, в короткой щетинке травы под ее пальцами скрывается стриженная голова – та самая голова, которую она любила больше всего на свете. У ее брата были коротко остриженные волосы, но это была голова не ее брата, и не ее отца, и не Ива, и не Эдварда. То, что мелькнуло перед ее мысленным взором, было еще ближе, еще любимее: короткие жесткие волосы, пахнущие свежим мылом, слегка колющие пальцы и губы, как только что скошенный газон с голубоватым ежиком травы, сквозь которую просвечивает темная земля. Лицо с чуть колкой щетиной. Ей хотелось бы иметь такую щетину. Хотелось бы иметь кадык. И короткую мужскую стрижку, и подбритый затылок, колющий пальцы. И настоящий пенис, свисающий между ног. Еще хотелось, чтобы отец любил ее самое, а не женское подобие проглоченного пучиной мальчика.

Он заказал себе пиво у стойки бара. Темнота постепенно съедала деревья и дома. Он поспеет в Киквилль к ужину. У рестораника были оранжевые стены. Он находился в пятнадцати километрах от моря. Моросил мелкий дождик. Небо

помрачнело. У Лоранс было слишком много владений. Эдуард еще не видел ни дома в Солони, ни виллы в Марбелье, ни замка с бассейном в Варе, ни Киквилля. У него самого не было стольких мест обитания. Хорошо бы все-таки купить квартиру или дом в Париже. Жилище, которое будет принадлежать ему одному, куда заказан доступ посторонним, – настоящий, теплый, живой дом. Лоранс ни словом не помянула о своей встрече с Маттео Фрире. И он не сказал ей, что случайно видел их обедающими вместе. Он уже не знал, нравится ли ему любить. Наигранные страсти, зависимость от другого, возжеление, бесплодные разговоры, борьба за главенство – по сути дела, вот уже более двухсот лет люди сильно переоценивали это не очень-то возвышенное чувство.

Рано утром он побывал у тетушки Отти. На рассвете они прогулялись в сторону Брасье, а потом к пруду Цапель. Тетушка Отти показала ему черную точку вдаль, у берега Коссона. Это был ястреб, паривший над скворцами, которые в панике спасались от него в камышовых зарослях, где и сидели смиренно, не высывая носа наружу.

Одиночество, тишина, дикая природа – вот где было истинное убежище.

Тетушка Отти не произнесла больше ни слова. Однако позже, часам к восьми утра, вернувшись в «Аннетьер», эта особа, возведенная в ранг президентши французской Ассоциации по спасению и изучению соколиных пород, торжественно объявила ему:

– Хищным птицам грозит полное уничтожение. И одиночество также находится под угрозой. Пойми, малыш, мы рискуем безвозвратно нарушить природный цикл питания!

Эдуард вздрогнул: ему была непереносима мысль о нарушении цикла питания. Он сочувственно погладил руку тетушки, которая мало-помалу вошла в раж: растения, домашние животные (иными словами, цивилизованные люди) и бактерии так и кишели в ее возмущенной речи. И они еще смеют стрелять в этих милых пернатых созданий! Да лучше бы они сперва избавились от музыковедов и вирусов! Ведь исчезновение жестокости в воздушных просторах грозит разрушить экологическое равновесие, естественный природный кругооборот, а это чревато самыми прискорбными последствиями – резней, коллективными самоубийствами, таинственными эпидемиями, уничтожением всего живого...

– Седьмого числа мы организуем демонстрацию протеста. Ты приедешь?

– Знаешь, тетя... Я вообще-то терпеть не могу демонстраций. Когда собираются вместе больше трех-четыре человек, все эти общественные акции...

– Но мы именно за это и боремся, малыш. Наша демонстрация как раз и призвана защитить одиночество. Ты обязательно должен в ней участвовать.

Он было уперся, но тетка твердо стояла на своем. Пришлось обещать. Когда они вошли в столовую домика в стиле ренессанс времен Наполеона III, тетушка Отти задернула плюшевые шторы и гордо выложила на старинный темный стол вполне презентабельное белое полотнище, собственноручно изготовленное ею из простыни; на нем тетушка с помощью губной помады старательно начертала крупными готическими буквами лозунг:

ЖЕСТОКОСТЬ В ОПАСНОСТИ

Поставив пивной стакан на стойку, он вышел из ресторана, сел в машину, медленно покатыл дальше. Он размышлял о том, что мог бы жить в Антверпене и трудиться в офисе отцовской фирмы, как это делают его братья, – иными словами, играть в домино, одновременно лакомясь улитками, важно курить сигареты на заседаниях правления, метать стрелки в диск, одновременно потягивая пиво, слоняться по набережным, пожимать руку Сильвиусу Брабо, [50] спать с женщиной раз в шесть часов, менять машину раз в шесть месяцев и снова курить сигареты на совете директоров. Он медленно ехал по шоссе, и ему чудилось воинство крошечных северян среди ромашек, мокнущих под дождем, у кромки моря на песчаном пляже. Чудился призрак малюсенькой женщины среди морских водорослей. И голубая лягушка, квакающая в тени виноградной лозы, рядом с пустой красной пачкой из-под сигарет на свалке в Чивитавеккье. Почему его осаждают эти полчища безымянных призраков, почему эти образы неизменно заслоняют черты женщин, которых он любил? Что делать, если все эти сказочные атрибуты – голубые заколки, невидимые косички, мягко шелестящий лифт в подъезде на Лилльской улице, потертый коврик, серебряный набалдашник трости, кольцо с рубином-кабошоном, мгновения без возраста, затерянные во времени, как таинственные обломки, отбросы вечности или страха, – вдруг по какой-то неведомой причине возвращались в мир живых? Так возвращаются привидения. А вот и одно из них. Вернее, одна. Он резко затормозил: впереди, под дождем, вдоль деревенской дороги брел в желтых сапогах призрак Лоранс, как всегда, с напряженно выпрямленной спиной. Не закрывая распахнутой дверцы машины, он подъехал к ней. Крепко обнял. Ее мокрые волосы пахли срезанной травой, свежесрезанной травой и еще – яблоком.

Глава XI

*Мы лежим, точно жалкие
мошки, на ладони богов, и они
отчищают нас от нашей
ничтожной грязи.*

Шекспир [51]

Эдуард проснулся в одиночестве. Он не сразу понял, где находится. В просторном киквилльском доме на всех этажах витал тонкий, слабый аромат молотого кофе – даже не аромат, а намек на него, неясные отголоски. Обоняние искало их в пространстве, улавливало, внезапно теряло – и пыталось найти снова, для чего приходилось высунуть голову из-под простыни, защищавшей глаза от дневного света; это коротенькое, трепещущее в воздухе кофейное послание было подобно миниатюрному изображению, крошечному безмолвному существу, бродившему по дому, чтобы соблазнить мечтателей, разбудить спящих и увлечь их за собой в радости и свет наступающего дня.

Он встал. Зашел в ванную – там по шею в воде дремала Лоранс. Эдуард поцеловал ее в лоб. И спустился вниз.

К полудню дождь наконец утих. Сад замер в безмолвии. Ни одной птицы. Ни малейшего дуновения. Густая, напоенная водой трава отливала мокрым блеском. Он любовался горбатым мостиком. Полюбовался цветами. Лоранс нашла его перед клумбой с душистым горошком. Он сказал ей, что голоден и хочет пойти куда-нибудь поесть. Лоранс ответила, что они пообедают вместе с Розой. Но Эдуард повторил: он хочет побыть с ней наедине, ему совершенно не улыбается общение с Розой, он твердо намерен поесть в ресторане.

– Я не люблю женскую домашнюю стряпню.

Лоранс мысленно обругала его. Они вышли из сада через заднюю калитку. Здесь пейзаж был почти бретонским. Узкое русло, по которому бежал ручей, вернее, крошечная речушка, больше камней, чем травы, скалы, поросшие желтым лишайником. Плакучие ивы. Камыши.

Они прошли мимо грузных темношерстных коров, нынче еще более медлительных, чем обычно; те лениво жевали свою жвачку, глядя в пространство, величественные, словно богини покоя – не совсем живые и именно потому весьма близкие к бессмертию.

Они зашагали по боковой тропинке, затененной нависшими ветвями диких слив. Ресторан уже открылся. В очаге пылал огонь, сырые дрова звонко трещали и выпускали едкий чад. Они сели возле камина. Долго беседовали. Разговаривая, каждый из них то и дело касался лица или руки другого.

Он глядел на грузного толстяка, попыхивающего трубкой. В последнее время редко увидишь курильщика трубки. Такие курильщики трубок мало-помалу сами превратились в предмет коллекционирования. Это устройство для сжигания табака выглядит нынче так же нелепо, как спинет под руками рокера – например, Юлиана ван Вейдена, или так же дико, как отряд арбалетчиков, с воинственным кличем идущих на приступ мыса Канаверал.

Вдруг ему стало до того холодно, что он возмечтал об одеяле из шерсти яка. И внезапно подумал: «Мне скучно. Мне холодно. Я точно ферма Хугомон на поле Ватерлоо,^[52] которую обстреливают из пушки. Только никак не пойму, кто в меня палит. Какие-то странные приступы меланхолии. Странная тяга к пустоте. Странное, нетерпеливое желание отрешиться от этого мира». Ему вдруг нестерпимо захотелось ощутить во рту вкус пива Moinette, и он взял чашку кофе из рук князя.

Дело происходило в Париже, на Бурбонской набережной. Было десять часов утра. Пьер Моренторф позвонил ему в Киквилль с сообщением, что Мужлан (так окрестили князя его друзья, хотя некоторые из них в глаза величали его «монсеньором») решил работать на Эдуарда и желает срочно встретиться с ним. Пьер добавил, что, если Эдуард наймет де Реля, он, Пьер, тотчас же уволится. Эдуард успокоил его.

Князь протянул ему блюдце с кусочками итальянской нуги. Видимо, Маттео Фрире просветил князя насчет всех его пристрастий. Он съел несколько этих белых камешков. Ему вдруг почудилось, будто он жует крошки беломраморных

перил монументальных лестниц Шамборского замка, обвивающих внутреннее пространство центральной башни.

Они сидели на угловатых шезлонгах с колесиками, в стиле Star Trek. Крошечная китайская собачонка со слезящимися глазами, явно одуревшая от непрерывных переездов, куда таскал ее хозяин, положила лапку на ботинок Эдуарда. Она напустила лужу на паркет и высунула розовый язычок. Мужлан встал и принес полотенце.

Князь был миллиардером. Помимо денег он страстно любил современное искусство. Он сел в белое кресло лакированного дерева в стиле 50-х годов с гобеленовой обивкой. Рисунок ткани состоял из мелких фиалок и жонкилей. Колени князя были тесно сжаты, брючные манжеты имели шесть сантиметров в ширину. В стену за его спиной был вделан декоративный камин без очага – одна рама из белых и розовых кирпичей.

– Вы не находите, что моя гостиная на редкость забавна?

Князь аккуратно сложил махровое полотенце и принялся смешивать коктейль в шейкере, стоя перед хитроумным сооружением серийного производства с выдвижной панелью, в котором умещались книжный шкафчик, бар, полка для пластинок, подставка для радиоприемника и подставка для телевизора. За приоткрытой дверью виднелась столовая – гарнитур из белого дерева, фаянсовые тарелки на стенах, рюмки и бокалы «сельского» стиля из грубого зеленого стекла. На столе красовался букет фрезий.

– Вы не находите, что у меня здесь мило? – спросил князь.

Он сплюнул в чашечку трубки, и табак шумно затрещал.

– Лет через триста, – продолжал он, – интерьеры мелкобуржуазного стиля 50-х годов будут цениться не меньше, чем Сент-Шапель?^[53]

– Нет, – ответил Эдуард.

Князь взял его за рукав пиджака, потянул в угол.

– Взгляните, какой стильный авангард, – шепнул он, – Именно тот, что устаревает за какие-нибудь две недели. Самый трогательный из всех!

Он продемонстрировал Эдуарду Фурфозу маленький столик с ушами Микки-Мауса. Эдуард даже не нашелся с ответом. Он поднял глаза на князя. И увидел, что тот надел черный галстук на майку с изображением отсеченной головы Иоанна Крестителя, с которой ручьями лилась кровь. Князь отличался крутым нравом, истязал свою жену. Маркиза де Мирмир дважды выступала в суде свидетельницей против князя. У него был перебит нос. Он постоянно сетовал: «Я беден, как Золушка!» При том, что вот уже пять веков его семья буквально изнемогала под гнетом фамильных замков, ферм, лесов, всевозможных заводов и охотничьих угодий.

– Мне очень нужны деньжата, дорогой Эдуард.

И он накрыл своей ручищей руку Эдуарда. Эдуард почтительно слушал этого миллиардера, которому вдруг понадобилось несколько лишних «тюльпанов» и который без зазрения совести предавал своего друга Маттео Фрире. Князь де Рель сделал ему невиданное предложение – все, что осталось от Мирмекида, так называемые *minuta orege*^[54] Мирмекида. Эдуард купил шесть статуэток за

сущие гроши – чуть больше миллиона франков. Мирмекид был скульптором, которого восхваляли Варрон, Цицерон, Плиний, Апулей. Скульптор античности, чьи творения со времен античности никогда не выставлялись на публичных торгах. Мирмекид вытачивал из слоновой кости такие крошечные статуэтки, что римлянам, покупавшим эти изделия, приходилось помещать их на черном фоне, чтобы различить виртуозно проработанные детали – пальцы рук и ног, члены, уши его фигурок или группы фигур, например Ахилла высотой в несколько сантиметров или Аякса, который насилует Кассандру с распущенными волосами, обхватившую колонну. Эдуард присел на корточки у низенького столика, любуясь Аяксом размером с ноготок. Эдуард купил все. Они договорились хранить сделку в строжайшей тайне. Обсудили состояние здоровья Маттео Фрире.

– Я хотел бы работать для вас, – сказал наконец князь.

Эдуард промолчал. Он встал. Нащупал в кармане голубую заколку. Потом ответил:

– Я еще не решил, месье.

– Я развожусь.

– Ты мне уже в сотый раз это сообщаем. Тебе не кажется, что здесь холодно?

– Я включила отопление. Дай мне сказать. Мы с Ивом договорились об условиях развода.

– Лоранс, не рассчитывай на меня. Я не стремлюсь жениться на ком бы то ни было.

– Ты слишком самонадеян. Я вовсе не ищу себе мужа. Просто мне приятно видеть всю силу страсти, которую ты питаешь ко мне. Я тебе очень благодарна.

Ее голос звучал пронзительно, зло, но глаза по-прежнему сияли золотым светом. Эдуард вторично приехал в Киквилль. На сей раз погода стояла прекрасная. Солнце заливало комнату. Она схватила его за руки. Их губы соприкасались. Она придвинулась так близко, что ее золотисто-серые глаза казались вдвое больше обычного.

– Я развожусь.

– Теперь я слышу о твоём разводе уже в сто первый раз.

Лоранс терзалась нетерпением. Она страдала. Ей было больно. Она любила его, как изгнанник любит свою родину, хотя временами ей казалось, что изгнание и есть ее родина. Мать Лоранс пребывала в изгнании еще более страшном, чем смерть. Внезапно Лоранс привиделась ее мать – в жутком изгнании психиатрической клиники: тело, лишённое души, продолжало существовать и казалось вполне здоровым.

– Эдвард, ты должен!

Волнение сделало ее голос излишне резким, крикливым. Так вопит ребенок, напуганный дурным сном. Она воскликнула еще и еще:

– Эдвард, ты должен! Эдвард, ты должен!

Он наконец взглянул на нее. Лоранс продолжала:

– Нам нужно жить вместе.

– Мы и живем вместе.

Никогда еще он не видел у нее таких безумных глаз. Она выпустила его руки. Вцепилась ему в плечи.

– Я развожусь.

– Мы знаем.

Ее глаза снова приблизились, снова показались огромными. Эдуард отстранил ее; ему не хотелось забывать прежнее, ясное лицо этой женщины, которая вдруг превратилась в одержимую.

– Я говорю серьезно. Давай начнем все с нуля.

– Это ничего не изменит в нас самих.

– У меня семнадцать миллионов франков, вложенных в недвижимость. И около пятидесяти миллионов в акциях. Я единственная наследница своего отца. У него двадцать второе по величине состояние во Франции. У меня...

– Это означает начать все с нуля с множеством нулей в активе. Я тоже отнюдь не беден. У меня пять магазинов, а скоро будет шесть. У меня есть одно заповедное местечко на острове, о нем я тебе еще не рассказывал. Правда, нас у родителей девять человек детей... Но, может, хватит об этом, Лоранс?

Он умолк. Они стояли лицом к лицу, так близко, что их носы почти соприкасались. Она сжала его руку. Он оттолкнул ее, высвободился из ее хватки, сел на плетеный диванчик, который жалобно заскрипел под ним. Откинувшись назад, посмотрел ей в глаза и произнес – тихо, очень быстро:

– Ты сказала лишнее.

По лицу Лоранс пробежала судорога. Она наклонилась к нему.

– Что я такого сказала?

– Ты выложила на одну чашу весов шестьдесят два килограмма мяса. А на другую – шестьдесят два килограмма долларов. Ты совсем рехнулась.

– Я знаю.

Она была бледна, в ее глазах блеснул страх. Она села напротив него в плетеное голубое креслице. Солнце коснулось ее лица, и глаза сделались черными. Она попыталась отодвинуться. Но кресло зацепилось ножкой за плитку пола, и она, как ни старалась, не могла сдвинуть его с места. У нее выступили слезы на глазах, когда она встала, разогнув свое длинное прямое тело манекенщицы. Но она все же отважилась пошутить:

– Скажите, пожалуйста, целых шестьдесят два килограмма долларов! Ты случайно не привираешь?

Он видел, как она двигает кресло, как уходит от солнца, уходит из его жизни. Видел, как уходит его влечение к ней.

Лоранс так и не удалось сдвинуть кресло, и она решила пересесть на желтый табурет.

– Умираю от жары. Мюриэль опять забыла притворить ставни.

И она показала ему издали свои руки – такие красивые, с короткими ногтями, с рубином-кабошоном на пальце, но липкие. Она тщательно обмазывала их кремом перед тем, как выставить на солнце, – иначе, по ее глубокому убеждению, в будущем им грозило покрыться коричневыми «цветами смерти». Она бдительно следила за тем, чтобы в доме было как можно прохладнее. Это стало настоящей манией. Она непрерывно проверяла, закрыты ли в доме все

ставни, все двери. Он смотрел, как она красится. Мысленно попытался прикинуть, в каком букете из тюльпанов и гладиолусов могли бы выразиться шестьдесят два килограмма долларов. Затем начал подсчитывать, какую сумму они составили бы в пакистанских рупиях. Исподлобья взглянул на нее: она сидела на своем дурацком желтом плюшевом табурете, как всегда, напряженно выпрямившись. Положила тюбик с кремом. Взяла щеточку для туши и, прикусив губы, затаив дыхание, подчеркнула ресницы. Две капельки духов, поблескивая, медленно стекали из подмышек и постепенно гасли в тени.

Эдуард находился в Шамборе, рядом с тетушкой Отти. Оба крепко сжимали палки от метлы, изо всех сил растягивая прикрепленный к ним тетушкин лозунг, чтобы на гладком полотнище можно было прочесть ярко-красную надпись:

ЖЕСТОКОСТЬ В ОПАСНОСТИ!

Шел проливной дождь. Демонстрация во имя спасения соколиных пород была назначена на десять часов, но он приехал в половине седьмого. Тетушка Отти еще не собралась. В этот день разрешено было говорить вслух. Тетушка Отти потащила племянника в свою спальню. Села перед маленьким зеркалом и сказала:

– Погоди, малыш, дай мне время причепуриться.

Она долго красилась, потом воздвигла свой монументальный шиньон, осыпала щеки прозрачной рисовой пудрой и аккуратно растерла ее бархатной пуховкой и кисточкой. Мало-помалу ее лицо розовело и молодело; теперь она слегка походила на бабушку Рубенса, Барб Арент, чей портрет, написанный в 1530 году, когда ей было двадцать лет и она была счастлива, поныне можно увидеть в спальне Рубенса на Вапперстраат, в Антверпене.

Перед тем как пойти в ванную, тетка дала ему прочесть сочиняемую ею петицию, желая узнать его мнение. Это должно было стать ее следующей «акцией».

– К началу школьных занятий в сентябре, – пояснила она.

Черновик петиции был озаглавлен так «Кампания против преследования хищных птиц». В тексте, полном статистических выкладок, объяснялось, что европейские виды пернатых хищников исчезают один за другим. В Европе для них было только два безопасных периода – Первая и Вторая мировые войны – благословенные времена, когда люди до того подобрали к хищным птицам, что объявляли им перемирие целых два раза по четыре года. В своей листовке тетушка Отти призывала к третьей мировой войне во имя спасения соколиной породы.

В десять часов они тронулись в путь. Дождь лил как из ведра. Наконец манифестанты добрались до замка. Лицо тетушки Отти, с головы до ног закутанной в свой К-Way,^[55] сияло от радости под пластиковой косыночкой в розовый горошек, укрывавшей от ливня ее шиньон. Демонстрация явно проходила успешно: целых семь участников, считая их самих. Здесь были

местный кюре, мясник, две представительницы лиги феминисток и рокер с зелеными волосами, прикативший из Орлеана.

Она бежала по пляжу в ночной рубашке, стаскивала рубашку через голову, швыряла на мокрый песок и плыла прямо к плоту.

Роза ван Вейден относилась к той категории женщин, которые могут спать где угодно. В любое время, хоть четверть часика. На диване. В машине. За столом. На пляже у воды. Она злоупотребляла спиртным, ей вечно не сиделось на месте.

Эдуард все же позвонил Лоранс. Они заключили мирный договор. Вернувшись в Киквилль, он был представлен малютке Адриане, рыженькой и крайне степенной четырехлетней девочке с пухлыми красными щечками. Она была одета в короткое легкое серое платье и держала в руках маленькую красную сумочку из пластика – миниатюрную копию сумки своей матери. Она не захотела подойти к Эдуарду. Как не пожелала и раздеться. Она смиренно сидела на куче бурого песка у самой воды и созерцала морские волны. Вероятно, она представляла себя по очереди то морем, то пеной, то мусором, качавшимся на волнах; услышав крик чайки или собачий лай, она испуганно вздрагивала. Ее оглушал шум волн, которые море с сотворения мира разбивало о берег. Она дернула Эдуарда за рукав свитера – он носил свитер, и это в июле-месяце!

– Гляди что я тебе покажу, – сказала она. – Сейчас я кувыркнусь.

Она присела на корточки. Мягкое летнее платье вздулось пузырем и опало, прикрыв ей ножки и опустившись бело-серым кругом на влажный песок. Адриана вытянула свои маленькие руки, положила их ладошками на песок, подняла задик и... свалилась на бок. Но тут же вскочила, ужасно разозленная, и убежала.

Он глядел, как она бежит по пляжу, спотыкаясь от злости; как болтается, не в такт ее шажкам, красная сумочка.

Оседлая жизнь в течение нескольких дней – такого Эдуард не помнил с самого детства, со времен пансиона, когда он, вернувшись в Антверпен, впал в депрессию. Ему было тогда восемь лет; две недели подряд его лечили сном, а потом отправили в католический пансион Эрекена. Три дня на одном месте, в Киквилле, – это было равнозначно пансиону. Тому самому пансиону в Эрекене. Однажды ночью, лежа возле Лоранс, он проснулся от воспоминания об Эрекене. И услышал звон будильника. Этот звук напоминал кряхтение древней кофейной мельницы, натужно перетирающей зерна. Эдуард, сам не зная почему, возненавидел его. Он встал, пошел на кухню. И вышвырнул будильник в мусорное ведро. Потом вернулся в постель к Лоранс.

Лоранс плохо себя чувствовала. Отец звонил ей и торопил с приездом к нему в Марбелью, но Лоранс боялась, что ей там будет слишком жарко. Она и так страдала от зноя, обрушившегося на Ла-Манш. Эдуард заснул рядом с ней. Она встала.

В кухне Лоранс, обливаясь горячими слезами, вытащила будильник из кучи мусора и объедков, отмыла его, отчистила, завела. Это был подарок ее отца. Эдуард просил у нее прощения. Она наотрез отказалась простить его. Он отправился в магазин и купил ей радиобудильник, сверхсовременный и сверхбезобразный. Преподнес его Лоранс. Она развернула нарядный пакет, с ненавистью взглянула на подарок, приказала Эдуарду следовать за ней в кухню, открыла мусорное ведро, торжественно швырнула в него будильник и, обернувшись, молча посмотрела ему в глаза.

– Да, ты умеешь прощать, – сказал он.

Они вышли из кухни. Адриана, носившаяся по двору на велосипеде с литыми шинами, едва не врезалась в них, лихо развернулась на гравиевой дорожке, пересекла мокрый газон и скрылась за домом.

– Ты никогда не думаешь о других, – говорила она ему. – Ты не думаешь обо мне. Ты равнодушный человек. Нет, ты бездушный!

– Я и не собираюсь думать о других. И не собираюсь уподобляться другим. И лезть им без мыла в душу. И думать за них. И командовать ими. Я стараюсь думать только о себе и не допустить несчастья. Не люблю несчастий.

– Ты любишь так, как младенец любит есть, пить, возить по полу машинки, спать, получать удовольствие... А мне не нужен целлулоидный голыш.

Эдуард уже повернулся к ней спиной и направился к дому. Она побежала за ним. Схватила за плечо.

– Прости меня! Ну прости! Но отчего же ты так равнодушен?

Он потребовал, чтобы она извинилась за слово «целлулоидный». Она согласилась извиниться за слово «целлулоидный». Но он решительно отрицал обвинение в равнодушии.

– Я уверен, что способен на любовь. По крайней мере, я уверен, что когда-нибудь смогу полюбить по-настоящему. Что-то укажет мне на это, я уверен. Я все время ищу кого-то. Мне трудно объяснить это чувство. Я ищу. Может быть, тебя. Но я не знаю точно, тебя ли. Просто знаю, что мне будет явлен некий знак, некое имя. Знаю, что однажды внезапно все взорвется и разлетится вдребезги. И тогда придет любовь.

– А как же все твои игрушки: и они взорвутся?

– По-моему, это самое древнее из всех слов любви. Между любовниками ведь тоже происходит взрыв.

– И что же остается?

– Нечто вроде белого осадка, похожего на снятое молоко. Это и есть кровь любви. А теперь я ухожу.

– Ну и уходи!

Лоранс убежала в дом. Прошла прямо в гостиную, раскрыла пианино, взяла оглушительный нестройный аккорд. Вздогнули и зазвенели хрустальные висюльки четырехсвечных жирандолей, развесивших свои бронзовые ветви на передней панели инструмента.

В это время Эдуард спускался на пляж. Он не стал садиться – стоял, зарыв ноги в обжигающе горячий песок, и смотрел на Розу. Она выходила из моря, отряхиваясь от воды; в каждой капельке сверкало солнце. Издали Роза выглядела самой спортивной из всех знакомых ему женщин, и он любовался ее великолепным, стройным, мускулистым телом, темным от загара, блестящим от воды. Только маленькие крепкие груди и шея были чуть светлее и казались красноватыми на солнце.

Это тело было воплощением жизни, силы, света, наслаждения. Роза подошла к нему, схватила полотенце, высморкалась, протерла глаза, улыбнулась ему. И подумала, вытираясь: «До чего же он тощий!» Она крикнула:

– Лоранс!

Лоранс шла к ним в джинсах и белой майке, с нотами под мышкой; ее голову прикрывала широкая соломенная панама. Лоранс взглянула на Эдуарда:

– Ты еще здесь?

– Да. Прекрасная погода.

– Только спится плохо. Слишком жарко, – заметила Роза.

– Жарко никогда не бывает «слишком», – возразил Эдуард.

– У меня сейчас период бессонницы, – сказала Лоранс.

– У меня период бессонницы, – повторил Эдуард, садясь на песок.

– Мам, мне песчинка в глаз попала, – объявила подбежавшая Адриана.

– А мне попала песчинка в сердце, – сказала Лоранс.

– Ну-ка покажи, – сказала Роза.

– Мам, мне больно, – заныла Адриана.

– Да не закрывай же глаза, иначе как я ее выну?

– Мам, они сами собой закрываются.

– Вот почему ясный взгляд на вещи – весьма редкое явление, – заключил Эдуард.

– Ага, вижу. Да это просто ресничка, – сказала Роза.

– Ты мне больно делаешь! – вскрикнула Адриана.

– Готово, вот она! – и Роза показала дочке уголок платка с извлеченной ресницей.

– Ура! Ура! – закричали вместе Адриана и Эдуард.

– Некоторые люди уделяют внимание одним только мелким, ребяческим, нелепым вещам. Они не замечают любви другого человека, какая-нибудь жалкая ресничка способна заслонить им целую вселенную, – сказала Лоранс.

– Никак не пойму, на кого ты намекаешь, – ответил Эдуард, пристраивая поудобнее ноги на раскаленном песке.

– Да черт с ним, с этим ясным взглядом на вещи! – сказала Роза, кончив вытираться и улегшись на купальное полотенце.

– Ясный взгляд на вещи – это болезнь, – сказал Эдуард, стаскивая с ноги белую кроссовку с надорванным краем.

– Я проголодалась, – сказала Роза.

– Я страшно проголодался, – сказал Эдуард.

– А я совсем не голодна, – сказала Лоранс.

Он складывал чемодан. Недавно он вернулся с пляжа вместе с Адрианой ван Вейден, которую домашние звали Адри. Взбираясь по узкой пыльной тропинке, девочка доверчиво подала ему руку, и это почему-то обрадовало его. Они сделали крюк, чтобы купить мороженое в соседнем городке. Там был базарный день. Он купил Адри мороженое. Себя он ублажил вафельной трубочкой. Возле рынка он потратил еще десять франков, купив две игрушечные машинки в грязной картонной упаковке – темно-синий полицейский джип и бесценную, крайне редкую черно-белую *Quatre-chevaux speciale*, так называемую «Сороку»; их-то он в данный момент и паковал.

Вдруг зарядил дождь, и они побежали домой. Девочка снова сунула ручку в руку Эдуарда, и ему показалось, что нет на свете ничего милее этого тепленького комочка, неожиданно зашевелившегося в его сомкнутых пальцах.

Он уехал. По дороге остановился поужинать в ресторане гостиницы, стоявшей над морем. Спросил, можно ли здесь заночевать. Ему ответили, что остался всего один свободный номер – маленькая комнатка без особых удобств, под крышей. Он согласился. Дождь утих. Еще не стемнело. Поев, он вытащил шезлонг на террасу и устроился возле пунцового боярышника в кадке, поближе к низкому бетонному барьеру, отделявшему ресторанный зал от моря. Было тепло, тихо. Он пошел к машине, достал каталоги продаж, журналы. Уселся лицом к морю, поставил ноги на бетонную стенку и, наслаждаясь последними закатными лучами солнца, делал вид, будто изучает каталоги продаж. А сам слушал, как вздыхает и шелестит море.

В десяти веках отсюда море, которое он созерцал, бороздили драккары викингов. В десяти тысячах километров отсюда – в море османов, в Индийском океане – Джон Эдмунд действовал как истинный пират и захватчик кораблей. Он открыл в себе невиданную, свирепую жестокость. Эдуарду не терпелось снова объехать Париж, Нью-Йорк, Брюссель, Рим, Лондон. Он вспомнил, что на староисландском языке имя Эдуард звучало как Ятвардр. Он говорил себе: «Колебаться – значит терять. Медлить в нерешительности – значит подставить горло или сердце вражескому ножу. Нельзя увлекаться созерцанием, иначе теряешь почву под ногами. Что я делаю здесь, сидя между морем и красным боярышником? Нужно шевелиться, нужно непрерывно пребывать в движении. Как море у стен Антверпена, в Келене или Хатинохе, в Лервике и Дахране. Все живое должно мчаться, мчаться как можно быстрее, спасаясь от двух угроз – безмолвия и смерти. Жизнь – это либо абордаж, полный неожиданностей и нападений, либо крушение, чреватое ужасом и тоской!»

«Итак, в бой! – твердил он, стараясь убедить самого себя. – Не нужно жалеть силы. Не нужно экономить время. Я чувствую, что это самосозерцание грозит мне гибелью. Взять хоть древних викингов из исландских саг: ни одного лишнего слова, лучший ответ – удар ножа, смерть за смерть. Бог Тир лишился правой руки за то, что вступил в сговор со смертью. Он дал имя городу, где я родился. Нужно всегда сохранять это кровавое равновесие: пятьдесят процентов – в задаток, пятьдесят – при конечном расчете; любое нарушение влечет за собой удар из-за угла, опасность крадется за тобой, как тень, даже любовь должна состоять наполовину из сладчайшего животного наслаждения и

лишь наполовину – из человеческих чувств. Всякое слово должно означать реальную вещь. Всякую красоту должно не только созерцать, но и брать. Любое высказывание – уже обязательство. В каждый миг нашей жизни мы сталкиваемся, в преддверии нашего безжалостного судии – смерти, – с ветром, с голодом, с энергией, которую нужно собирать и накапливать, с пивными оргиями, с похищениями красивейших вещей, с самыми теплыми шерстяными одеждами, в которые так приятно кутаться, с тишиной, с чудом тишины, со стонами наслаждения в тишине, с усталостью, защищающей даже от страха, с теплом и благословенным забытьём усталости».

Он вслушивался в мерное дыхание моря. За его спицей шелестел боярышник. Он стряхнул с колен каталоги «Галереи Шартра» (он был подписан на «Полишинеля»), «Газетт де Же»,^[56] Международный каталог игрушек и кукол, «Куклы и игрушки», Бюллетень кукольников. И сладкая радость снизошла на него, когда он почувствовал, что веки его смыкаются, журналы падают наземь, взгляд уже затуманен и подступает дрема, а следом тихий сон, и пока еще неведомо, что он несет ему после встречи с обитателями сновидений, – исчезновение мира, возникновение иного мира и в глубине этой бездны миров вокруг крошечного, свернувшегося клубочком тельца чуточку влажной темноты, теплой и глухой тьмы, предшествующей рождению.

Глава XII

*К ребенку, рожденному ею на свет,
Мать нежности меньше питает.
Расин^[57]*

Самолет лег на правое крыло. Эдуарда ослепило солнце. Он поднес руку к глазам. Прикрыл ею глаза. Один крошечный Бог придумал создать по своему образу и подобию маленький народец, который он отделил от всех прочих народов, который защитил, изничтожив всех его врагов, который привел в землю обетованную и которому обещал свое вечное покровительство. Этим маленьким народцем были коллекционеры. Они постоянно воевали между собой, хотя Бог и не нарушил своего обещания. Скоро он прилетит в Рим. Ему вспомнилось, как он и его братья готовились к сражениям *repernotes*^[58] на масленицу, в Антверпене. Они всей ватагой врываются в кухню, скатывали из теста колбаски с зернышками перца и другими пряностями, лепили маленькие душистые булочки и бежали сражаться с друзьями на соседние улицы – Юденстраат, Хюидеветтерс, Меир, Рубенсстраат, Ланж Гастхюис-страат.

В самолете было очень холодно. Кондиционер не работал. Эдуард раздвинул пальцы: солнце все так же било ему в глаза сквозь стекло иллюминатора. Но несмотря на эти яркие лучи, он ужасно продрог.

Подобный кровавый отсвет мелькал во взгляде самого преданного из друзей – во взгляде Иуды. Тот, древний мир непрерывно напоминал о себе во всех простейших жестах сегодняшних людей: когда они касались своего тела,

мастерили игрушки, лепили тесто, полировали камни или пряли шерсть. Он говорил себе: «Первая нить есть тот вечный нерв, что неотделим от удовольствия живых существ, находящихся в одиночестве, от удовольствия, которое ощущаешь кончиками пальцев в раннем детстве, в миг пробуждения. Осторожно вытягиваешь волоконца из одеяла и долго-долго скручиваешь их большим и указательным пальцами, пока эти тонюсенькие шерстинки не сплетутся в настоящую нить, или веревочку, или косичку, которую можно намотать на какой-нибудь стерженек». Одеваться – значит обматывать свое тело нитью. Франческа вечно мучилась с этой проблемой – в какую нить ей облечься. Франческа хотела перекупить у него бутик, собираясь посвятить себя торговле пиджаками и юбками из натурального льна. Любовь превратилась в ненависть – так нежные волоконца, скрученные вместе, превращаются в удавку. Нет, он не пойдет к ней, по крайней мере не сразу. И магазин он ей не продаст. Прежде всего он увидится с князем де Релем. Потом съездит во Флоренцию. Первым делом нужно повидать Антонеллу в ее мастерской и во что бы то ни стало убедить ее вернуться к нему. Пусть даже угрозами. Когда показываешь зубы, трудно различить, смеешься ты или хочешь укусить. Они коллекционировали *repernotes* предков.

Один толчок, второй, третий. Самолет коснулся земли, притормозил. Эдуард расстегнул ремень безопасности, поднялся, взял свою сумку. Долго топтался в очереди на контроль, рыча от нетерпения. Он думал о Ренате, которую ему предстояло увидеть через несколько минут. Думал о тетушке Отти, уподобившейся в своем шамборском уединении матери Анжелике.^[59] Все они были одиноки. Все коллекционировали упавшие со стола крошки хлеба, который преломил Господь накануне своей смерти. И жадно выхватывали друг у друга самые мелкие, самые черствые из этих крох.

Он взял такси. Было еще слишком рано. Ренаты на месте не оказалось. Он попросил отвезти его на улицу Коронари^[60] (ибо маленькие машинки также суть зернышки четок, которые перебирают святые и безжалостные руки). Он выпил кофе на углу улицы, присев за маленький железный столик.

Он думал о своей тетке. Вдруг ему пришла в голову мысль: а не купить ли какой-нибудь монастырь или старую церковь? При том что он искал отнюдь не Бога, отнюдь не красоту. Он повторял про себя имена городов: Рим, Флоренция. Нет, не красота воодушевляла его на эти безумные метания по городам и весям, пешком, на поездах, на самолетах, за тысячи километров, ради заказа, ради коллекции. Это было другое – поиск, не имевший названия, чьей целью не были даже крошки того преломленного хлеба. Может быть, где-то внутри него жила, подобная неясному, неутоленному и непреходящему голоду или жажде, тоска по какому-то забытому имени. Может быть, это и была красота. На углу улочки в Риме, рядом с мостом Сант-Анджело, торговец мелкими предметами родом из детства, облокотясь на железный столик кафе, мечтал о красоте. Может быть, где-то в недрах его памяти таилась печаль по неведомому миру, где все сущее пока не обрело названия, не стало предметом мены, купли-продажи, не начало

переходить из рук в руки. Печаль по тому, чего нельзя найти, по вещи, которую невозможно отыскать, по существу, которое невозможно увидеть. Это было первобытное ощущение, сравнимое разве что с голодом. Жадным, нетерпеливым голодом по чему-то, что нужно вывести из обращения и навсегда присвоить одному себе. Все коллекционеры, которых он знал, были алчны до безумия. Все до одного были одержимы стремлением вырвать бесценную находку из заколдованного крута, где все решают деньги, и скрыть ее от глаз даже тех, кто был бы счастлив бескорыстно любоваться ею. В результате жилище коллекционера превращалось в храм. В результате каждый из них становился жрецом этого храма, королем, восседающим на сундуке со своими сокровищами. Более того, он приобщался, если можно так сказать, к самой плоти Господней, ибо владел священным предметом, реликвией, как бы она ни называлась, то есть вещью, имевшей отношение к самому Богу – или к детству, или к непорочности, или к обету молчания.

Он отодвинул кофейную чашку на самый край железного столика. Римское небо напоминало пряжу из желтой шерсти. Он положил обе ладони на холодный стол. Потом соединил их, точно для молитвы. И подумал, что есть существа, физическое обладание которыми невозможно. Существа, которыми можно наслаждаться лишь созерцая их. Именно возможность созерцать предмет, ставший бесполезным, медленно преобразовала хищный поиск в благоговение перед недоступной добычей. Их было человек двести-триста – таких любителей бесконечно долго разглядывать ставший бесполезным предмет родом из детства. Они жертвовали для него всем, что имели, – любовью, жизненными радостями, временем, целыми состояниями. Внезапно ему стало очень холодно. Он снял руки с железного стола. Он до того озяб, что в самом разгаре июля возмечтал о жареных каштанах – вкусно пахнущих дымком, в закоптелых лопнувших скорлупках, ужасно горячих, но так приятно обжигающих ладонь и губы.

Может, Лоранс и права, может, его и впрямь погребли под собой игрушки? Может, другое, более скромное занятие приносило бы ему меньше денег, зато больше душевного покоя? Но нет: он принадлежал к племени маньяков, способных коллекционировать обувные коробки или кусочки сахара с вытесненными на них названиями отелей. Коллекционировать синяки, украшения, татуировки, военные шрамы, ордена, пластмассовые заколки, мертвецов, симптомы болезней.

Он взревел от боли, скорчившись над верстаком. Миг назад Антонелла вонзила ему отвертку в живот, по самую рукоятку. Навалившись на верстак, он из последних сил пытался опрокинуть его на Антонеллу. Тяжелое деревянное сооружение нерешительно качнулось и вдруг мгновенно рухнуло. Антонелла было отпрыгнула, но верстак успел придавить ей ногу. Она тоже закричала.

Эдуард не мог разогнуться. Запах жженой рыбьей чешуи сдавливал горло. Наконец он кое-как выбрался во двор. Из раны обильно текла кровь. Он с трудом дышал. Цепляясь за штабеля бочонков с маслом, добрал до машины, сел

в нее. Приехал в гараж, не выходя из машины, попросил хозяина вызвать врача к Антонелле, дал ее адрес. Сидя, он меньше страдал от боли. Зато кровотечение не унималось. Он добрался до Флоренции. Перед глазами у него стояло разъяренное лицо Антонеллы в тот момент, когда он открыл дверь мастерской. Она отвечала «нет», мотая головой, выражая отказ обеими руками, волосами, всем телом. Он говорил с нею мягко, пытался убедить. Едва его затылок опустился на клеенку медицинской каталки в больничном дворе, он потерял сознание.

Тетушка Отти сидела в глубоком кресле с темно-фиолетовыми подушками возле камина, в котором сегодня не разводили огонь. Нынче был день молчания. Напротив нее в шезлонге полулежал Эдуард, скрестив ноги на скамеечке. Он долечивался в Шамборе. Во Флоренции Эдуарду Фурфозу оказали первую помощь, после чего перевезли в Рим, где он пять дней провел в клинике.

Довольно скоро он смог, опираясь на палку, выходить в сад и сопровождать тетушку Отти в ее «процессиях». Так, он сопровождал ее в процессии, посвященной молодому орешнику, и в другой, посвященной клубнике.

Ходили они и к лесной опушке, вдоль берега Коссона, вдоль пруда Добряков. Однажды, сидя на взгорке у Нового пруда, тетка вдруг прижала палец к губам, требуя молчания, и указала ему на небо. Подняв голову, он впервые в жизни услышал свист летящего вниз тела: это сокол-сапсан, сложив крылья, отвесно падал на свою добычу. Сокол-сапсан нацелился на утку-крякву. Этот свист гипнотизировал сине-зеленую утку – по крайней мере, так полагала тетушка Отти; и в самом деле, птица как будто добровольно подставляла спину когтям пикирующего на нее хищника.

Эдуард был буквально зачарован султаном, украшавшим шляпу тетушки. Головной убор матери аббатисы для выхода в лес Шамборского заповедника и впрямь выглядел сверхоригинально: уменьшенная копия шляпы Людовика XI с перьями красных куропаток и фазанов водружалась на верхушку Эмпайр Стейт Билдинга из пламенеющих волос и крепилась к ним с помощью булавки.

Однажды тетушка Отти и Эдуард Фурфоз дружно погрузились в молчание и узрели Бога. Сокол-кобец, затаившийся в листве граба, нервно взмахнул крыльями и белой молнией промелькнул сквозь ниспадающие косы плакучей ивы на берегу пруда Добряков. Бог всегда является именно так – в легких дуновениях ветерка, в звездах, неразличимых в дневном небе, в ночных отзвуках снов, если от них не сохранилось даже воспоминания.

Они заявили в Шамбор всей компанией, чтобы ускорить его выздоровление. Адриана прыгала, составив ножки. Лоранс прыгала. Роза и Юлиан тоже прыгали на плиточном полу кухни, чтобы стряхнуть грязь с подметок Странный старозаветный балет у входа в пещеру на берегу Ломмы, у подножия эскарпа, над которым высился холм Фурфоза.

К несчастью, их приезд пал на день молчания. Лоранс и Юлиан были поражены видом старой дамы, чьи глаза метали молнии – при том, что она не

произносила ни слова. Как только утих дождь, они вышли во двор. Малышка Адриана хлопала в ладоши, чтобы согреть руки. На ней была зеленая курточка с пушистой желтой меховой оторочкой на капюшоне. Роза надела на свои короткие волосы зеленую, с бронзовым отливом, парусиновую шляпу военного образца; она смотрела на дочку, которая вдруг присела на корточки. Снова припустил дождь.

– Я играла в детстве точно так же, – шепнула она Лоранс; по ее лицу сбегали капли дождя.

Адриана, в низко нахлобученном капюшоне, встав голыми коленками на траву, старательно точила о камень свой перочинный ножик. Мурлыкая под нос песенку, она проводила по камню то одной, то другой стороной лезвия, потом втыкала его в землю, чтобы очистить. И так сто пятьдесят или сто шестьдесят раз.

– Ты уже не хромаешь, – сказала Роза.

– Я что-то зябну, – ответил Эдуард.

– Смотрите все, я сейчас кувыркну! – закричала Адриана.

– Лучше не надо, а то заляпаешь грязью ковры мадам Фурфоз, – сказала Лоранс.

Тетушка Отти, в своей шляпке а la Людовик XI, что-то мычала, пожимая плечами.

Адриана присела на корточки, положила маленькие ладошки на мокрую мшистую землю, подняла задик и... плюхнулась набок, в заросли папоротника.

– Черт, черт! – закричала Адриана ван Вейден.

И, расплакавшись, побежала к дому.

Роза отворила балконные двери, прикрыла ставни и снова заперла двери. Эдуард раскладывал в очаге сухие ветки, разводил огонь. Юлиан стоял рядом, держа наготове толстое полено и зачарованно глядя на пламя, игравшее отсветами на его лице.

В саду раздался крик. Все замерли. Переглянулись. Лоранс вздрогнула. Они услышали тот характерный мягкий хруст гравия, который раздается только под колесами велосипеда.

В кухонную дверь постучал почтальон. Тетушка Отти сидела у себя в спальне. Лоранс, опередив хромавшего Эдуарда, подбежала к двери, приняла телеграмму. И облегченно вздохнула, увидев, что та адресована не ей. Она постоянно – как ей чудилось, с самого своего рождения – боялась вести о смерти отца. Она протянула телеграмму Эдуарду. Он торопливо вскрыл ее у всех на глазах. Послание было от Пьера Моренторфа.

Месье. Каково бы ни было ваше самочувствие, приезжайте. Не звоните. Приезжайте.

Пьер Моренторф

Эдуард объявил, что едет после ужина. Он попросил Лоранс отвезти его, машины у него не было, а рана все еще болела. Он подошел к Юлиану, сидевшему у камина, и устроился в глубоком темно-фиолетовом кресле с подголовником. К нему подошла Адриана. Она весело болтала, опершись на

колени Эдуарда. Чей-то неясный призрак ставил воображаемые гирьки на воображаемые весы.

Потом Адриана притулилась к нему поудобнее, выпрямилась и начала что-то выписывать в воздухе пером скопы, которое подарила ей тетушка Отти. Эдуард смотрел, как Адри, закусив губки, прилежно выводит невидимые слова на невидимой бумаге. А сам вспоминал: «Чернила пачкали сначала большой палец, потом железную вставочку ручки, указательный и средний пальцы. Они были фиолетовые, но пятна на пальцах казались черными; розовая кожа белела от напряжения, и на ней больно отпечатывался край вставочки. В классе пахло запотевшим железом и мелом, грязной кожей и сухой листвой. И пахло жавелевой водой, которой мыли школьные классы на улице Мишле. И еще пахло тишиной. К извечной пустой тишине примешивалась испуганная тишина послеполуденных диктантов, пахнувшая чернилами и нарушаемая лишь скрипом железных перьев, которые царапали бумагу и тихонько цокали о выщербленные, измазанные края фаянсовых чернильниц».

Адри дергала его за рукав свитера. Совсем так же, как его бывшая соседка по парте, подружка по страданиям на классных диктантах. Рукав свитера, за который она дергала, вытягивался, терял форму. Она вытаскивала из кармана кофточки сиреневый леденец и властно совала ему в рот. Он вспомнил, что к леденцу прилипла шерстинка от кофточки.

– Сейчас увидишь, – сказала она ему. – Музыка – это такая гадость!

Она с трудом вскарабкалась на вертящийся табурет у пианино. Села, деревянно выпрямилась. Совсем как Лоранс Гено, когда она прохаживалась перед зеркалами примерочного салона на Вандомской площади.

Незнакомая маленькая девочка сидела перед пианино, сложив руки на коленях. У нее было очень бледное личико. Она обиженно выпятила нижнюю губку. Мать подбадривала ее, веля начинать. Она медленно подвернула рукава своего зеленого свитерка. Эдуарду показалось, что она готова расплакаться.

Он встал с кресла, чтобы не видеть ее лица. Сел позади. Увидел вздрагивающую косичку. Увидел маленькую голубую заколку, которая стягивала кончик косы, – от нее веяло такой горькой печалью...

Между тем Адри шлепала Эдуарда по ноге, требуя внимания. Она жестами показала ему, как разглаживает воображаемый лист бумаги. Сжала губы. Наморщила лоб. Сложила три пальчика на птичьем пере. И принялась водить пером в воздухе. Через две-три минуты этого безмолвного писания в пустоте Эдуард спросил:

– Адриана, кому ты пишешь?

– Боженьке, – ответила она.

Глава XIII

*В начале было так мало
востока и запада, что и поныне
у нас нет севера и юга.*

О-Хуса [61]

Эдуард Фурфоз сидел на полу. Таким образом его голова была на одном уровне со старым кленом Бюргера высотой пятьдесят шесть сантиметров, с чахлой кроной и серым, явно больным стволиком: в одном месте кора отвалилась, обнажив красноватую древесину. Это походило на миниатюрное извержение лавы, стекающей по опаленному боку миниатюрного вулкана. Клен цеплялся корнями за черную, усыпанную камешками землю в серо-белой керамической вазе Кошена,^[62] поблескивающей в слабом свете комнаты.

Он глядел на клен и вдруг ощутил пожатие чужой руки.

Пьер Моренторф держал его за руку. Он был крайне угнетен. Он молчал. До сих пор он не произнес ни слова. Наконец он жалобно прошептал:

– Поверьте, месье, я вовсе не хотел следовать моде. Но сомнений нет: я страдаю болезнью, которая ныне пользуется довольно громкой славой.

Его голос дрожал. Пьер Моренторф торопливо прикрыл рукой глаза. Эдуард увидел его дрожащие губы. Он не знал, что ответить. По-прежнему пристально смотрел на клен Бюргера. Потом сказал:

– Вам не кажется, что здесь жутко холодно?

– Нет, месье.

– Вы не могли бы переключить отопление, чтобы было потеплее?

– Да, конечно. Но только...

Пьер Моренторф побагровел, как петушинный гребень. Эдуард бросил на него разъяренный взгляд. Потом тихо спросил:

– Сколько вам осталось жить?

– Они полагают... они назначили... В общем, они не знают. Я не знаю.

– Вы собираетесь бросить работу?

– Откровенно говоря, нет, месье. Если только вы не прикажете...

– Вы работаете. И будете работать. Прежде всего вам нужно решиться сесть в самолет. Я хочу, чтобы вы поехали в Штаты на один-два месяца.

– Нет, месье.

– Да!

– Я скорее покончу жизнь самоубийством, чем сяду в самолет.

Эдуарду так и не удалось переубедить его.

– Месье, я хотел бы кое о чем попросить вас.

– Да?

– Мне хотелось бы завещать вам мои бонсаи.

– О нет, не надо, Пьер. Об этом и речи быть не может.

– Дайте мне вашу руку, месье.

– Пожалуйста.

Они помолчали. Затем Пьер выпустил его руку и встал со словами:

– Я хочу кое-что показать вам.

– Только принесите мне пива.

Пьер Моренторф вернулся со стаканом японского пива и поставил его рядом с кленом. Его левая рука была сжата в кулак. Великан сел на пол рядом с Эдуардом, раскрыл руку. В углублении ладони лежали маленькие зернышки.

– Если бы месье согласился быть самим собой до конца, ему хватило бы скромной красоты семечка бонсаи. Месье достаточно было бы положить на

кончик пальца одно только семечко черной сосны Тюнберга. Или семечко японского вяза с зубчатыми листьями. И тогда месье увидел бы, как они пускают под землей свои переплетенные корни. Как рождается воздушное кружево их листы. И вы увидели бы птицу, севшую на ветку. И вдруг эта птица запела бы. Тогда месье вынес бы шезлонг. Месье лег бы в тени этой сосны. И открыл бы книгу, или месье захотелось бы открыть книгу...

– А потом я уложил бы семечко в наперсток, на ватную подстилку. И воскликнул бы: о, как велик, как необъятен мир!

На следующее утро, в шесть часов, Эдуард Фурфоз уже был в своем офисе на углу набережной Анатоля Франса и улицы Сольферино. Он позвонил князю де Релю.

– Месье, вы все еще хотите работать для меня?

– Больше чем когда-либо, дорогой друг.

– Я буду просить вас о двух вещах. Во-первых, наше соглашение должно оставаться тайной – главным образом, разумеется, для Маттео Фрире, но еще и для моих собственных сотрудников, для всех, начиная с Пьера Моренторфа.

– До какого момента?

– До тех пор, пока я сам не разрешу вам разгласить ее.

– А во-вторых?

– Залог. Вы должны дать мне залог – неважно какой, любую вещь, которая могла бы вас скомпрометировать.

– Какого рода вещь, дорогой друг?

– Сделка, которая свяжет наши имена. Вы знаете, что я подыскиваю себе квартиру или небольшой дом в Париже. Так вот, мне нужно либо это, либо лот из ценных предметов, которые вы доставите сюда. Но только вместе с письменным документом, где будет фигурировать ваше имя. Меня не устроит тайная операция, подобная перепродаже Мирмекидов.

– У меня имеется лот Жан-Батиста Лене, который высоко ценил Маттео: он знает, что я его владелец.

– Не слышал о таком художнике.

– XVIII век, Квебек. Жан-Батист Лене изобрел миниатюру из волосков.

– Извините, монсеньор, я не совсем понимаю.

– Это крошечные эротические сценки в чуточку грустном лунном освещении. Вот сейчас передо мной как раз лежат часы с пейзажем на циферблате, где мост сделан из пяти-шести... гм... волосков, но не с головы. Эти... гм... волоски являли собой что-то вроде приворота. Они были взяты с лобка женщины, которую любил заказчик...

– Монсеньор, если вы хотите работать со мной, то, прошу вас, будьте кратки. Меня шокирует излишняя эрудиция. В первую очередь научитесь сжато излагать сюжет. Далее указывать точные даты. И наконец обозначать цены.

– Женщина, держащая собачку на поводке, поводок сделан из такого волоска, как я уже описывал. Амур, натягивающий стрелу. Тетива лука Купидона сделана из...

– Нет, не думаю, что это меня интересует. Найдите что-нибудь другое.

– Но эти миниатюры очаровательны!

– Зато слишком далеки от детства. Более того, они вгоняют в тоску.

– Да, они наводят тоску, и это замечательно, дорогой друг. Вот что называется любить по-настоящему. Это приворотные миниатюры.

– Все, что привораживает, меня настораживает. И обращает в бегство. Нет, найдите что-нибудь другое.

– Сколько нас будет за ужином? – спросила Адриана.

– Сосчитай приборы, – ответила Роза.

– Нас пять человек. Кто еще придет? Надеюсь, что Эдвард.

– Да, Эдвард.

– Почему ты его зовешь Эдвард? И почему Лоранс зовет его то Эдвард, то Эдуард?

– Спроси у Лоранс.

– А как говорят у нас?

– У нас говорят Эдвард.

Но к ужину он не вернулся. Роза, Юлиан и Адриана уехали из Шамбора. Отец Лоранс плохо себя чувствовал. И Лоранс в сопровождении Мюриэль отправилась в Марбелью. Роза, Юлиан и Адриана вернулись в Киквилль.

Когда Эдуард Фурфоз добрался до Шамбора, когда он, прихрамывая, вошел в заросший сад «Аннетьера», их уже не было. А Оттилия Фурфоз занималась погребением мертвого орленка. Она потащила племянника в дальний уголок сада, за домик Наполеона III, где было устроено так называемое «кладбище богов». Бережно заворачивая птенца в свою зелено-голубую шелковую косынку, она объясняла Эдуарду, слушавшему ее с неожиданным вниманием, ритуал братоубийственных сражений, принятых у соколов. Птенец, который первым вылутился из яйца, должен был выбросить из гнезда второго, младшего. Эти братоубийственные и некоторым образом воспитательные битвы между старшим и младшим птенцами неизбежно кончались смертельным исходом для одного из них, ибо это было сражение голодных, сражение за право на жизнь. Мать никогда не вмешивалась – напротив, с интересом следила за ходом борьбы. Она относилась к схватке и к убийству одного из своих детей не только одобрительно, но даже с некоторой гордостью. И вела себя иначе, только если шел дождь: в этом случае она укрывала обоих птенцов крыльями, чтобы они бились всухую.

Тетушка Отти положила орленка рядом с трупом белохвостой скопы и засыпала их землей.

Телефонный звонок Мужлана застал его в Брюсселе. Князь только что осмотрел длинную, красивую, довольно светлую квартиру площадью сто шестьдесят квадратных метров, на проспекте Обсерватории. Эдуард бросил все дела, приехал поездом в Париж, увидел квартиру, задрожал от счастья, тотчас заключил сделку.

Лоранс перевезла отца из Марбельи в Солонь, затем отправилась в Киквилль.

Вернувшись из Брюсселя, Эдуард поехал во Флоренцию и уступил бутик Франческе.

В Париже он еще раз осмотрел квартиру и подписал у нотариуса вместе с прежним владельцем акт купли-продажи; после этого ему пришлось пройти Люксембургским садом, через его английскую, западную часть. Почему-то ему захотелось остановиться в аллее возле залитой светом статуи дискобола на замшелом пьедестале. Потом Эдуард долго разглядывал клубочки из травинки и колючек, шуршащие желтые листья, скопившиеся у подножия густых, но блеклых живых изгородей по бокам.

Он сел на железный стул перед зарослями кустов, вполоборота к дискоболу. Сердце его взволнованно билось. Но тщетно он рылся в памяти: она молчала. И только позже, в лифте, поднимаясь на третий этаж, Эдуард вспомнил тот звук, то движение своего тела. Он обернулся назад. Ему было, вероятно, лет пять. И снова он стоял в Люксембургском саду, у подножия лестницы, и снова, чудилось ему, она звала:

– Иди сюда! Иди! Догоняй меня!

Он бежал. Он перегонял ее. И теперь уже она мчалась вдогонку за короткими серыми штанишками. Ей удавалось настичь его. Он мчался мимо статуй королей, петлял между каштанами. Добегал до английского сада, до этих вот кустов, и прятался за железными стульями, в тени, в кустах, неподалеку от статуй Массне и Бранли.

Опустившись на четвереньки, она поползла следом за ним. Земля была усеяна сухой листвой, камешками, голубиным пометом. Самые низкие ветки опутывала паутина, в которой поблескивали дрожащие капельки воды.

– Как здесь холодно! – шепнула она.

– Да, – откликнулся он. – Здесь холодно.

Ему показалось, что это самые прекрасные слова на свете. Они вдруг смолкли и взглянули друг на друга в полумраке зарослей. Ему захотелось повторить эту фразу, которую он находил необыкновенно выразительной:

– Как здесь холодно.

И он отважился:

– Хорошо бы сюда одеяло.

Они сидели под кустом одни, наедине. Огромные железные кресла закрывали их от взглядов гуляющих. Никто в мире не догадывался об этом укрытии. Они были первыми, кто обнаружил этот полумрак, эти сухие листья, эту землю. Вдруг он негромко вскрикнул. Его голую коленку уколола колючая скорлупа упавшего каштана.

– Смотри! – прошептал он, и она посмотрела.

Он с трудом разорвал скорлупку. Извлек влажный плод, гладкий, лоснистый, блестящий. И протянул его ей.

Она коснулась его руки. И он почувствовал, что пальцы у девочки мокрые. Даже больше, чем мокрые, какие-то странные. Она взяла каштан, сжала его в кулачке.

Вдруг перед ними блеснуло светлое пятно, оно легло к бурым, заржавленным ножкам больших железных кресел.

– Гляди! – сказала она. – Солнышко!

Он взял ее за руку выше запястья, и они поползли на четвереньках сквозь кусты; сухая листва и паутина налипали им на колени, спины и волосы. Они вставали и отряхивались – она смахивала грязь с юбочки, он со своих коротких штанишек и голых ног. Теперь они оказались на солнце. Им было как-то неловко стоять на ногах. Яркий свет слепил им глаза.

– Ну пока! – вдруг сказала она и мгновенно исчезла.

Она спала. Вдруг в полусне она почувствовала, как Эдуард ложится рядом, как его нагое тело, вытянувшись, прикидается к ней, губы целуют ее плечо, рука гладит ее живот. Потом почувствовала, что его тело расслабилось, рука соскользнула с ее бедра и отяжелела, губы соскользнули с ее плеча.

Она почувствовала, что его пальцы в ее волосах разжались, все его тело погрузилось в бездну сна. И именно в тот миг, когда он ушел в этот другой мир, она вдруг явственно ощутила, что совсем проснулась, что в ней проснулось желание.

Она лежала не двигаясь, не в силах снова заснуть. Думала об отце и его болезни. Она ездила к нему в Марбелью. Жара там стояла невыносимая. С помощью Мюриэль она перевезла отца в их дом в Солони. Мюриэль осталась при нем. А Лоранс вернулась в Киквилль. Теперь Эдуард был здесь и спал.

Среди ночи они услышали стоны на лужайке. Они проснулись. Эдуард растворил окно. Это была Роза, пьяная вконец. Она никак не могла добраться до дома. Стояла на четвереньках посреди лужайки и звала свою мать. Накануне она решила поехать в ближайшее казино. Кто же довез ее до дома? Эдуард натянул полотняные брюки, спустился, донес ее до спальни и уложил на кровать. Снял с нее туфли. Лоранс расстегнула на ней пояс, стащила чулки. Потом они кое-как сняли с нее плащ и платье. От нее ужасно пахло. Они расстелили постель, укрыли ее простыней. Роза вдруг приоткрыла глаза. И с трудом пробормотала по-французски:

– Черт меня возьми! Черт меня возьми!

Лоранс обтерла ей глаза и рот, потом еще раз смочила в ванной махровую рукавицу и промыла Розе лицо. Роза приподнялась, нагнулась, и ее вырвало прямо на руки Эдуарда.

Ей удалось встать на ноги. Она то извергала рвоту, то хохотала во весь голос. Внезапно она начала мочиться стоя, моча залила ее туфли, стоявшие у постели. Заливаясь хохотом, Роза указывала на них Лоранс.

Эдуард, держа на отлете изгаженные руки, зачарованно смотрел на Розу. Роза ван Вейден была пьяна в дым, от нее воняло, но в то же время она сияла такой полнотой жизни и радостью, каких он никогда еще у нее не замечал. Она казалась ему богиней в золотом одеянии.

– С ней это иногда бывает, – прошептала Лоранс.

– Ну и надралась! Прямо глаза в пучок!

– Что значит «глаза в пучок»?

– То и значит, что она нализалась вусмерть.

- Это как, по-бельгийски?
- Нет. Это по-человечески.

Лето выдалось непогожее. Ветер то и дело приносил дождь, затягивал небо мрачными, черными тучами. Дождевые капли пахли рыбой. Ветер дул так свирепо, что сквозь него нужно было пробиваться силой, да и то удавалось пройти лишь несколько шажков. Под просоленными струями дождя волосы становились липкими, как водоросли. Они остановились в отеле «Пляжный». Темно-красная ковровая дорожка на лестнице скрипела и протиралась от налипшего на ногах песка. В номере было холодно, ставни с трудом поворачивались на ржавых петлях. Они не стали зажигать свет. Роза ван Вейден носила широкие хлопчатобумажные белые шорты детского покроя.

В одном из зеркал платяного шкафа он увидел серый призрак развороченной постели, отражение ее почти бритого затылка, ее черных волос. Она сидела спиной к нему. И делала гимнастику, чтобы размяться. Она всегда ее делала после того, как они занимались любовью, и он, сам не зная почему, чувствовал легкую досаду. Обои в номере были цветастые, но казалось, будто нарисованные цветы изо всех сил стараются выглядеть поярче, повеселее, и это только усиливало ощущение холода. Кресло было обито материей в желто-зеленых разводах, розы на стенах перемежались кистями сирени. На окнах висели полосатые желто-голубые портьеры. На маленьком гостиничном столике рядом с белым молочным кувшинчиком стояли две кофейные чашки и прозрачная вазочка с апельсиновым джемом.

Он слышал шум моря вдали, за портьерами в широкую желто-голубую полосу, которые они плотно задернули на ночь. Вслушивался в более близкий, почти вплотную к задернутым портьерам, звук дождя, налетами барабанившего в полусдвинутые железные ставни. Тоскливо кричали чайки, проносились машины. Эдуард ненавидел шум бушующего моря. Он боялся его. Он думал о брате Лоранс, о том, как тот, умирая, бился в воде. Роза и Эдуард встречались очень редко. На ковре и паркете набралось много песка. Когда они, покидая комнату, наступали на него туфлями или резиновыми сапогами, песчинки противно скрипели, и они брезгливо сжимали зубы.

В их первое свидание, лежа в кровати со спинкой из медных прутьев в этом желто-сине-зеленом отеле, он вдруг смущенно сказал:

- Знаешь, что касается Лоранс...
- Молчи!

И Роза сделала «джеттатуру». Она постоянно делала этот старинный знак. Постоянно выставляла вперед «вилкой» два пальца, чтобы заклясть смерть, которая подстерегает нас в любую минуту.

Г лава XIV

*Люди борются друг с другом
за добычу, которой некогда
обладали в снах и которую
уступили призракам.*

Роза и Эдуард взбирались по склону небольшого холма. Ветер раздувал и задирали Розину юбку. Они остановились возле заброшенной портомойни, устроенной там, где холм переходил в скалу, крутым обрывом спускавшуюся к морю. Тропинка, ведущая к портомойне, была сплошь засыпана пылью – смесью сухой глины и красного песка. Она шла вверх еще метров пятьдесят и терялась в кустарнике. Холодный ветер взъерошивал им волосы.

– Ты любишь смотреть боксерские матчи?

Роза ван Вейден подобрала юбку и прошлепала босыми покрасневшими ногами по воде. В этот уголок никто больше не ходил – всех изгонял ветер. Рошица в двадцати метрах от портомойни давно уже стала свалкой для пустых бутылок, сломанного сельскохозяйственного инвентаря, ржавых стиральных машин и холодильников с распахнутыми пухлыми дверцами старого образца.

Роза и Эдуард лежали ничком у края портомойни, их скомканная одежда валялась рядом. Они только что занимались любовью. Они были обнажены и теперь забавлялись тем, что подталкивали щепочками водяных пауков, бегавших по влажным замшелым краям резервуара, спугивали и разгоняли проворных уклеек, что сновали, посверкивая серебристыми спинками, в темной воде.

Лежа на животе у самого бортика портомойни, Роза спускала на воду чудесную маленькую лодочку – лист-геликоптер, в центр которого она воткнула спичку-мачту. Роза называла «геликоптерами» листья сикоморы. Эдуард смотрел на ее груди, расплющенные мокрым почерневшим деревянным бортиком, на ее руки, бережно снаряжавшие крошечную лодочку для плавания. Смотрел на водяного паука, который бежал к ним на длинных тонких ногах. Он поцеловал Розу в ложбинку ниже талии. Ласточка, промелькнувшая в тени над водой, схватила на лету бабочку, а может, и двух. Погода была тяжелая, предгрозовая.

Она щурилась, стараясь разглядеть их. Лоранс плохо видела. Но у нее не было при себе очков. А эта сцена происходила слишком далеко. Она сидела на вершине холма, среди еще не расцветших кустов дрока, пятьюдесятью или шестьюдесятью метрами выше – над той самой рошицей, что служила деревенским жителям свалкой. Сквозь листву Лоранс следила за движениями двух маленьких розовых фигурок, лежавших на деревянном помосте портомойни.

Одна из них как будто полоскала руки в воде. Вторая приподнялась, поцеловала первую в спину, потом в ягодицы.

Женская фигурка вскочила и начала что-то говорить, обращаясь к мужчине, сердито жестикулируя и дергая его за руку.

Лоранс не слышала, что именно Роза говорит Эдуарду. Она только видела шевелящиеся губы и энергичные взмахи рук, сопровождавшие ее возмущенную речь. Лоранс пыталась понять по этим жестам смысл объяснения. Она еще

сильнее сощурила глаза, но оба тела, которые там, внизу, теперь сплелись в объятии, вдруг начали расплываться.

Слеза, а за ней другие слезы заслонили ей то, что она видела, совсем затуманили эти обнаженные, слившиеся воедино тела, заслонили руки Розы ван Вейден, легшие на член Эдуарда. И Лоранс сдалась: она подтянула колени к подбородку, сжалась в комочек под кустом дрока. Прижала обе ладони к глазам, к носу. И тихо всхлипнула.

Он приехал в Лондон в семь часов утра. Ему было холодно. Уже рассвело, но день все еще походил на ночь: желто-бурый туман целиком поглотил город, и это в самом разгаре августа. Он поклялся себе, что его жизнь будет состоять лишь из радостей, игрушек и удовольствий, и теперь испытывал угрызения совести и смутное недовольство собой. Он всегда придерживался истинно фламандского понимания человеческой жизни как праздника – яркого, продолжительного, ненасытного, грубоватого, сочного, нарядного, разнообразного. У него вдруг сжалось горло.

Он взял напрокат машину, приехал в Килберн, остановился возле разоренной телефонной будки. Улица, как всегда, грязная, затянутая пеленой тумана, наводила уныние, пугала своим видом. Толкнув дверь дома, державшуюся на одной петле, он перешагнул через пьянчужку, спавшую прямо на полу. Выщербленные раковины на каждом этаже были полны застоявшейся мочи. От удушливой вони першило в горле. В разбитые окна вползал туман. Его серые ключья неподвижно висели на лестничной клетке.

Добравшись до пятого этажа, он отпер дверь. Это была маленькая четырехкомнатная квартирка без отопления, без электричества и водопровода; с мокрых стен ключьями свисали обои, кровать представляла собой ледяную могилу, одеяла отсырели и пахли плесенью, все помещение загромождали картонные коробки. В них хранились сказочно ценные, но плохо сбываемые игрушки. Это была пещера Али-Бабы, полная сокровищ, которые нищий подозрительный квартал охранял лучше любых стальных сейфов с хитроумными шифрами. Тут был его заповедник. Трофеи, добытые на войне, которую он вел против своих соперников. Раз в месяц он приезжал сюда ночевать.

Он порылся в коробках. Нашел и упаковал для Тома, который должен был встретиться в полдень с английским лордом – коллекционером игрушек-автоматов, «Бильярдиста» – фигурку на пружине, высотой два сантиметра, раскрашенную в зеленый, черный и гранатово-красный цвета и сделанную Келлерманном в 1920 году. Упаковал также заводную «Торговку зеленью» в желто-коричневом наряде, с сине-красной тележкой – изделие 1890 года. Упаковал черно-белую корову на колесиках, с головой и выменем на шарнирах, впряженную в желтую двухколесную тележку; заводного желтого гуся, хлопающего жестяными крыльями; красно-коричневого снегиря, также из жести, который с веселым щебетом выскакивал из своей белой клетки и возвращался обратно. Ему вспомнились тетушкины хищные птицы, эти живые

безмолвные игрушки, выродившиеся потомки мелких динозавров эпохи мезозоя. Их природный инстинкт – броситься на добычу и унести. Он вышел и купил себе перину.

На следующий день он поехал в Иппинг Форест, к северу от Лондона. Поставил машину на обочине, вышел и надышался свежим воздухом до опьянения. Он шагал сквозь крепкие, влажные, дурманные запахи деревьев, листьев, мхов, земляных червей, грибов. Долго бродил по лесу, думая о двух женщинах. Блуждал в этой голубоватой лесной тени с девяти утра до самого заката – до тех пор, пока прозрачно-голубой сумрак подлеска не сменил свой цвет на серовато-желтый, затем коричневый, а дальше и вовсе сделался неразличимо-черным. Он вернулся в Килберн и заночевал там, свернувшись калачиком под новой периной и слыша сквозь сон крысинуую возню.

– Хочу мороженое! Хочу два шарика! – вопила Адриана.

Эдуард и Адриана лизали мороженое. Они только что вошли на территорию венсеннского зоопарка. День был теплый. Малышка Адриана нетерпеливо требовала, чтобы ей первым делом показали обезьян. Она бежала впереди него.

Он присел на бетонный бортик в нескольких метрах от нее, глядя, как детишки и монахини бросают обезьянам арахис. Обезьяны прыгали с ветки на ветку, искали на себе блох, дрались, оглушительно верещали. Одна из них, подобравшись поближе к Адриане, с громким чмоканием протянула к ней лапу. Адриана нерешительно помедлила, но все же отступила назад и испуганно глянула на Эдуарда. Обезьяна продолжала тянуть к девочке лапу сквозь прутья клетки. Потом она села, искоса поглядывая на Адриану и скаля зубы. Адриана так и не решилась дотронуться до нее. Она со всех ног побежала дальше. Эдуард страстно любил зоопарки. Он подумал о самом прекрасном зоопарке в мире – антверпенском, расположенном в двух шагах от центрального вокзала. По воскресеньям, когда у него выдавалось несколько свободных часов, он часто ходил в Сен-Врен, Антйи, Туари или Эмансе. Накануне они все вернулись в Париж. В настоящий момент Роза провожала Юлиана: тот уезжал на каникулы к отцу в Херенвен. Лоранс проводила выходные у своего отца, в Солони. Эдуард отказался сопровождать ее. Всякие уговоры были бесполезны, он не желал ехать в Солонь. Адриану оставили на его попечение до вечера.

Внезапно он вспомнил о ней и огляделся: Адри исчезла. Он безумно испугался, бросился на поиски. И обнаружил ее в десяти метрах от себя, за коренастым мужчиной в тирольской шляпе. Сунув в рот пальчик, она озадаченно следила за парочкой бабуинов, которые неторопливо, с нежным ворчанием совокуплялись у всех на глазах. На губах самки блуждала улыбка Леонардовой Джоконды, только более нежная, более блаженная. Внезапно любовники издали глубокий вздох и разъединились.

– Перестаньте звать меня «месье»!

– Даже и не просите, месье. Месье – мой начальник. Называя вас по имени, я перестал бы чувствовать, что служу у вас. Я не смог бы обсуждать с вами

условия так же свободно, как сейчас. И я лишился бы удовольствия каждый год просить вас о прибавке к жалованью.

– Послушайте... – И Эдуард тронул его за плечо. – Послушайте, ну давайте хотя бы перейдем на «ты».

– А об этом и вовсе не может быть речи, месье. Тыканье уместно при скандалах, при уличной ругани, когда водители поносят друг друга через открытое окно машины; при домашних сценах, когда супруги ссорятся, раздеваясь и моясь перед сном; в тюрьмах и школах, для унижения арестантов и детишек-учеников, самых маленьких...

– Пьер, я должен вам сказать, что в полной мере оценил ваше заступничество за самых маленьких. Иисус говорил, что в Царствие Небесное войдут лишь малые сии, те, кто не выше пятидесяти сантиметров ростом.

– Мало призванных, мало избранных.

– Да не мало, а вовсе нет избранных, разве что девочки до шести лет и мальчики до восьми. Рай ведь очень тесен.

– Размером с прикроватный коврик.

– Нет, размером с обувную коробку.

– Месье все-таки мыслит крупными категориями. Не с обувную коробку, а со спичечный коробок.

– Вся наша вселенная помещается между ногтем и мякотью Господнего мизинца.

– Увы, месье имеет в виду мизинец на левой руке.

Беседа происходила вечером, в доме Пьера Моренторфа, за скромным и необычным ужином. Пьер Моренторф похудел на двадцать килограммов. Днем прошел дождь, и вечер был довольно прохладный. Эдуард попросил у хозяина одеяло. Пьер принес ему шотландский плед в желтую клетку, этот цвет отличался странным, ядовитым оттенком.

Пьер поставил на кухонный стол сосну с искривленным, словно его согнул неподвижный ветер, стволом и тремя ветками, расположенными одна над другой; деревце росло в крохотном розовом вазоне с рельефными стенками. Высота сосны не превышала шестидесяти сантиметров. Моренторф размышлял вслух:

– Ее согнул очень древний ветер, – говорил он медленно, – ураганный ветер, который дул всего несколько секунд, два тысячелетия и три века тому назад.

– Два тысячелетия, три века, четыре месяца и, мне кажется, еще одну неделю.

– Два тысячелетия, три века, четыре месяца и неделю назад, в семнадцать часов тридцать минут.

У Эдуарда Фурфоза застыли кончики пальцев.

На набережной Лунготевере Пратичи было шумно, душно и мрачно. Машины обгоняли его или громко, назойливо сигналили сзади. Он глядел на лениво текущий, почти неподвижный Тибр. Остановил машину. Гудки за спиной слились в сплошной рев. Он взглянул на серый, занесенный песком берег. Чья-то лодка догнивала на желтом мелководье.

Он опустил стекло машины. Ему предстояло встретиться с Лоранс в ее доме в департаменте Вар. Он посмотрел на пластиковые бутылки, надохлых рыбешек, на черный, изъеденный плесенью женский сапожок. Подумал сперва о Франческе, которая наконец-то подписала в Риме договор и внесла задаток, потом о Лоранс, которая ждала его в доме над Сан-Рафаэлем, о тетушке Отти, уединившейся в своем шамборском домике Наполеона III, о Розе ван Вейден, которую не видел с самого Киквилля, о маленькой Адриане в венсенском зоопарке, которая потом с важным видом писала в воздухе воображаемые послания гамадрилу.

Он еще раз взглянул на желтую воду Тибра и на тот черный сапожок у самой кромки желтой воды. Распрямил пальцы, взглянул на них в свете дня. И, поднимая стекло машины, сказал сам себе, шепотом: «Да, все мы – ошибки. Осколки ошибок, блуждающие среди великих призраков и детских игрушек. Всякий пол, взятый отдельно, – всего лишь очень старая изломанная игрушка. И даже солнечный свет – всего лишь разновидность тени».

Глава XV

*Жизнь для него – такой же
тяжелый груз, как муравью
крыло пчелы умершей, которое
он тащит на себе.*

Унгаретти [64]

– Легкие уже ни к черту не годятся.

Луи Шемен закашлялся, произнося эти слова в трубку. Но боль обрушилась на нее только через два часа после этого разговора; горе было так остро, что ей пришлось сесть. Она поднялась к себе в спальню. Лоранс находилась в доме, которым она владела в департаменте Вар, над Сан-Рафаэлем. У ее отца обнаружили рак легких. Он собирался прожить в Солони все лето. Самое странное, что он запретил ей ехать в Лозанну, приказал ни слова не говорить матери. Он решил, что об этом должна знать она одна. Он надеялся, что об этом будет знать только она. И еще он не хотел, чтобы она приезжала к нему. Она оставила с ним Мюриэль. Он торжественно обещал, что позовет ее, когда придет время. Но она не хотела, чтобы он позвал. Не хотела приезжать. Не хотела допустить даже возможность мысли о смерти своего отца – для себя, для кого бы то ни было в мире.

Эдуарда с ней не было. Все мужчины покидали ее. Все мужчины обманывали ее. Солнце несло с собой рак: Лоранс чувствовала, как он мало-помалу завладевал ее кожей. Никогда больше она не выйдет на солнечный свет. Что ни день, силуэт Лоранс Гено растворялся в тени деревьев, в полумраке комнат.

Перед Розой, перед Адри она произносила страстные, но очень странные речи. Солнце убивает. Этот маленький, далекий, такой щедрый и такой безобидный огонек позволяет людям беззаботно забавляться им, а сам, как проказа, разъедает им лица, грудь, живот. Она прочла множество статей о солнечных ваннах и подробно расписывала Розе и Адри результаты: иссушенная кожа, болезненные ожоги, шелушение, раннее увядание и наконец

неизбежное омертвление организма, как следствие воздействия коварного светила. Окруженная тенью, окруженная устрашающим количеством противоожоговых мазей и отваров, Лоранс открыла в себе одно исключительное свойство. Она начала утверждать, что невооруженным глазом распознаёт в ультрафиолетовых лучах меланоциты, большинство циннаматов, некоторые из бензилиденов.

Она сидела в полутьме с напряженно выпрямленной спиной, в легких черных кроссовках на ногах. Потом на ощупь, вытянув вперед руки, подошла к фортепиано. Сегодня должен был приехать Вард. Она села. Подняла крышку, обнажила клавиши инструмента.

Вард пересекал Вар. Он затормозил, припарковал машину. С трудом прошел по ложбине, усеянной крупной галькой. Он искал глазами два маленьких протока, почти невидимых среди камней.

Было очень жарко, и это его веселило. Вершина холма, высившегося впереди, казалась почти белой. Он устал от долгой езды. Ему пришлось проехать по всему побережью. Покинув Рим, он миновал Чивитавеккью, но не остановился там. Сидя с непокрытой головой под жарким солнцем прямо на гальке и опустив веки, он вслушивался в бархатное неумолчное жужжание шмелей в цветах у себя за спиной.

Когда он открыл глаза, перед ним была Умбрия. Тот особый, неподражаемый свет Умбрии. Но это был Прованс, иссушенный жарой Прованс, лысая круглая макушка холма, темные пинии с почерневшими, словно обугленными стволами, редкие оливы и крошечная речушка, или, вернее, каменистое русло, откуда, если напрячь слух, доносилось сквозь гудение шмелей в кустах слабенькое журчание умирающей струйки воды – истомленный, почти беззвучный призыв о помощи, обращенный к морю.

Он снова сел в машину затерялся в путанице автострад. Прованс не производит ничего, кроме бетонных кубов и автострад. В старину Прованс производил цветы, пожилых людей, пожары и оливки. Эдуард не испытывал к этой провинции особой нежности, но он любил жару.

Наконец он отыскал виллу фантастической красоты в лесу над Сан-Рафаэлем. Стоял полдень. Ворота были распахнуты. Он проехал по аллее между двумя рядами лавров и очутился на просторной, усыпанной гравием площадке с бассейном, перед трехэтажным зданием XIX века с четырехэтажной башней. Здесь никого не было. Эдуард остановился перед низким, в две ступеньки, крыльцом. Он еще не успел выйти из машины, как дверь отворилась. На пороге стояла Лоранс в черном купальнике, розовой резиновой шапочке на голове и легких черных кроссовках на ногах. Она показалась ему слишком высокой. Сквозь купальник проступали ребра, острые бедренные кости. Она совсем не загорела. Ее тонкие ноги молочно белели. Она даже не сорвала с головы резиновую шапочку. Кинулась в его объятия.

Он лежал на раскаленном бортике бассейна. Адриана плавала на резиновом надувном крокодиле, болтая в воде руками и ногами и что-то напевая. На другом краю бассейна он увидел подбегавшую Розу ван Вейден. Он изумленно раскрыл глаза. Она сбросила шелковое платье в крупный бледно-фиолетовый, почти розовый горошек, с широким треугольным вырезом и короткими рукавчиками, и совершенно голая бросилась в воду.

Восемь женских ногтей, а за ними восемь женских пальцев уцепились за бортик бассейна. Следом внезапно вынырнула голова Розы ван Вейден, ее плечи, ее груди. С нее сбегали струи воды. Она плеснула на него водой. Он вскрикнул от неожиданности. Ее мускулистое тело сияло бодрой, энергичной красотой. Крепкая, мокрая, со сверкающим взглядом, она стояла над ним на шершавом розоватом цементе. Поставила ногу ему на живот. Он вскрикнул и протянул руки, собираясь привлечь ее к себе. Но к бассейну уже приближались легкие черные кроссовки, черный купальник, широкополая шляпа с накинута поверх серой вуалью, черные очки и пара серых перчаток. Это могла быть только Лоранс.

– Вы оба с ума сошли. А меланома?

– А электрический скальпель? – парировала Роза.

– Мне кажется, я всегда находил хоть капельку человеческого тепла только в солнечных лучах, – признался Эдуард.

– Вот глупый!

– Кретин! Stommerik! Snotneus!^[65]

– Мам, а что такое человеческое тепло? – спросила Адри.

Она взобралась на бортик бассейна и начала ощипывать листок шелковицы, оставляя от него одни прожилки. Она прислонилась к коленям Эдуарда. Скоро от листка остался один стебелек. И девочка, сжав этот стебелек зелеными от свежего древесного сока пальчиками, долго что-то выписывала им в воздухе.

– Скажи-ка мне, старушка, можно узнать, кому это ты пишешь? – спросил Эдуард спустя десять минут.

– Боженьке, – прошептала она, не прекращая своего занятия и старательно водя рукой в раскаленном воздухе.

Эдуард медленно вынырнул из сна, услышав какой-то необычный звук, похожий на сдавленный кашель. Или на обрывок сумасшедшего смеха, который стараются сдержать, зажав рот и нос. Потом он понял, что это рыдание. Последнее время оно стало рефреном всех его ночей. Он ворочался в постели с боку на бок, смотрел на Лоранс. Он не выносил вида этой женщины, плакавшей по ночам. Она оставляла включенным ночник, испускавший бледный, призрачный свет. С недавних пор Лоранс начала бояться полной темноты. Эдуард много раз ловил себя на том, что прислушивается к дыханию той, что лежала рядом. Все его внимание было сосредоточено на этой странной фуге, сотканной из прерывистого дыхания, из оборванных стонов кого-то, кто не спит, не может заснуть.

Часом позже он снова проснулся от ее горького плача. Он крепко обнял ту, что захлебывалась рыданиями в ночной тиши.

– Ну что, что?

– Нет, ничего.

– Это из-за меня?

– Нет. Ты ни при чем. Ты ничего не можешь сделать.

Роза пила с самого утра. Майка Розы ван Вейден намочила от пота между грудями. Она отошла от него. Он услышал шумный всплеск воды, разбитой женским телом. Увидел ящерицу, удиравшую прочь со всех ног.

В детстве оба раза, что он ездил на каникулы в Италию, он мог долгими часами созерцать на горячих черепицах крыши, на какой-нибудь выветренной стене этих миниатюрных динозавров, настоящих крокодилчиков длиной восемь-девять сантиметров, которые молниеносно пересекали узкое, освещенное солнцем пространство, застывали и внезапно заглатывали человека в виде мухи.

Жара все усиливалась. Воздух был тяжел и неподвижен. По вечерам приходилось широко открывать рот, чтобы дышать: казалось, будто глотаешь пламя. Оголенные руки, оголенные ноги под платьем, гладкие, слипшиеся от воды, блестящие волосы – он безумно желал Розу.

Роза поднялась в спальню, чтобы в десятый раз принять душ. Он пошел следом. Они обнялись. – Я хочу... – пробормотал он.

Он целовал ее потные подмышки, ее плечи, ее груди. Она почувствовала, как ей в живот уперся его отвердевший член, оттолкнула Эдуарда.

– А я не хочу, – сказала она.

Он стал настойчивее. Она рассердилась и решительно оттолкнула его.

– Даже речи быть не может – здесь, в доме Лоранс.

– Роза, я завтра уезжаю! Завтра я должен быть в Лиссабоне!

Эдуард казался разъяренным. Он был пьян от жары. Его тело не скрывало вожделения.

– Ты собираешься иметь нас обеих? Не переоцениваешь ли ты свои возможности? Мне кажется, тебе следовало бы все-таки сделать выбор.

– Не желаю я ничего выбирать.

– Ты скверно поступаешь с Лоранс. Начни с того, что откажешься спать с ней.

– Какая там погода? – спросила Лоранс.

– Дождь идет. Мелкий, но грозовой дождь, – ответил Эдуард, зашнуровывая ботинки.

– А сколько времени?

– Половина шестого.

– Уже рассвело?

– Нет.

Лоранс встала, накинула шелковую рубашку, натянула джинсы, спустилась в кухню, чтобы сварить кофе, и принесла поднос в спальню.

– Ненавижу дожди. Ты одеваешься слишком быстро.

– Я не одеваюсь слишком быстро.

– И все время уезжаешь. Ты слишком быстро живешь. Ты слишком быстро ешь. Ты...

– А море слишком теплое, а океан слишком мокрый, а небо слишком голубое. И трава слишком зеленая, и жизнь слишком коротка. Хватит, надоело!

Она смолкла, откинула назад волосы, взбила их пальцами.

– Тебе непременно нужно в Лиссабон?

– Да.

Эдуард кипел от гнева. Его ярость искала выхода, искала жертву. Он поклялся Розе не прикасаться больше к Лоранс, но провел с Лоранс нынешнюю ночь. Он взял сигарету из пачки, которую Роза ван Вейден забыла на откинутой крышке секретера в спальне Лоранс.

– Ты куришь? – удивилась Лоранс. – Первый раз вижу тебя с сигаретой. Напрасно ты куришь натошак.

Мой отец...

– Напрасно, напрасно! Да, напрасно! Меня всю жизнь преследует тайное убеждение, что я все делаю напрасно. Но, по крайней мере, в поезде я всегда чувствую, что живу не напрасно...

Он уже кричал. Лоранс плакала.

– И всю свою жизнь я чувствовал, что прибыл по назначению, только тогда, когда расставался с женщиной. Ты хочешь, чтобы я расстался с женщиной?

Лоранс плакала, не отвечая. Она закрыла лицо волосами, так что Эдуард не мог видеть ни ее рук, ни лица. Он видел только эту белокурую копну, которая тихо вздрагивала от рыданий.

– Хватит, Лоранс, – сказал он. – Налить тебе еще кофе?

Белокурая копна кивнула.

– Два куска сахара, как всегда?

– Два, как всегда, – ответила она, отбрасывая волосы назад и широко раскрывая свои золотисто-серые глаза, – иначе кофе наводит на меня тоску.

Он сел рядом с ней, обнял за плечи, спрятал лицо в ее волосах.

– Любимый мой, – нежно сказала она, – я уже давно хочу тебе кое-что сказать. Это ужасно меня гнетет. Я видела тебя с...

Но тут на лестнице раздались крики и топот Адри. Встав на цыпочки, девочка дотянулась до прохладной дверной ручки, повернула ее, распахнула дверь спальни, вбежала, вся красная от возбуждения, и, теребя подол своей юбочки, закричала во все горло – так афинский солдат, забрызганный кровью персов, вбегает на агору и, воздев руку, провозглашает новость о победе на Марафонской равнине:

– Там твой папа умер! Там твой папа умер, и он хочет тебе что-то сказать!

Глава XVI

*Слишком коротка будет
постель, чтобы протянуться;*

*слишком узко и одеяло, чтобы
завернуться в него.*

Исайя [66]

Комната налилась багровым светом. Лоранс попыталась встать. Она опиралась на спинку блекло-голубого плетеного стула. Но никак не могла подняться на ноги. Ей стало невыносимо жарко. Она слышала, как потрескивает лампа. Вбежала Роза, дала пощечину Адри, обняла Лоранс.

– Твой отец... Там что-то случилось. Тебе нужно ехать к нему.

Адри разревелась. Лоранс соскользнула на пол, стул, на который она опиралась, упал. Она скорчилась, лежа на полу. Потом села, притянула к себе ребенка. Поставила Адри между колен, погладила по голове. И заплакала вместе с ней, прижавшись лицом к ее шейке, вдыхая нежный запах пота, молока, волос, сахара, каким пахнут все дети.

Потом она ощутила то, что разумелось под словом «смерть». К ней вернулись эмоции – вернее, ее кровь прихлынула к вискам, ко лбу, к тонкой коже щек, к спине, покалывая их тысячами тонких иголочек. Она сидела, напряженно выпрямившись. И повторяла:

– Папа, папа!

– Я еду с тобой, – сказал Эдуард.

– Нет.

– Я еду с тобой, – повторил он.

– Нет, ни за что. Уезжай в Лиссабон!

– Я еду с тобой, – сказала Роза. – Но сперва нужно отвезти Адри...

– Нет! – вскричала Лоранс, поднимаясь. – Слава богу, там с ним Мюриэль. И потом я хочу быть одна. Еще минутку, и я еду.

– погоди, я позвоню в аэропорт. И я тебя провожу.

– Ни за что. Я возьму машину. Я хочу быть одна. Я хочу уехать сейчас же и одна.

Она в свой черед взяла сигарету из пачки, оставленной Розой на секретере. Резким взмахом руки выслала из комнаты Розу и Адри, обхватила голову Эдуарда, заплакала, уткнувшись ему в шею, заливая ее слезами и твердя шепотом, что ее отец умер.

– Я поеду с тобой, – повторял он.

– Нет, я вправду не хочу.

– Я довезу тебя на машине. Даже не войду в дом, если не захочешь. Никто меня не увидит.

– Дело не в этом. Спасибо, Эдвард. Но мне совершенно не хочется, чтобы ты был там. Уезжай в Лиссабон. Уезжай в Нью-Йорк. Уезжай хоть на край света, если тебе там хорошо. Я любила своего отца, Эдвард. А мой отец любил меня так. как ты меня никогда не любил. И теперь я хочу остаться с папой наедине.

– Папа!

Лоранс неустанно повторяла эти два слога. Она уехала тотчас же, одна. Сидя за рулем своего большого белого «мерседеса», она плакала и твердила вслух эти два слога, эти коротенькие, первозданные слоги, единственные, что способны были произносить сейчас ее губы.

Луна светила ей в лицо. Она висела справа от лобового стекла. Лоранс ничего не ела с самого утра. Только время от времени пила кофе. Выйдя из очередного кафе, она зашла в церковь. Упала на колени, сложила руки, вознесла мольбу всемогущему Богу, сотворенному ее горем.

Она крепко сжимала руль обеими руками, напряженно глядя вперед. Резко вдавливала ногу в акселератор. Ее одолевала тоска. «Луна сейчас в своей второй четверти», – сказала она себе. Она уже подъезжала к дому в Солони. Думала об Эдуарде. Ей хотелось есть. Она устала, очень устала.

Решетка была отперта. Она торопливо прошла через парк, между дубами. Ей вдруг безумно захотелось оказаться возле огня, жаркого огня в камине гостиной, и чтобы рядом были отец с матерью и Уго, и чтобы все они, вчетвером, сидели у камина.

Войдя в дом, она поднялась по широкой мраморной лестнице. Никто ее не встретил, никто не ждал. Повсюду царили безмолвие и тьма. Огромные головы затравленных кабанов, волков и оленей отбрасывали на стены мрачные тени. Ее испугал шум собственных шагов. Они отдавались скрипом не только на паркете, но даже на коврах. Словно кто-то вбивал гвозди в дерево.

Чем дальше она продвигалась, тем явственнее ощущала какой-то теплый, пресный, гниловатый запах, смешанный с запахом не то очень слабого эфира, не то очень крепкой Eau de Daquin. Проходя по гостиной, Лоранс отворила балконную дверь. Увидела снаружи водоем с пожелтевшей водой. На нее дохнуло мирным спокойствием темного парка. Ночной мрак был пронизан лунным мерцанием. Грузные силуэты платанов и дубов слегка отсвечивали медью. Луна была во второй четверти. Она вышла на парадный балкон. Склонилась над перилами, застонала. Стонала, уже не сдерживаясь. Скулила, как маленький раненый зверек, как мул, угодивший в капкан. Вцепившись обеими руками в золоченую балюстраду балкона, раскачиваясь взад-вперед, она жалобно, по-детски всхлипывала.

– Мадам!

Никола, камердинер Луи Шемена, взяв ее за локоть, оттащивал от перил.

– Мадам, не надо тут стоять. Пойдемте!

Никола запер балконную дверь. Он шел впереди нее. Она смотрела на его ягодицы, поднимавшиеся перед ней по лестнице. Она находила эти ягодицы просто удивительными.

Ей не хотелось подниматься по лестнице. Они прошли по коридору. Ей не хотелось идти по коридору. Ее вдруг обдало жаром; она остановилась на миг, сбросила плащ, прислонилась к стене. Никола обернулся, подошел к ней, забрал плащ и снова взял за локоть. Наконец они подошли к двери, которой она так боялась, когда была совсем маленькой.

– Нет! Нет! – простонала она, вся в слезах.

Никола подтолкнул ее. Они миновали переднюю. От запахов лекарств и мочи у нее запершило в горле. Никола положил ее плащ на одно из кресел. Они вошли в освещенную комнату. Лоранс дико закричала.

Он не умер. Она лихорадочно собиралась с мыслями. Никто не сказал ей, что ее отец умер, просто, услышав слова маленькой Адрианы, она сочла, что отца больше нет, и расценила фразы, произнесенные Розой, как утешения или эвфемизмы, которые призваны успокоить близких, но ни на минуту никого не обманывают.

Отец глядел на кричавшую. Вопль Лоранс не смолкал несколько секунд, потом она подбежала к кровати, упала на колени и схватила руки отца. Начала целовать его пальцы. Она не хотела смотреть на него. Она хотела уехать. Она не осмеливалась поднять глаза и встретиться взглядом с отцом.

– Папа!

Его рука дрожала, он поднял ее в ярком свете. Медленно поднес к ее голове, погладил по волосам.

– Не плачь, Лоранс, – прошептал он.

Она уткнулась лицом в простыню, лишь бы не чувствовать этот запах, лишь бы не видеть всего этого.

– Я люблю тебя, доченька моя, – сказал он ей. – Ты умница, что приехала. Это я велел тебя вызвать.

Она подняла голову и улыбнулась ему сквозь слезы. Они долго смотрели друг на друга.

– Я не собирался тебя вызывать. Всегда думал: хочу умереть в одиночестве...

Лоранс снова разрыдалась, уронив голову на постель и вцепившись в отцовскую руку, гладившую ее волосы.

В комнате слышалось какое-то слабое гудение. Она была залита резким светом. Луи Шемен захрипел.

Тело отца, эта комната, массивные зеленые часы на камине, смесь удушливых запахов мочи и эфира, голубая пижама отца, присутствие Никола, а затем и Мюриэль, которую она обняла, – все это внушало Лоранс невыносимое отвращение, повергавшее ее в транс, словно перед ней возникла страшная неведомая змея или еще что-то чудовищное. И ей было невероятно стыдно за этот ужас перед умиравшим отцом.

– Больше всего я хотел бы видеть сейчас твоего брата. Не тебя.

– Да, папа.

Она плакала. Она не могла говорить связно. Ее ответы звучали стоном.

– Ты ведь любила его, как я его любил, правда?

– Да, папа. Но я и тебя люблю!

– Так ты любила Уго?

– Да, я его любила. Я любила его так же, как ты его любил.

– И поэтому ты здесь, и поэтому я могу умереть спокойно.

Он сделал знак, подняв указательный и средний пальцы. Лоранс подняла голову и взглянула на Никола, который направился к двери.

– Папа!

Она целовала край рукава отцовской пижамы.

Дверь спальни снова отворилась. Никола ввел человека лет сорока, с медицинским саквояжем в руке.

– Поговорите с ней, – сказал врач.

Лоранс не понимала, что происходит. Она взглянула на Мюриэль, но та опустила глаза и подошла к ней. Лоранс по-прежнему стояла на коленях возле отца. Врач наполнил шприц.

– Я не боюсь, – повторял старик. – Я никогда ничего не боялся.

Внезапно Лоранс поняла, она жадно оглядела все, что было перед нею: шприц, брюки от голубой отцовской пижамы, которые Мюриэль взяла, свернула и положила на валик постели, три ампулы, зеленые часы с орлом, терзающим печень Прометея, прикованного обеими руками к циферблату, Никола, чуть дальше Мюриэль – оба были бледны и серьезны, – своего отца, волосы, торчавшие из его ноздрей, его голубые, пугающе красивые, но теперь почти белые глаза.

– Выпейте немного воды, месье, – говорил тем временем врач.

– Дай мне воду, Лоранс. Воду.

Лоранс не понимала этих слов, они терялись где-то, одно за другим. Подошла Мюриэль, протянула Лоранс стакан воды, та схватила его и поднесла к губам отца. От резкого движения вода пролилась на простыню, Лоранс почувствовала, что краснеет. Врач подsunул руку под голову старика и слегка приподнял ее. Лоранс снова поднесла стакан к его губам. Вода капала ему на подбородок.

– Я не боюсь, – повторял он.

Возвращая стакан Мюриэль, Лоранс пролила несколько капель на собственное платье. Она взглянула на него и обнаружила, что это джинсы. Оставалось надеяться, что Луи Шемен не заметил их.

– Я не боюсь. Я не... – твердил он приглушенным испуганным голосом.

Лоранс смотрела, как умирает ее отец. Ей хотелось уехать. В голове у нее мелькнула короткая молитва: «О Господи, сделай так, чтобы мой отец умер мгновенно!» Она уже было сочла его мертвым. На какой-то миг его горло сжала судорога. Потом кадык дернулся, и снова послышалось свистящее дыхание.

Этот упрямый звук терзал ее. Она подумала: хорошо бы потерять сознание. «Почему именно я? – думала она. – Почему ты заставляешь меня присутствовать при твоей смерти? При твоём самоубийстве?» Он поднял голову. Посмотрел в сторону окна. Его взгляд что-то искал там. Врач сидел возле двери. Он ждал.

– Мне жарко, – прошептал Луи Шемен. – Вели Нику отворить окно.

Никола подошел к окну, поднял задвижку, открыл окно и вернулся к постели. Лоранс плакала, уткнувшись в рукав пижамы своего отца.

– Артур уже поднялся в небо?

Лоранс не понимала. Голос отца зазвучал громче. Он выговаривал слова с величайшим трудом. Повторил вопрос, уже сердито. Лоранс послышалось: «Артур уже поднялся?» И она решила, что он спрашивает о спутнике с космонавтом на борту, которого, наверное, зовут Артуром. Затем ей пришла на ум комета Галлея. Наконец она поняла.

Встав, она вышла на балкон. Увидела круглый водоем. Увидела дубы. Подняла голову. На небе не было ни облачка. Луна достигла своей второй четверти. Она обвела взглядом небосвод. И увидела Арктур, ярко сиявший в темной бездне.

Она вернулась к постели, присела на корточки, уткнулась лицом в голубую пижаму и сказала:

– Папа, Арктур уже поднялся.

Но теперь не понимал отец. Луи Шемен растерянно смотрел на дочь.

– Арктур поднялся. Звезда уже на небе. Звезда Арктур, она блесит там, в небе, – повторяла Лоранс.

Отец пожал плечами:

– Я уже в черном туннеле.

Он улыбался, его пальцы теребили простыню.

– Мама! – прошептал он, сжав руку Лоранс. Он говорил с трудом.

– Папа, это я. Это Лоранс. Твоя дочь. Твоя маленькая Лоранс.

Она плакала. Она терлась лицом о пижаму отца, такую мягкую, об отцовскую грудь. Опять вознесла короткую мольбу: «О прошу тебя, умри поскорее!» И взглянула на него. Часы начали отбивать одиннадцать. Лоранс отвела глаза, посмотрела на орла, посмотрела на обнаженного Прометея с руками, стянутыми за спиной. Одна мысль владела ею: «Папа, умри же! Папа, молчи!»

Наконец часы смолкли. Наступил миг тишины. Луи Шемен снова начал дышать. Постепенно его дыхание выравнивалось. Она пристально следила за ним. Внезапно в ярком свете, заливавшем его лицо, ей почудилось, будто ее собственное лицо распадается, разлагается в чертах отцовского лица. Что ее лицо умирает. Что сходство ее лица с отцовским умирает.

И она перестала смотреть, как он умирает. Сжала в руке прядь седых отцовских волос. Спрятала лицо в простынях. Она задыхалась. Но ни за что на свете не хотела видеть. Умирало сходство ее лица с отцовским. Внезапно она почувствовала, что кто-то разжимает ей руку. Она приподняла голову над простыней. Врач распрямлял ее пальцы. Мюриэль держала ее за плечи.

– Все кончено, мадам.

Она сама встала на ноги. Прямая, как манекен, подошла к камину, причесалась перед зеркалом, глядя поверх черно-зеленых часов. Они показывали десять минут двенадцатого. Одна мысль владела ею:

– Наконец! Наконец!

– Ваша комната готова, – сказала ей Мюриэль.

– Спокойной ночи, – сказала Лоранс врачу; она не пожала ему руку.

Он поклонился ей. Прошел в дверь первым. И исчез.

Никола протянул Лоранс большой конверт, на котором отец написал ее имя. Она взяла его. Попросила, чтобы ей подали ужин в гостиную. Сказала, что ей хочется выпить красного вина.

Она не смогла спать в своей детской. Велела постелить ей в комнате для гостей. Эдуард удивил ее. Он позвонил из Лиссабона. Прервал бильярдную партию в «Китайском павильоне» – странном лиссабонском кафе, о котором когда-то рассказывал ей и которое обожал за то, что его стены были сплошь увешаны полками, забитыми детскими автомобилями, игрушками, куклами.

В бильярдном зале с потолка свешивались десятки моделей самолетов, без единого просвета. Он прервал партию, которую уже проигрывал Джону Эдмунду Денду, сел в парижский самолет и встретился с Лоранс на следующий же день, после полудня. Он считал, что ее нужно отвлекать и днем, и ночью. В течение всей подготовки к похоронам и визитов близких они играли в карты – в реверси, крапет – в слезах, играли в микадо в слезах. Тот конверт, что Никола передал Лоранс от имени отца, содержал дополнение к ее законной доле наследства; Лоранс с плачем сообщила Варду, что теперь она «миллиардерша в новых франках». Говоря это, она видела перед собой пару голубых, почти белых глаз своего отца в тот миг, когда он твердил, что совсем не боится; это был взгляд маленького зверька, настигнутого хищником.

Лоранс отказалась делить с ним постель. Она попросила его ночевать в комнате, которую занимала в отрочестве. По вечерам он давал ей снотворное, заботливо укрывал одеялом. И баюкал, сидя рядом, шепча что-нибудь успокаивающее до тех пор, пока она не засыпала.

Эдуард проснулся. Ему почудился крик. Крик повторился. Он доносился из парка. Это был голос Лоранс. Он выскочил из постели, на миг застыл у двери спальни, сообразив, что не одет, потом все же бросился наружу, вслепую пересек гостиные, протянув вперед руки, натываясь на стулья, нащупывая края комодов и столов, крышку рояля, кубарем скатился по парадной, смутно белевшей лестнице – уменьшенному подобию шамборской – со старинными лепными украшениями, точно как над порфировой лестницей дома на Корте Гастхюисстраат. Мраморные ступени холодили его босые ступни. Член нелепо болтался между ногами и мешал ему. Крик прозвучал снова.

Он увидел, что парадная дверь приоткрыта, торопливо спустился с крыльца, дрожа, зашагал по холодным колким камешкам. Ночь была непроницаемо темна. Ветер нагонял на него озноб. Ему было холодно. Он шел, ничего не понимая, голый, во мраке, в сторону крика, голоса, который узнал сквозь сон. Шел в изнеможении, с тяжким чувством, что до конца жизни обречен спешить на чужой зов, тащиться, подобно барже, по реке, на невидимом канате, на веревке, сплетенной туго и крепко, как коса. Тащиться за неким именем, за несвязными слогами, за криком. Но крик внезапно растаял в воздухе. Теперь он слышал только гудение ветра в листве платанов и дубов. Да еще уханье совы.

Потом крик раздался опять. Он шел от водоема, из-за купы деревьев. Эдуард побежал туда. Задел щиколоткой бортик водоема и невольно зашипел от боли. В тот миг он и увидел ее.

Желтое пятно, желтая рубашка, плававшая в воде. Он бросился в эту вязкую воду, поскользываясь на дне бассейна. Она лежала ничком, в ночной рубашке и

наброшенном сверху жакете от светло-бежевого костюма; волосы были распущены, лицо под водой. Он вцепился в эту мокрую грудь, приподнял ее. От нее шел ледяной холод. Вытащив из воды, он уложил ее на краю водоема, крепко обнял. И только тут почувствовал по ее губам, что она еще дышит. Он встал на колени, чтобы поудобнее пристроить ее у себя на руках. И побежал, как только мог быстро, к черной громаде дома.

Там он согрел ее. Его бил озноб, он желал ее. Прошел в свою спальню, оделся, чтобы его желание было не так заметно. На ходу он прихрамывал. Рана, нанесенная ему Антонеллой, снова отозвалась болью в теле. Он разбудил Мюриэль, велел приготовить ванну. Растер Лоранс щеткой прямо в воде, попросил Мюриэль разбудить Никола и послать его за врачом. Приблизив губы к ее рту, он неспешно впивал это теплое, такое печальное, такое легкое дыхание. Впивал нежное дуновение из ее ноздрей, широко открытыми глазами и носом ощущая этот шелковистый, горячий ток воздуха – признак того, что Лоранс жива. Он помог Мюриэль вытащить ее из воды. Лоранс как будто не сознавала, где находится; она сидела на краю ванны с открытым ртом, безучастно глядя в пустоту, свесив руки и зажав в пальцах банную рукавицу.

Эдуард провел рукой перед ее глазами. Лоранс не реагировала. Они донесли ее до кровати. У него разболелась рана на животе. Он обнял ее. Лоранс не реагировала. Он приподнял ее голову, прижал к своему плечу и вдруг почувствовал, что ему смочили шею горячие капельки. Он прошептал ей:

– Да, поплачь. Поплачь.

Сначала где-то в глубине ее тела зародились короткие вскрики, подобные испуганному птичьему щебету, исходившие как будто не от нее, а неизвестно откуда. Потом она разжала руки Эдуарда, отодвинулась от него и, перевернувшись на живот, зарыдала в голос. Он оставил ее, чтобы пойти выпить. Крики, доносившиеся из комнаты, становились все пронзительнее. Они разносились по всему огромному дому Солони. Эдуард стыдился этих воплей Лоранс. Он поднимался к ней каждую четверть часа, отворяя одну за другой двери комнат. Она лежала, свернувшись клубочком, прижимая колени к груди и держа в руке банную рукавицу. Он сменял Мюриэль. Доставал бумажные платки, вытирал ей нос. Освежал лицо. Гладил ее. Лицо Лоранс распухло, сморщилось, побагровело и стало таким же непривлекательным и старообразным, какими бывают личики новорожденных, только что появившихся на свет. Но ее крики звучали так пронзительно, так нечеловечески страшно, что, посидев с ней несколько минут, он уходил.

Глава XVII

*Одни питаются арчатами
цветов, корнями и дикими
яблоками.*

Другие – через взгляд.

Третьи питаются теплом.

*А иные озаряют свою жизнь
мыслью.*

Плиний Старший [67]

Он находился в Дахране. Ждал прибытия игрушек из Китая и Вьетнама. Сейчас он поднялся в пальмовую рощу над бассейном, на вершину искусственного холма.

Прошло уже два месяца. Стоял конец октября, купавшегося в сочном, чарующем свете залива. Лоранс, кричавшую без устали, положили в клинику в Нейи. Там она больше не кричала, только стонала. Он жил с Розой. Страстно полюбил малышку Адри. И с такой же страстной любовью обставлял квартиру на проспекте Обсерватории.

В просвет между пальмовыми листьями он видел внизу серые цементные кубики бунгало, выстроенных лесенкой по склону холма. Сад отеля располагался ниже уровня бассейна. Бассейн был устроен ниже земляной террасы. Терраса лежала ниже пальмовой рощицы.

Бассейн был выложен зеленой фаянсовой плиткой. Джон Эдмунд Денд, сидя на бортике, усердно обольщал двух юных саудиток. Все трое казались сверху крошечными голубыми точками на краю бассейна.

Вода была так прозрачна, что играла на плечах и на лицах вынырнувших купальщиков, словно разрезанных ее поверхностью пополам, – на телах Джона Эдмунда и двух юных саудиток, на обнаженных телах всех, кто загорал на террасе, хотя она была много выше бассейна, – какими-то потусторонними отсветами, обволакивала эти тела перламутровой пеленой. Они выглядели как хрупкие, полупрозрачные игрушки, ломкие, рассыпчатые, золотистые игрушки. Внезапно ему почудилось, что эти существа или эти игрушки из янтаря и камня сейчас распадутся в пыль. Вновь станут песком. Эти бунгало, этот бассейн, эта пальмовая рощица, этот саудовский отель поднимались уступами по склону холма, и ему казалось, что их вот-вот раздробит в прах нога какого-то великана, как человек расплющивает ботинком сухой покоробленный лист на мокром шоссе унылым осенним вечером.

Окно гостиной Розы ван Вейден, выходявшее на улицу Пуассонье, было открыто. Эдуард впрыгнул в комнату через это окно, перепугав Адриану, которая смотрела рекламные клипы по телевизору, сопровождая их собственным пением. Он расцеловал ее в обе щеки, поставил чемодан. Распахнул дверь Розиной спальни, дверь ванной. Она громко вскрикнула, обняла его, сказала, что счастлива. Давно ли он здесь? Она потянулась. Ткнула ему кулаком в живот.

– А ну-ка, надень галстук! Сегодня у Адрианы день рождения. К ужину придет Мужлан.

Князь де Рель стал преданнейшим другом Розы ван Вейден. Оба фанатично любили бокс. Две недели назад они потащили Эдуарда на матч во Дворец спорта в Берси. Там Эдуард открыл для себя бои сумо, эти сражения легендарных толстяков, богов-колоссов с блестящими грудастыми телами, ростом более двух метров, весом более двухсот килограммов; они взлетали над песком подиума, под балдахин, повторяющим форму крыши храма Синто.

– Ты такой тощий, – говорила Роза. – Пусть у меня хоть здесь глаза отдохнут.

Внезапно настала тишина. Один из богов только что бросил горсть соли. Второй бог звонко шлепнул себя по ляжкам. Бог-судья энергично размахивал длинным веером. Пьер не выносил ни сумо, ни Розу, ни князя де Реля. Он попросил Эдуарда оградить офис на улице Сольферино от «шумного, назойливого, вульгарного» присутствия Розы ван Вейден.

Эдуард не стал распаковывать чемодан. Он тотчас вышел, на сей раз через дверь. Накупил подарков, пирожных и цветов. Но галстук так и не надел.

Адриана почесывала голову возле затылка большим пальцем – крошечным большим пальцем. Она была страшно довольна кукольным зонтиком, который подарил ей Эдуард. Без конца открывала и закрывала его. Потом ей пришла в голову новая затея. Нажав указательным пальчиком и мизинцем на лоб, она собрала его в две «мудрые» складки над носом. Теперь она – старая ученая особа. Внезапно она схватила двумя пальчиками свой маленький зонтик и начала выписывать в воздухе большие, соединенные меж собой буквы.

Эдуард наклонился к ней и спросил шепотом на ухо:

– Кому ты пишешь?

– Тихо! – ответила она, продолжая свое занятие.

Он посвятил все начало зимы обустройству квартиры на проспекте Обсерватории. Он не нравился себе. Не занимался собой. Охотно забывал о себе. Не понимал, в чем смысл его жизни. Старался не вспоминать вопящую Лоранс. «Покупаю! Продаю!» – этот вечный припев был так же уродлив и скучен, как артишоки Мориса Вламинка.^[68] Он использовал каждую свободную минуту, чтобы прикупить еще какую-нибудь скатерть, кресло, статую, стол. Он хотел, чтобы все пространство квартиры было заполнено до отказа, целиком, чтобы теснота наделила его уютом и теплом. Это была длинная квартира восьмидесятых годов прошлого века, с узкими коридорами сложной конфигурации, с цветными витражными эркерами, озарявшими помещение красноватым, влажным церковным светом.

Он велел переделать батареи отопления. Обставил столовую в чисто фламандском духе, завесив три стены старинными гобеленами из Оденарда^[69] с растительными пейзажами, увы, крайне ветхими, пожелтевшими от времени; на широких каймах обрамления с черным фоном повторялись шифр CHS, меч с волнистым, так называемым фламандским лезвием и девиз «NESPOIR NE PEUR»^[70] кардинала Бурбонского. Напротив гобелена, висевшего на самой длинной стене, поставили фламандский же буфет с резьбой среднего качества; вдоль двух коротких стен тянулись полки с прелестной фарфоровой посудой из Антверпена и Брюгге; пол был выложен красной и черной плиткой; дверь, ведущую в кухню, обрамляли две колонны.

Теперь он любил не женщину: вот уже месяц как им владела подлинная страсть к этому длинному путаному лабиринту в сто шестьдесят квадратных метров. Он облек его в самые плотные ткани, какие только смог найти Никому не показывал подобие кафарнаума,^[71] которого слегка стыдился, – зимний сад площадью двадцать квадратных метров, забитый деревцами, огромными замшелыми статуями и большими глиняными фигурами более теплых, более

мягких оттенков, казавшимися рыхлыми при свете. Для того чтобы пройти из гостиной в коридор, из коридора в спальню, из спальни в ванную, приходилось продвигаться с невероятной осторожностью: повсюду мраморные консоли эпохи Людовика XVI, узенькие асимметричные продавленные канapé – зеленоватые, красноватые, сероватые, зеркала в вычурных рамах, с позеленевшими, мутными, пятнистыми стеклами, английские кресла из крашеного дерева, чугунные, также зеленые кресла Виолле-ле-Дюка, мейсенский фарфор и севрские вазы, стоявшие прямо на полу, лампы с пестрыми фарфоровыми или бисквитными абажурами на столах, жирно блестящие картины обеих Империй, чьи затейливые резные рамы с нижним краем на уровне лица затрудняли проход или слепили глаза.

И на всех стенах, под всеми живописными полотнами были развешаны ткани – бархат, гобелены с помпонами, пестрые шелка. Основные тона были зеленый и красный, и всюду, куда ни глянь, цветы и папоротники, фландрские кувшины и делфтский фаянс.

Потолки были окрашены в серый или голубой цвета, карнизы – в голубой, зеленый, черный, шторы бархатные, либо на шнурах, либо на венецианский манер. Он прилагал невероятные усилия, чтобы придать квартире вид устаревшего, чуточку запущенного, весьма тяжеловесного жилища – такого же тяжеловесного, как рука Бога евреев, или рука Бога аккадеев, или рука Бога анахоретов, янсенистов и тетушки Отти – «Аннетьер», Шамбор, 41250 Брасье, Луар-э-Шер, – что довлеет над головою людей, отторгнутых от своего племени, от благодати. Квартира была зеленой и красной, как ад. Даже медные вещи и те были красными.

– Лот из табакерок, часовых крышек, шкатулочек нестандартной формы и пуговиц. Кинг Сет. Или, вернее, Клингсет.

– Вы хотите сказать Клингштедт? Вы говорите о величайшем художнике в мире? Пьер, вы меня слышите? Вы в самом деле назвали имя того, кого вся Европа называла Рафаэлем табакерок?

– Ну конечно, месье. Я как раз вижу имя Клингштедт в каталоге, который держу в руках.

– Какие годы там указаны? Это гризайль?

Эдуарда охватило сильнейшее возбуждение. Его голос нервно дрожал. Он забыл даже о болезни Пьера. Тот ответил:

– Париж, семидесятые годы восемнадцатого века.

– Да, это он. Никому ни слова. Я еду. Необходимо купить весь лот целиком. За любую цену. Молчите, не подавайте вида, что намерены взять, только наблюдайте. Вы слышите, Пьер, только наблюдайте. Прежде я бы вам сказал: срочно шлите двенадцать красных тюльпанов. Я твердо намерен дойти до 60 000 долларов. В общем, я еду.

Пока Пьер, все так же по телефону, уточнял размеры задатка, Эдуард думал об этом человеке, которого встретил некогда в Лондоне – тогда он еще походил на тухлого лысого монаха или на борца сумо – и который за последние три

месяца превратился чуть ли не в скелет. Теперь его исхудавшее тело можно было уподобить длинному голому стеблю одинокого нарцисса в слишком большой вазе. Все лепестки опали. Остались только слишком большая ваза, тонкий стебель, гниющая вода с жирной вонючей пленкой на поверхности. Эдуард Фурфоз постарался отогнать этот образ. Ему очень хотелось повесить трубку. За три месяца Пьер потерял сопку килограммов из прежних ста десяти. Он боялся, что Пьеру как-нибудь передастся посетившее его видение.

– Я еще не сказал вам, что Мужлан предложил мне замечательный лот из фигурок рождественских святых. Филипп Соффе тотчас перекупил бы их у нас для своего дома в Шату.

– Извините, месье, но если месье намерен принять князя к себе, я немедленно подаю в отставку.

– Не волнуйтесь, Пьер. Монсеньер предложил мне маленькую фигурку святого, исключительного качества, сделанную Понтием Пилатом в конце жизни, в Риме, когда он, в окружении малолетних внуков, мастерил рождественские ясли.

– Месье большой шутник, я очень благодарен месье.

– А вы разве не знали, что Понтий Пилат был мастером на все руки? И что его руки вечно были измазаны глиной или рыбьим клеем? Говорят, ему приходилось то и дело отмывать их перед тем, как идти на...

– Месье и в самом деле шутит весьма остро и оригинально. Могу заверить месье, что в данный момент я просто корчусь от смеха, сидя перед аппаратом. Месье позволит мне повесить трубку, чтобы хоть немного отдышаться?

– Не летай больше самолетом.

– Ты где, Лоранс? Откуда ты звонишь?

– Не летай больше самолетом.

– Да что с тобой такое?

– Я чувствую, как ты падаешь. Вот именно в эту минуту ты падаешь. Перестань летать на самолетах. Я боюсь. Я боюсь, что ты умрешь.

– Ну что за бред! Хочешь, я дам трубку Розе? Сейчас два часа ночи.

– Обещай, что не будешь больше летать самолетами, и я повешу трубку.

– Но это невозможно! погоди, я позову Розу.

– Когда ты летишь самолетом, я падаю. Мне приходится цепляться за ручку кресла. И я целыми часами говорю себе: он умирает!

– То есть ты надеешься, что умру? Сейчас подойдет Роза.

Психиатр, лечивший Лоранс, сообщил, что в ее теперешнем состоянии она может вернуться домой. На следующий день, к вечеру, Роза и Эдуард поехали к ней. У Лоранс Шемен – после смерти отца она решила, не дожидаясь окончания бракоразводного процесса, взять свою девичью фамилию – было напряженное, исхудавшее лицо, испуганные красные глаза, тонкие искривленные губы. Когда она говорила, рот казался совсем провалившимся. Эдуарду вспомнились берлинские куклы середины девятнадцатого века. Публика прозвала их «замороженными Шарлоттами»: блестящие застывшие личики кукол напоминали известную сказку о прелестной маленькой девочке, умершей от холода из-за того, что она надела самое свое красивое летнее платье посреди

зимы. И он подумал: а можно избежать смерти, надев зимой безобразное зимнее платье?

– Нет! Нет!

Лоранс отталкивала Розу, царапая ей руку; рыдания прерывали ее ломкий, плаксивый голос:

– Это ведь я полюбила его первого. Это ведь я полюбила его первая. Здесь только я его и люблю.

– Молчи.

– Тогда объясни мне: почему он хочет меня убить? Почему он летает самолетами?

Роза обнимала подругу, крепко прижав ее к себе. Потом отвернувшись от Лоранс, чтобы та не увидела ее слезы, но держа ее за плечо, она стала искать на столе пакетик бумажных платков.

Эдуард не захотел оставаться. Роза в сопровождении двух санитарок, Мюриэль и преданного, заботливого шофера, с согласия психиатра, видевшего в симптомах нынешнего поведения Лоранс всего лишь легкую, неопасную депрессию, вызванную смертью отца, перевезла Лоранс в ее киквилльский дом.

Аскеты вовсе не были косматы. Они носили высокие шиньоны, напоминавшие Эмпайр Стейт Билдинг. Однажды в воскресенье, когда Эдуард находился в Шамборе, – в тот день строгие законы аббатства Пор-Руаяль позволяли речи – он рассказал тетке о смерти отца Лоранс и нервной депрессии молодой женщины, которую любил. Тетушка Отти пошарила в коробке с пирожными – законы аббатства не ограничивали потребление материальных знаков доброты Господней – и вдруг сказала, грызя желтое миндальное печенье:

– Да пусть она приезжает сюда, малыш! Мне очень нравится твоя подруга. Пусть приезжает, только без медсестры. Я приму ее, когда только захочешь.

Эдуард обсудил это с Розой, и оба они поговорили с Лоранс. Она согласилась с полуслова, радостно улыбнувшись. Это была ее первая улыбка. Потом она снова погрузилась в скорбь. Они привезли ее к тетке, устроили. Мюриэль и шофера поселили в отеле. Мало-помалу Лоранс, не возвращаясь полностью к привычкам, которые имела до смерти отца, все же начала чувствовать себя лучше, стала больше говорить. Но зато вечно ходила грязной, не снимая джинсов, черной майки и желтой вельветовой куртки, принадлежавшей Луи Шемену; она носила ее, подворачивая длинные рукава. Она начала по-детски сосать палец. Заказала двести банок горького пива. «А то вдруг Эдуард приедет», – так она объяснила это тетушке Отти. Она верила в Бога, обращалась к Оттилии Фурфоз почтительно, как к проповеднику, который не прощает ни малейшего прегрешения, но добр и справедлив. И наконец ей захотелось иметь кошку.

Роза раздобыла ей белого персидского котенка, очень спокойного, очень высокомерного, с мягкой шелковистой шерстью. Лоранс тотчас позвонила Эдуарду:

– Эдвард, я не знаю, как его назвать.

– Назвать кого?

– Я не знаю, как назвать котика.

В конечном счете ему присвоили имя Пус, Пусик. Так обычно называют котов во Фландрии. И это же слово – *rouce!* – выкрикивают дети, когда прекращают игру. Он решил прекратить эту игру. Однажды ранним утром приехал к ней. И, увидев Лоранс, внезапно подумал что должен навсегда оградить себя от опасного и в каком-то смысле смертоносного дыхания, сменившего то нежное дуновение, которое прежде овеивало ее нежные, не знающие помады губы. На земле существовал только один настоящий поэт. Ему, Эдуарду, повезло оказаться его современником. Поэта звали Рутгер Копланд. Он родился в Гооре в 1934 году. Жил в Гронинге, иногда приезжал в Антверпен. Они говорили на одном языке. Эдуард продекламировал вслух, на нидерландском строку из Рутгера Копланда:

Wie wat vindt heeft siecht gezocht.

(Тот, кто находит, плохо искал.)

Лоранс дернула его за рукав и, приложив палец к губам, призвала к молчанию. Это был день молчания. Лоранс тщательно соблюдала это сколь простое, столь же и строгое правило, установленное тетушкой Отти в ее «обители». Лоранс указала ему пальцем на ивовую корзинку возле кухонной двери, где лежал котенок, весь белый, как старческие волосы, как снежный ком, как усы Деда Мороза. Эдуард нагнулся и подумал, что кот не должен был зваться Пусом, хотя он и был толстенький, как Том Пус,^[72] и что ему следовало подсказать Лоранс другое имя – Титон. Он вспомнил о табакерке, которую хранил в ящике комода в спальне антверпенского дома; на внешней стороне крышки, в медальоне был изображен молодой Титон, отличавшийся в юности столь ослепительной красотой, что его похитила богиня Аврора; на внутренней стороне тот же Титон, с седыми волосами и бородой, превратился, на свое несчастье, в цикаду и сидел в ивовой клеточке. Легенда гласила, что Аврора обратилась к Богу с мольбой даровать бессмертие ее возлюбленному, но забыла попросить, чтобы ему сохранили вечную молодость. В результате Аврора, оставаясь неизменно юной и прекрасной, видела, как Титон стареет с каждым днем; он дряхлел, покрывался морщинами и в конце концов до того ослабел, что ей приходилось укладывать его, дабы не загубить совсем, в ивовую корзину. Прогуливаясь по лесу, она вешала корзину на древесный сук. И Титон превратился в цикаду. Богиня горько оплакивала исчезнувшее прекрасное тело и наслаждения, которые дарил ей возлюбленный. И слезы ее, падая наземь, становились росой.

Эдуард не мог отрицать, что роса связана с зарей, брезжившей в проеме приоткрытой кухонной двери: она смочила ему ноги и низ брюк, когда он выходил из машины. Утренний свет блестел на белоснежной шубке персидского котенка. Эдуард высоко ценил одно кошачье свойство, которого были лишены собаки, все его друзья, да и он сам: кошки никогда не старались понравиться. Никогда не старались казаться лучше или хуже, чем были. Они просто были. Хранили молчание, словно дали кому-то обет немоты. И – царили.

Царили над всем, даже когда спали. Он выпрямился. Отворил дверь, собираясь прогуляться вокруг замка вместе с Лоранс. На пороге кухонной двери, среди мокрых, сорванных ветров листьев, тяжелых от росы, лежала бабочка, маленькая зимняя бабочка, хрупкая, словно лепесток василька. Он указал на нее пальцем.

– Боже! Боже! – воскликнула Лоранс.

И тут же прикусила губы: она нарушила закон молчания! Она сунула палец в рот.

Эдуард повел Лоранс к белой громаде замка. Утренний туман уже рассеялся. Огромный молочно-белый замок медленно выплывал им навстречу в свете зари, Они подошли к водоему, который расширял Коссон на протяжении километра. Он смотрел на воду. Потом увидел, что Лоранс боязливо озирается; убедившись, что тетушки Отти поблизости нет, она снова нарушила молчание:

– Она не разрешает мне привезти пианино!

Он объяснил ей, какую жизнь вела раньше тетушка Отти, рассказал о работе музыковеда Шрадлера над Монтеверди и выразил сомнение, что ее желание осуществимо. И когда они оба возвращались назад, к домику «Аннетьер» эпохи Наполеона III, когда шагали по плотине через пруд Перью, он вспомнил про девочку – такую же маленькую, как Том Пус или бог Титон, превратившийся в цикаду. Эта маленькая девочка носила голубое, как лепестки василька, платьице. Крошечная женщина в голубом платьице. Голубое платьице перед темно-красным пианино. Пианино, на котором блестело золотое слово «Pleyel».

И эта маленькая девочка, и спина девочки – плакали. Плакали, содрогаясь от рыданий.

– Я не хочу играть на пианино. Мама меня побила. Я больше ни за что не притронусь к клавишам.

Он поклялся ей, что она никогда больше не будет играть на пианино, что он запретит ее матери принуждать ее играть, а если та не согласится, задушит ее (правда, на это она не согласилась), что он навсегда заглушит всякую музыку, что она никогда больше не прикоснется к этим клавишам из слоновой кости. И сам тут же категорически отказался – к великому изумлению тетушки Отти – слушать игру на фортепиано. Приехав в «Аннетьер», он решил спросить у тетки, было ли что-нибудь реальное в этом нежданном воспоминании. Помнит ли она имя той маленькой девочки, которая носила голубое платьице и туфельки со шнурками и заплетала косичку. Он подошел было к тетке, но то был день молчания. Она приложила палец к губам и отвернулась.

Пьер Моренторф сидел у окна, выходящего на запад, в квартире на улице Шаронн, возле трех маленьких бонсаи ростом, соответственно, десять, двадцать и тридцать сантиметров. Самое маленькое деревце стояло ближе всех к западу. Пьер Моренторф страшно исхудал. Но по вечерам, несмотря на худобу и слабость, он неизменно садился в позу «лотос» и молился.

Он сел в позу «лотос». Закрыл глаза. И прошептал, как делал каждый вечер: «О боги мертвых, вы, что играете в го и пьете сакэ под соснами! О дряхлые

старцы, живущие в царстве мрака! О дряхлые и крошечные старцы, играющие в го и пьющие сакэ под соснами в миг, когда умирает солнце! Продлите мои дни!»

Он сидел с закрытыми глазами, и ему чудилось, будто он съеживается. Чудилось, будто он засыпает на квадратном сантиметре земли дальнего Востока, у ног двух старцев, что играют в го, попивая сакэ у подножия самой маленькой из сосен.

Эдуард шел через Люксембургский сад в свою новую квартиру на проспекте Обсерватории. Вернуться в Люксембургский сад – это было все равно что вернуться в детство, одно и то же. В конце сороковых годов тетюшка Отти жила на площади театра Одеон, в доме номер 4. И теперь всякий раз, пересекая Люксембургский сад как некогда по утрам, отправляясь в школу, и по вечерам, возвращаясь домой, к тетке, он жадно вглядывался в подножие густых серых живых изгородей по бокам аллей, высматривая среди веточек, птичьих перьев, сухой листвы и пустых сигаретных пачек сокровища, оброненные на ходу легионерами императора Юлиана, викингами Роллона, маршалом Шперрлем или королевой Марией.

Это стало почти манией. Его преследовало ощущение, что он с детских лет отыскивает под кустами какую-то вещь – маленькую и драгоценную; что его будут бранить, а быть может, и предадут смерти, если он не найдет ее как можно скорее. Или же ему чудилось, что чья-то рука над его головой указывает на предмет, укрытый в тени, который сам он не видит. И это его несказанно мучило.

На самом деле было так: однажды в детстве, когда он гулял в Люксембургском саду со своей маленькой подружкой по лицу Мишле, она показала ему на какой-то отблеск в кустах. Она оказалась проворнее его. Присев на корточки, она извлекла из травы осколок то ли голубой эмали, то ли жести – осколок света. Но так и не согласилась отдать ему находку, как он ни просил.

У него была сосновая шишка. Она плакала. Эдуард повел ее за руку к кустам позади статуи Теодора де Банвиля, в тени постамента. Зарядил мелкий дождик. На девочке были черные лакированные туфельки, измазанные в грязи. Чем чаще она всхлипывала, тем медленнее шла и тем сильнее он дергал ее за руку, понуждая идти туда, где их не увидят.

Наконец он набрался храбрости. Поднял руку. Эдуард обнял девочку рукой за спину и прижал к себе. Тогда она обернулась к нему и заплакала еще горше, прикинув лбом к его губам, а носиком к воротнику его свитера.

– Дождь идет, – сказал он. – Свитера намокнут.

Внезапно он вздрогнул: о его ноги ударился дырявый розовый, выцветший до белизны мячик. Рядом валялась еще коробка со старыми мелками, серыми и размокшими. Дырявый мячик снова почему-то подпрыгнул. Эдуард испуганно дернулся, но это был просто кот, шмыгнувший у него между ногами. У него испуганно забилось сердце. Он ускорил шаг. Он уже подходил к центральной

решетке сада, выходявшей на проспект Обсерватории, думая на ходу: животные не имеют права разгуливать в Люксембургском саду.

Она дергала его за рукав намокшего бесформенного свитера. Говорила, что уезжает. По правде сказать, он уже и не помнил точно, что она говорила. Ее отца назначили на работу в консульстве Тимбукту или в посольстве в Берне, а может, они возвращались обратно к себе, в Тунис. Или в Лиму.

Он не хотел слушать, что там она ему втолковывала, помогая себе руками. Она говорила, что ей грустно. Но он не смотрел на нее. Он хотел, чтобы она замолчала. Бросал свой мячик наземь. И убегал. И бежал. И оказывался перед ее домом, на проспекте Обсерватории. Потом перед своим, на площади Одеон. У него все расплывалось перед глазами.

Он испугался, что упадет. Залился краской, стал красным, как петушинный гребень. И вдруг снова вспомнил, что был влюблен в маленькую девочку, и еще: та девочка – без лица, без рук, без имени, только в серных туфельках или в уличных желтых башмаках на шнуровке, в голубом платице, с косичкой (ему даже казалось, что у нее были мокрые, очень мокрые волосы), застегнутой пластмассовой или яшмовой заколкой в виде лягушки, – жила на проспекте Обсерватории. Он шел, доверяясь той давней памяти. Его нога задела крыльцо массивной застекленной входной двери. Она жила тогда в доме, прилегающем к тому, где он только что поселился.

Глава XVIII

*Только ли случай надзирает
за смертными?*

Еврипид [73]

Карл Великий, сын Пипина Короткого, был человеком маленького роста. Никогда не носил он бороды. Голос его был тонок, волосы густы и светлы. Всю свою жизнь он был верен берегам Мёзы. Невзирая на все свои усилия, он так и не смог овладеть искусством писать на родном языке. Этот великий государственный деятель был карликом, многоженцем, суеверным, набожным и боязливым...

Перегнувшись через плечо Эдуарда, Роза читала вместе с ним. Он не услышал, как она подошла.

– Читаешь о своей жизни? – спросила она. – Не забудь, в субботу, четвертого, мы идем к Олуху.

Роза осветила поярче тот уголок лофта, где укрылся Эдуард. Схватила стул, встала на него. Дотянулась до кнопок, державших большую афишу с объявлением о матче кетча, сняла плакат.

– В субботу четвертого я буду здесь. Но мы же обещали Адриане...

– Ну вот, только об Адриане и думаешь. Князь поважнее Адрианы.

– Ладно, я спрошу у Адрианы, кто важнее, она или князь.

– Надоел ты мне! Ты любишь Адриану больше меня.

Он пошел за Адрианой. В детской Адрианы не оказалось. Он услышал шум в ванной, заглянул туда. Адриана налила в ванну немного теплой воды. Она

шлепала по ней ладошкой, проверяя температуру, и бережно поддерживала за шейку целлулоидного голыша, возя его туда-сюда по дну ванны; для этого ей пришлось встать на цыпочки и перегнуться через край. Потом она старательно намылила голышу ножки и начала мыть ему голову, отогнув ее назад, чтобы мыло не щипало глаза.

Наконец она вынула его из воды. Положила к себе на колени, вытерла и вдруг закричала во весь голос:

– А где тальк?

Она швырнула голыша на пол так, что он перекувыркнулся через голову. И побежала в гостиную, издали крича матери:

– Куда подевали тальк?

Парикмахер помог Пьеру Моренторфу надеть бордовый нейлоновый халат. Он сел в кресло. Вокруг него слышалось звяканье ножниц. Дважды в неделю он приходил сюда брить голову. Он подумал: «У меня СПИД, но я брит. Показуха и смерть». Коротенькие обрезки волос сыпались ему на нос, легонько щекоча кожу.

Он видел свое лицо. Видел в зеркале свою массивную голову, больше похожую на голову ветерана Иностранного легиона, чем на голову умирающего от СПИДа гомосексуалиста-синтоиста.^[74] Нынче вечером он ужинал с Эдуардом Фурфозом. Созерцая свое лицо в зеркале парикмахерского салона, он думал: «Когда мне бывало плохо, мама сжимала мое лицо в ладонях Интересно, можно ли заразиться, глядя кого-нибудь по лицу?» Он заметил блеснувшую на одной из ресниц крошечную детскую слезинку; она тихонько скатилась по щеке неровным зигзагом и замерла возле ноздри, остановленная состриженным волоском. Она тоже щекотала ему кожу. «А слеза – можно ли заразиться от слезы?»

Парикмахер подровнял ему брови, прошелся бритвой вокруг ушей, обмахнул шею кисточкой. Обмахнул крылья носа. Стер крохотную слезинку. Пьер Моренторф встал, дал мастеру две монеты и протянул свою кредитную карточку.

Он вернулся на улицу Шаронн. Долго молился перед тремя сосенками. Потом снял одежду, принял душ, оделся. Заверещал дверной звонок. Эдуард протянул ему два пакета. Апельсиновый торт. Засахаренные каштаны. Пьер Моренторф не понимал, как это можно – засахаривать каштаны. Ведь у каштанов есть душа. Это все равно что Эдуард Фурфоз предложил бы ему полакомиться детскими ручонками, обваленными в сахарном песке. Они ужинали в белоснежной кухне Пьера Моренторфа.

– Здесь смертельно холодно, – объявил Эдуард.

Пьер поднял на него глаза и мрачно ответил:

– Месье знает, как меня развеселить.

– Пардон... Я хотел сказать, что здесь зверски холодно.

– Я что-то не заметил, чтобы у месье посинели уши.

– Я просто окоченел.

– Хорошо, я включу электрокамин.

Пьер встал, подошел к радиатору, повертел небольшую ручку и снова протянул Эдуарду блюдо с длинными ломтиками утинового филе.

– Не доверяйте Олуху, – сказал Пьер. – Он бьет жену.

Он предал Маттео Фрире. Он вполне способен резать вас во сне.

– Прежде всего я должен расправиться с Маттео. Потом уж буду думать о князе.

– Месье, вам нужно продать лондонский магазин. Без Перри доход падает.

– Нет.

– Хотите еще мятного соуса?

– Нет.

– Необходимо помочь Ренате в Риме. Ее магазин переполнен. Может, вам снова купить бутик во Флоренции? Месье не следовало так легко уступить Франческе. Итальянские банки...

– Я подожду, – сухо ответил Эдуард.

Они смолкли. Эдуард покончил с красным ломтиком утинового филе.

– Месье, я хотел бы попросить вас об одной вещи.

– Пожалуйста, Пьер.

– Не могли бы вы взять в ладони мое лицо?

Эдуард онемел от изумления. Он замер на несколько секунд, не зная, что делать. Потом вытянул руки над столом и сжал щеки Пьера Моренторфа. Пьер Моренторф сидел с закрытыми глазами. Минуту спустя он открыл глаза и посмотрел на Эдуарда Фурфоза.

– Я так одинок, – сказал Пьер.

– И вы тоже? – с улыбкой откликнулся Эдуард.

Эдуард взглянул на часы, сказал, что ему пора домой, что по поводу Лондона он посоветуется с Джоном Эдмундом и Франком и что они увидятся после этого «альтинга».

Он пригласил князя в ресторан. Эдуард всегда платил сам. Он никогда и ничего не давал даром. Правда, князь де Рель не заставлял себя упрашивать. Правда и то, что он был настолько богат, что деньги с трудом расставались с ним. Ему вечно хотелось больше. Ради этого он шел на любое жульничество. Князь сообщил ему, что у Маттео тяжелая депрессия: его последние решения расплывчаты и странны как никогда. Он по-прежнему хотел работать с Эдуардом.

Князь шумно выбил свою трубку над стеклянной пепельницей, которую официант поставил рядом с его тарелкой. Эдуард даже вздрогнул.

– Да-да, – ответил он.

Но отложил договор с князем. Снова пустился в разъезды. Побывал в Германии после знаменитого пожара на заводе Сандоса в Швайцерхалле. Вышел из машины. Осторожно взобрался на насыпь, ведущую к берегу. Наткнулся на огромную красную лужу хлора и серы, стекавших в Рейн и медленно – со скоростью три километра в час, но неотвратно спускавшихся по воде к морю, к Роттердаму. Это зрелище потрясло его.

Он увидел в жиже, вонявшей тухлым яйцом, мертвых лососей, мертвых лебедей, гниющие водоросли, мертвых цапель, мелких пресноводных крабов – тоже мертвых, они колыхались на красной воде у него перед глазами. Дошел до того, что позвонил тетушке Отти в ее уединенную обитель в Шамборском парке и сказал, что почти готов молиться. Молиться за реки, как она молится за своих ястребов, соколов и прочих пернатых хищников.

– Я не молюсь, – ответила она в телефонную трубку своим прерывистым, низким голосом. – Нужно не молиться, нужно ненавидеть. Ненавидеть людей. В чем сегодня разница между рекой, о которой заботятся люди, и сточной канавой?! В чем разница между Европой и помойным ведром?!

Он съездил в Швецию, в Норвегию, в Польшу, в ФРГ. Сделал запасы товаров на зиму. Продолжал обставлять свою квартиру на проспекте Обсерватории. Набивал ее стегаными креслицами, пуфиками с бахромой. Купил ширму Пьеро Форназетти «Дидона, плачущая перед игральными картами» из лакированного дерева, два метра на метр, 1953 года. Помпоны заполонили квартиру на проспекте Обсерватории, напоминая о цирковом манеже: подхваты с помпонами, подлокотники с помпонами, галуны ван Латема, зеркала, украшенные позументами, стулья железного литья с золотыми и зелеными шишечками.

Но в спальне этот избыток жарких тяжелых драпировок раздражал его. Вернувшись из Германии, он переоборудовал ее в абсолютно пустую комнату, белую, как кухня, с узенькой детской кроватью, приткнувшейся к голой стене, и выключателем-грушей, чтобы гасить свет.

На первом месяце рост составляет пять миллиметров. В два месяца – три сантиметра. В три месяца – семь сантиметров. В четыре месяца рост зародыша составляет тринадцать сантиметров, а вес – сто пятьдесят граммов. И все. На этом кончается детство. И на смену ему приходят гигантомания, мания величия, тоскливый страх. Реки багровеют, как кровь. Сама Земля уже обращается по искривленной орбите. В крошечном, отведенном ей уголке неба она вертится вокруг своей оси криво, как волчок, который вот-вот замрет и свалится на бок. Она выписывает вокруг Солнца нечто вроде предсмертного колеблющегося эллипса. Вполне возможно, что отчаяние Лоранс имело под собой почву. По крайней мере, так думал Эдуард, вернувшись из ФРГ. Нужно было спешить. Нужно было собрать «альтинг» скорее, чем он планировал, намного раньше исполнения задуманного, задолго до конца года, задолго до его отъезда в Токио.

«Альтингом» у древних исландцев называлось ежегодное собрание и судилище, где улаживались ссоры, определялись штрафы-выкупы за убийства, планы на будущий год. Эдуард срочно собрал свой «альтинг». В этом году Эдуард назначил местом встречи площадь Гран-Саблон, а не северную оконечность озера Олфусват, как в древние времена. Разумеется, Пьер Моренторф туда не явился, и впервые не явились ни Франческа, ни Перри. В брюссельском магазине собрались Марио, Пьетро, Франк, Соланж де Мирмир, Филипп Соффе, Том, Андре Алак Из Дахрана прибыл Джон Эдмунд Денд. Они

причалили к этой земле на своих драккарах – древних стругах с фигурами драконов на корме. Водрузили штандарт, вокруг которого бережно разложили свою добычу. Эдуард произвел раздел. Предупредил, что будет отсутствовать ближайшие двадцать дней, в течение которых они не смогут связаться с ним. Княгиня де Рель, заменявшая мужа, была принята на последнем заседании, когда они пили кофе.

Под лампой длинные, сморщенные, сухие и желтые руки тетушки Отти складывали белую скатерть, которую она только что отутюжила. Ее пальцы старательно расправляли скатерть, чтобы на ней не осталось ни единой морщинки. Потом так же старательно сложили ее уголок к уголку. Ему почудилось, будто она шепчет, разглаживая скатерть:

– Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут и ничего не собирают у антикваров; но Отец наш, что на небеси и окружен птицами, дарует им пропитание. Мой племянник куда хуже их!

Однако то был день молчания. И Эдуард решил, что стал жертвой чистой галлюцинации, объяснявшейся избытком чая (две чашки).

Лоранс сидела на полу возле очага, деревянно выпрямившись и сжав губы; она молчала, ее волосы были собраны в пучок. Золотистые глаза смотрели в пустоту. Она подняла воротник своей вельветовой куртки.

Внезапно тетушка Отти упала, опрокинув свою чашку чая и чайник на плиточный пол. Она не подняла головы, не встала. Так и осталась лежать, уткнувшись в поднос на полу.

– Тетя, тебе плохо? – закричал Эдуард по-нидерландски.

Лоранс вскочила на ноги. Ее лицо искажил страх. Прижав палец к губам, она призывала его к молчанию. Эдуард схватил тетку за плечи. Тетушка Отти, лежа на полу, на подносе, с поникшей головой, наконец прошептала, сама нарушив тишину:

– Ничего... ничего, малыш. Это просто слабость. Голова чуточку закружилась...

Она с трудом выговаривала слова. С ее губ свисала струйка слюны. В этом мгновении смешались неясное бормотание, чай и безмолвие. Он встал на колени рядом с ней. Белоснежный персидский котенок прибежал посмотреть, что случилось, и начал с удовольствием вылизывать остатки чая на полу. Эдуард нагнулся пониже, чтобы видеть лицо тетки. Ее голова лежала на коробке с печеньем, монументальный шиньон совсем сплюснулся. Она прошептала – почти неслышно:

– Тихо, малыш! Не будем нарушать обет молчания. Посмотри на Лоранс. Я бы сейчас выпила маленький стаканчик пива. Это просто легкий обморок, такое бывает из-за жары.

На следующий день в шесть часов он смог объявить им, что уезжает в Токио. В шамборской обители был день болтовни. У матери Анжелики появился новый фиолетовый мундштук – единственная ее уступка духу времени и нравам

века. В остальном она сохранила страстную приверженность к горным вершинам, высоким прическам и одиноким полетам. Тетушка Отти чувствовала себя намного лучше. Они сидели все втроем в просторной столовой на первом этаже «Аннетьера» и пили кофе. Вард хотел было зажечь лампу, но потом решил оставить все – вплоть до своего смущения – в тени.

– Я не знала, что ты собирался уезжать, – сказала Лоранс. – Роза сказала тебе?

– Что Роза должна была сказать мне?

– Что мне уже лучше. Я больше не занимаюсь животными. И потом, я тебе очень благодарна.

– Лоранс, я не виделся с Розой. И за что ты меня благодаришь?

– Роза мне сказала, что ты больше не путешествуешь ни на поездах, ни на машинах, ни на самолетах.

– Но Лоранс...

– А как же ты отправишься в Токио? Пешком?

– Не беспокойся. Если уж хочешь знать, я доберусь туда в портшезе и верхом на стрекозе.

– А мы еще увидимся? Или больше не увидимся никогда?

– Увидимся.

Теперь уже Лоранс решила зажечь лампу. Она стояла, деревянно выпрямившись, резко откинув назад голову. Ее била дрожь. Мюриэль и шофер приходили в «Аннетьер» только к половине девятого. Лоранс изо всех сил дергала за подол узкого черного платья, которое носила с утра, натягивая его на низ живота между ногами, как пятилетний ребенок. Она явно стремилась потуже обтянуть тканью живот, чтобы он был виднее. Нагнув голову, она погрузилась в скорбное созерцание своего живота.

Прошло минут десять, и она заплакала. На ее лице читался ужас. Такой ужас, что Эдуард обернулся к двери, ведущей в кухню, чтобы посмотреть, что ее так напугало. Но там ничего не было. Этот ужас шел изнутри. У нее распухли глаза. Она сильно осунулась.

– Я совсем не спала. Мне хочется заснуть, – сказала она, и на глаза у нее снова навернулись слезы.

Тетушка Отти что-то пробормотала, встала, обняла Лоранс. Та разрыдалась в полный голос, всхлипывая и еле выговаривая:

– У меня больше не получается делать пи-пи...

Ее платье намокло. Они вымыли ее. Уложили в постель. Когда пришли Мюриэль и шофер, Эдуард уехал. Все то время, что машина катила сквозь серый, влажный туман, Эдуарда преследовало это горькое видение: пока тетушка Отти помогала ему раздевать и укладывать Лоранс Шемен в постель, он заметил на спине Лоранс следы от слишком тугих бретелек бюстгалтера. Эти узкие красноватые бороздки на спине и под грудью внушили ему непонятно острую, душераздирающую печаль. Словно складки на мокром песке, когда море уходит за горизонт.

В иллюминатор он увидел белые островки. Он прибыл в Токио, где стоял ледяной холод. Взял такси, в котором пахло черносливом. Радостно вдохнул аромат чернослива, затерявшийся на краю света. Ему чудилось, будто Токио превратился в большую бумажную деревню, пестревшую садами, которые припудрил белый иней.

Он попросил шофера такси немного подождать его. Толкнул дверь бакалеи, пересек магазинчик, затем подсобку, забитую мешками риса и старыми кувшинами, опустился на колени, поздоровался, на секунду спрятал лицо в ладонях: он находился перед самым умелым мастером древней Японии. Они посовещались шепотом.

Он снова сел в такси, благоухавшее черносливом – сушеными сливами из города Ажан. Наконец такси остановилось. Эдуард расплатился и вышел. Углубился в проулок.

На выходе из проулка, в самом центре Токио, стоял длинный деревянный дом под серой тростниковой крышей; дом был пуст и сдавался на месяц. Он прожил в нем две недели, страдая от холода, в обществе старого чайника. Спал под пестрым стеганым одеялом.

Он выходил из дома только для того, чтобы посещать традиционный ежегодный аукцион. Все японские мастера приезжали в столицу и в течение месяца выставляли на продажу миниатюрные поделки – талисманы на будущий год. Никто не знал, где он находится. Он кутался в широкое пальто из зеленой саржи, подбитое мехом, которое одолжила ему хозяйка длинного дома с тростниковой крышей. Ходил в городской парк. Затем возвращался домой и спал.

Здесь он был вполне счастлив. Послал множество смертоносных цветов. Выявил сеть, которой владел Маттео Фрире, умело воспользовался болезнью, которая обрушилась на того. Прорвал эту сеть, поразил его в самое сердце. И начал уничтожать – постепенно, по частям.

Он много размышлял, но так и не уразумел, чего же добивается на самом деле. Хозяйка дома навещала его раз в два дня, из чистой учтивости, в сопровождении женщины, которая занималась хозяйством. Однажды она на очень медленном и плохом английском попыталась рассказать ему, по его просьбе, о приключениях японского Мальчика-с-пальчик. Она называла его Иссун Боши. Он был ростом с мизинец. Наперсток служил ему то лодочкой, то чашкой для риса, то шляпой. Иголка – то веслом, то палочкой для еды, то мечом. И той же иглой он сражался с муравьем. Ему было 1234 года. Женские слезы являли для него целый океан, который он переплывал в своем наперстке за много месяцев.

– На самом деле это я, – сказал Эдуард Фурфоз своей хозяйке, поклонившись ей семь раз. – Вы так любезно нарисовали мой портрет.

Глава XIX

*Мы уподобляемся детям, что
бегут за мыльным пузырем,
который сами же и надули.*

Грифиус [75]

Он вернулся через Венецию. Снова окунулся в холод, дождь и ледяной, хотя и мягкий, зимний свет над лагуной и мостами. Империя Маттео Фрире рушилась на глазах, окончательно и бесповоротно. Эдуард знал, что Маттео сейчас во Флоренции, что он там отдыхает. Было воскресенье 14 декабря. Праздник святой Оттилии. Он вызвал на несколько минут Шамбор. В ожидании звонка подошел к окну кафе. Дождь заволок Дворец дождей почти черной пеленой. Он переночевал у Пьетро, мастера-позолотчика, жившего в еврейском гетто квартала Каннареджо. Они обсудили решения «альтинга». Эдуард повел его ужинать в Арсенал, где подавали мелких голубей на вертеле. Каждый из них шел под зонтиком – символом Венеции, если не считать второго символа – резиновых сапог. По пути они увидели львов. Дошли до входа в Арсенал, поднялись по деревянным мосткам. За столом выпили немало, даже многовато, белого вина. Пробираясь по мостику, залитому водой, с зонтами в руках, они испытывали ощущение, что видят лужу, а в ней развалины маленького порта, построенного ребенком из песка, обточенных морской водой стекляшек, иссохших водорослей и обломков крабовых клешней, которому грозит неотвратимая гибель от подступающего моря.

Он доехал до аэропорта Марко Поло. Два часа спустя был уже в Париже и входил в свою квартиру на проспекте Обсерватории.

Опустившись на колени, он подложил полено в очаг и, продолжая растирать руки, подул на тлеющие угли. Они внезапно вспыхнули ярким белым пламенем. Он резко отвернулся. Встал на ноги. Золотые и белые сполохи неровного, колеблющегося огня заиграли на тяжелых переплетах в книжном шкафу, на стопках глянцевого каталогов, загромоздивших письменный стол, на медных оконных карнизах и лампах, в воде зеркал. Он был и счастлив, и подавлен. Ему никак не удавалось окончательно угнездиться в этой квартире, спокойно и безмятежно жить в ней. Он чувствовал себя неприкаянным, слишком одиноким. Воображение бередило всякие ужасы, столь пугающие, что в конечном счете он тешился ими, как дитя – сказкой.

Он присел на корточки возле застекленной двери, распаковал большие каминные часы из лилово-черного порфира, с фигуркой бога-быка, похищающего обнаженную Европу в окружении позеленевших медных тритонов. Водрузил их на каминную полку из голубовато-зеленого мрамора. Отсветы огня, отражение мерцающей бронзы в темном зеркале напротив зрительно увеличивали размеры и массивность часов.

Он выпил горького пива, размышляя об этой квартире, купленной по немому внушению призрака былой своей подружки. Эдуарда необычайно взволновала мысль, что он совершил покупку под таким влиянием. Ему пришло на ум слово «фагоцитировать», «поглощать». Он подумал: «Мы просто личинки. А квартиры – наши коконы. Кокконы, сделанные из камня и шелка, чьей нитью мы, жалкие личинки, лишенные надежды преобразиться в бабочек, плотно оплетаем себя, желая защититься от себе подобных, уповая на то, что она поможет оберечь наши тела в их многочисленных метаморфозах сна, сексуальности,

возраста. Неуклюжие личинки, усердно наматывающие на себя шелковую нить. Живущие в постоянном ужасе перед последней метаморфозой – смертью. Я прожил целых сорок лет, категорически не желая иметь собственного пристанища, – и как же я был прав».

Особенное уныние наводила на него сегодня ванная. А ведь ему всегда нравилось это старинное блеклое помещение, с примыкающей к нему туалетной комнатой, темной, душной, обитой красным бархатом, с тусклыми зеркалами, перед которыми невозможно было бриться и трудно причесываться, с двумя старенькими шаткими столиками, черным и желтым.

Именно сюда он каждое утро приходил посидеть и помечтать за чашкой кофе. В ожидании, когда под дверью зашуршит почта. Он бросался к двери. Торопливо разрывал конверты. Находил новые свидетельства крушения бывшего друга и – не испытывал того удовольствия, которого так долго ждал.

– Походный алтарь из жести, с дароносицей.

– Нет.

– Распятие, подвижное, на пружинах.

– Крики издает?

– Нет.

– Тогда не покупаю.

Эдуард Фурфоз услышал в телефонной трубке гнусавый но теперь уже болезненно дребезжащий смешок Пьера Моренторфа. Пьер явно принуждал себя смеяться А Эдуард принуждал себя острить. Такое веселье граничило с отчаянием агонии. Эдуарду невыносимо было видеть его. Чаще всего он ему звонил. Пьер настолько похудел и ослаб, был настолько угнетен, что попросил Эдуарда раздобыть ему немного кокаина. Эдуард не выполнил эту просьбу. Они шутили, похохатывали. Эдуард добавил сквозь смех:

– Мы можем обойтись без крови, но без криков нам не обойтись.

По утрам, после ночи, проведенной у Розы, он любил смотреть на вчерашние, раскиданные по полу просторной гостиной лофта игрушки маленькой Адри. Маленькая желтая заскорузлая губка, голубая ручка без колпачка и чернил, легонький оранжевый махровый мячик.

Иногда, пока он еще не встал, девочка взбиралась на постель, стаскивала со спящих простыню, месила ножками их тела. Ее волосы щекотали им лица. В темноте спальни она ползала по ним на четвереньках, больно надавливая коленкой на щеку, на член, на нос, на живот и безжалостно будя обоих.

– Это я, – сообщала она шепотом.

Так она, несомненно, хотела успокоить их, что речь идет не о налете полиции и не об океанском лайнере, причалившем к двери спальни.

Роза просыпалась. И начинались нескончаемые ритуальные сцены с бурными обвинениями и ядовитыми упреками. Любая мелочь служила поводом для скандала. Все, буквально все – отказ Эдуарда летать на дельтаплане, отказ Эдуарда поселиться на севере Европы, отказ Эдуарда носить галстуки, отказ

Эдуарда заняться политикой, отказ Эдуарда завязать с пивом – выглядело в глазах Розы ван Вейден непростительным отклонением от нормы.

В конце декабря было решено, что ни Адри, ни Юлиан, ни Эдуард не будут больше есть сахар. Вдобавок Роза объявила, что дефицит цинка в организме приводит к старческому слабоумию и потому они должны дважды в неделю съедать по две дюжины устриц.

Роза ван Вейден вечно опаздывала. Они ужинали то в половине десятого, а то и вовсе в десять часов. У Адри смыкались глаза. Эдуард все реже приходил в квартиру на улице Пуассонье. Роза ненавидела квартиру Эдуарда, который ни разу не спросил у нее совета по поводу обстановки. Она находила ее старозаветной, грязной, уродливой, плюшевой, викторианской – берлога, а не жилье.

Роза попросила его провести с детьми неделю после Рождества в бернских Альпах. Эдуард отказался.

– Сегодня вечером, – постановила она, – каждый получит восемь устриц, пару крутых яиц и салат из одуванчиков.

Народ – Адри, Юлиан и Эдуард – зароптал.

Во время ужина Роза принялась восхвалять достоинства прованского вина и осмеивать пиво. Эдуарда это покорило, и он сказал ей об этом. Они слишком много пили. Когда они ссорились, Адриана пряталась в стенной нише.

Эдуард Фурфоз встал с душевной болью. Наступило Рождество. Он был один в своей длинной квартире на проспекте Обсерватории. В стране на этот день срубили восемь тысяч гектаров елей. Он подумал о тетушке Отти. Вдруг ему стало трудно глотать, и он поднес руки к горлу. Он физически чувствовал, что сейчас в стране сто двенадцать миллионов раз сворачивают шеи ста двенадцати миллионам индеек.

– Настоящее Рождество! – так приказали ему Роза и Юлиан.

Он вышел на улицу – день был теплый – и сложил в арендованную машину большие пакеты. Маттео Фрире пришлось выставить на продажу свой склад в Ливерпуле. Эдуард раздумывал, не купить ли ему, пользуясь кризисом, маленький заводик в Лимбурге, в тридцати километрах от Хассельта. Почти новый, но обанкротившийся завод. Ему позвонил с этим сообщением президент «Влаам Экономит Вербонд», старинный друг его отца. Он колебался, решая, стоит ли перевозить во Францию свои килбернские сокровища. К 22 декабря они трижды превысили рекорд 29 мая 1984 года: в тот день цена на куклу Марси 1690 года достигла в Лондоне, на аукционе «Сотбис», ста восьмидесяти пяти тысяч франков (шесть белых тюльпанов).

Квартира благоухала картофельным пирогом. Роза протянула ему стаканчик портвейна. Он отдал его Адриане. Адри подошла к камину, но пить отказалась. Тогда Юлиан взял у нее стаканчик и выплеснул вино на горящие поленья. Адриана заплакала. Эдуард велел ей встряхнуть мертвую елочку, увешанную крохотными куколками, красными сахарными яблочками, конфетами,

игрушками. Когда все украшения – и почти все иголки – оказались на полу, они сели на ковер и дружно разорвали цветные пакеты.

– Вот здорово! – завопила Адри.

– Ты мог бы надеть галстук, – сказала Роза.

– Неплохо, – пробормотал Юлиан.

– Это что такое? – спросила Роза.

– Чучело двурогой птицы-носорога, оно мне приглянулось, – ответил Эдуард. – О! Какой замечательный сюрприз! Великолепный галстук! Спасибо, Роза!

– Вот и надень его.

Он надел его, встал, чтобы поцеловать Розу, и тут же стащил с шеи. Сел рядом с Юлианом. Он подарил ему – хотя боялся, что это покажется детской игрушкой и обидит тринадцатилетнего подростка, – новенький электрический поезд фирмы «Марклин», в масштабе 1:200. Эдуард осторожно держал двумя пальцами чудесный крошечный – четыре сантиметра длиной – паровозик; его красно-черный цвет превратился под абажуром в синевато-розовый.

Юлиан вынул из коробки рельсовый круг, стрелки, пульт управления. Пространство между рельсами равнялось 6,5 миллиметра. Эдуард и Юлиан улеглись на пол и начали работать.

Роза пинала его ногой, требуя выпить вместе с ней. Юлиан сказал, что хочет большой стакан молока. Эдуард попросил того же.

– Тебя, верно, вскармливали из рожка. Держу пари на двести франков, что тебя не кормили грудью.

Эдуард поднял голову и взглянул на Розу.

– Это правда. А почему ты это сказала?

– Потому что у тебя вялое сердце.

Он сел и, приложив руку к сердцу, долго вслушивался.

– Нет, не думаю, – сказал он. – Ты сегодня говоришь мне гадости.

– Твоя жизнь вертится вокруг игрушек. В ней одни только игрушки – металл, стекло, дерево, гипс, чешуя...

– Не только. Еще плюш.

– Ну вот видишь! Именно что плюш, а не живая кожа. Ты меня правильно понял. Ты меня понял с полуслова. Сам признался. Ладно, вставайте! Все к столу! А то устрицы остынут.

Был понедельник 29 декабря. Эдуард шел к Пьеру Моренторфу. Эдуард порылся в карманах, ища мелочь, чтобы расплатиться с торговцем каштанами на углу мостика, ведущего к Собору Парижской Богоматери. Эдуард не видел Розу с 26 декабря. Он попытался прожевать каштан. И выбросил горячий сверточек в воду.

– Я изменяю себе, – пробормотал он. – Это ведь жаровня, аромат жареных каштанов. Удовольствие ощущать в руке обжигающие каштаны в кулечке. Главный атрибут зимы и печальных зимних холодов. Горячие каштаны – теплый кашемир – ледяная снежная каша. И одинокая печаль среди зимы...

Он позвонил в дверь. Преподнес Пьеру овальный латунный поднос с камнем, на котором росли маленькие – сорок два сантиметра в высоту – японские елочки, насчитывающие двести двадцать лет.

Пьер похудел еще больше. Теперь он весил шестьдесят восемь килограммов. Эдуард подумал: все, кого я люблю, страдают этой тенденцией к уменьшению. Они ели ракушки, улиток, моллюсков-венерок, крабов.

– Ай!

Эдуард Фурфоз больно оцарапал верхнюю губу тонкой железной спицей. Этот укол произвел в нем странную метаморфозу. Он отвлек его от вялости и мрачного молчания Пьера. И вызвал воспоминание – очень смутное и столь же скупое. Но, будучи скупым, оно все-таки оставалось живым. Он сидел рядом с девочкой, в которую был влюблен, но у которой не было ни лица, ни имени. Они читали. Читали, сидя на низенькой железной оградке, обрамлявшей лужайку. Читали вместе комикс, который назывался «Плик и Плок». Девочка смеялась – он ясно помнил эту радость, эту лихорадку, эту непосредственность без имени. У нее блестели глаза. Он ощущал тепло ее тела. Ощущал ее запах. Она ела тартинку с темным медом, от которого сладко пахло акацией. Ее пальцы липли к страницам. Она то обнимала его рукой за плечи, то убирала ее. Он сидел, цепenea от смущения, когда чувствовал ее руку у себя на плечах. Ее рука лежала у него на плечах, и в нем поднималась какая-то безбрежная печаль. Он не знал, что ему делать, что говорить. Рука девочка жгла ему плечи. Ему хотелось умереть.

Потом он вспомнил, что как-то его пригласили к ней на обед, на проспект Обсерватории. Им было тогда, вероятно, лет семь. Тетушка Отти довела его до самой двери. Его впустил важный дворецкий. С ним кто-то заговорил. Он обернулся: тетушки Отти уже не было. Он не слышал и не понимал, что ему говорят.

Они ели язык. Соус был густой, беловатый, и в нем было полно корнишонов, нарезанных кружочками; они неприятно скрипели на зубах. Он никак не мог проглотить этот язык. Он думал: как это можно – класть в рот чужие языки? Языки коров, языки быков, языки женщин – их очень трудно жевать. И совсем уж трудно глотать. Девочка с косой, застегнутой на кончике голубой заколкой, громко рассказывала про Элизабет Верн, которая объявила в классе, что Эдуард – самый красивый из всех мальчиков. Он краснел, слушая ее, и от смущения, поднося ко рту вилку с кусочком языка, промахнулся и больно уколол верхнюю губу, возле носа. Он закричал во весь голос. И от этого покраснел еще больше, смешался вконец. Неизвестно зачем слез со стула. И расплакался.

Эдуард Фурфоз проклинал себя. Он не забыл про Элизабет Верн, но не мог вспомнить имени девочки-призрака, которая преследовала его, маленькой сирены, которая так часто подзывала его к пенной оборке волн на берегах прошлого, среди обрывков забытых интонаций, птичьих перьев, выбеленных косточек. Пьер подарил ему черный вигоневый жилет. Снова попросил сжать в ладонях его лицо. Он протянул руки над пустыми раковинами мидий. Из губы сочилась кровь.

Он стукнул в дверь. Тетка не отозвалась. Он открыл сам, подошел к постели. Было семь часов утра, но тетушка Отти, в коричневой сеточке на волосах, еще спала. Он поцеловал ее в лоб, у самого края сеточки.

Старая дама резко, точно вспугнутый хищник, подняла голову.

– Что случилось?

– Тетя, уже поздно. Нам нужно быть в Антверпене к концу дня. Новый год на носу.

Она встала, накинула фиолетово-желтый халат.

– Ты что-то бледен, малыш. У тебя усталый вид.

– Поторопись, тетя. Уже очень поздно. Семь часов утра. А нам еще нужно добраться до Северного вокзала. Моя арендованная машина не очень-то надежна.

Они спустились в столовую выпить кофе. Лоранс уже оделась. Ее джинсы прорвались на правом колене. Она надела толстый мужской свитер и отцовскую вельветовую куртку. Волосы были растрепаны, на пальцах отросли длинные острые ногти. Она держалась еще прямее, чем прежде, была еще прозрачней и красивее, чем прежде.

Она оставалась в «Аннетьере» на попечении Мюриэль. Шофер взял неделю отпуска на праздники. Ей предстояло встретить Новый год в обществе белого персидского котенка, который носил имя Пус и помогал ей бороться с навязчивыми страхами.

Рене, телохранитель и шофер его матери, встретил их на антверпенском вокзале. Церемонный и предупредительный, низенький коренастый толстячок Рене обрызгал свои красивые вьющиеся седые волосы духами с приятным, но очень уж назойливым ароматом. Они опустили стекло в машине. Они дрожали от холода.

Он побагровел, как петушинный гребень. Сиял от счастья. Разыскал свою сестру Аманду.

– Она меня поцеловала, – сообщил он ей. – Мама меня поцеловала!

Аманда побледнела от зависти. Эдуард рассказал ей, что отыскал мать, затерявшуюся среди двухсот или трехсот гостей, вот уже двадцать часов заполонявших особняк на Корте Гастхюйсстраат Он подстерег ее внизу, у подножья мраморной лестницы. Угадал ее приближение по запаху сигарет Player's. Она подходила к мраморным ступеням. Он помахал ей, и она его узнала.

– Дитя мое! – сказала она по-нидерландски.

Взяв его за плечо и поцеловав в лоб, она громко крикнула:

– Дорогое мое дитя, я хочу представить моего дорогого Ганса, моего дорогого министра.

Эдуард пожал протянутую руку министра.

– Ах, милое мое дитя! – добавила она (со своим всегдашним легким страхом в глазах, словно ее пугала сама мысль о том, что у нее могли родиться дети). – К сожалению, я очень занята.

И она снова затерялась в толпе.

– Ну, теперь мне хватит счастья на десять лет вперед, – признался он Аманде.

– Или на всю жизнь! – съязвила Аманда, обиженно скривившись.

Он отошел от нее. Поискал глазами Жофи. Нужно было выпить. Нужно было чем-то отмстить эту победу. Он поднялся на второй этаж, в гостиную, к которой примыкала курительная. Взял бокал, до краев наполнил его шампанским. Сел в кресло. Над буфетом висела великолепная картина «Мертвый ребенок среди своих игрушек», одно из последних полотен Матейса ван ден Берга, датированное 1686 годом. Эдуард выпил шампанское, не отрывая глаз от картины, вне себя от счастья. Он представил себе, какие шуточки отпустили бы Роза или Пьер, или Франческа, или Лоранс, или Мужлан, или Джон Эдмунд Денд, если бы они увидели это полотно, эту «Тщету» с такими живыми и такими скорбными красками. Один лишь Маттео Фрире знал эту картину. Он ее показал ему в 1975 году, в тот единственный раз, когда Маттео приезжал сюда.

– Мама поговорила со мной! Мама поговорила со мной!

Эдуарду Фурфозу было сорок шесть лет, но это событие настолько взбудоражило его, что голос дрожал и срывался. Он похвастался своим триумфом перед всеми братьями и сестрами. И все они едва сумели скрыть досаду и зависть. Это только усилило его торжество. Братья допрашивали его вопросами: «Почему бы тебе не вернуться в страну?» Или: «Почему бы тебе не продать свои магазины и не осесть тут?» Он уклонялся от ответа. Они сообщили ему о трудностях, которые переживал Маттео Фрире, поинтересовались, не внушает ли ему это беспокойства, не боится ли он обвала на мировом рынке миниатюр. Он изобразил страшное удивление, услышав о катастрофе, постигшей Маттео Фрире. Поблагодарил их за участие: нет, ему не нужны никакие займы. Они так и не уразумели, что ему претило брать у них деньги. Он сел рядом с тетушкой Отти, дремавшей в уголке на диване.

Он видел океан в двадцати метрах от себя – умирающий океан. Ему всегда казалось, что созерцание моря наводит на него ужас, а близость к нему повергает в какое-то гипнотическое оцепенение. Море таинственным образом притягивало его к себе – так бездна притягивает человека, подверженного головокружениям. Волны, вздымавшиеся у его ног, походили на гигантские челюсти. Сколько уже веков они пережевывали прибрежные скалы, дробили их на песчинки и выпускали назад в виде пляжей.

Он поднял воротник пальто. Было очень холодно. Застывшие уши казались стеклянными и грозили расколоться, приди ему в голову дурная мысль сжать их руками, чтобы согреть.

Он жил так, словно у него осталось всего три дня на устройство своих дел перед тем, как море поглотит его. Он был сыном Гримра или Ролло.^[76] Небо и море сливались воедино, в неразличимую молочную пелену, там, вдали, где встречались поверх Северного моря текущие навстречу друг дружке Эско и Темза.

В детстве он думал, что Америка лежит именно в том месте, где оба речных устья растворяются в морском просторе, питаясь там морскими волнами и участвуя, подобно неиссякающей струе фонтана, в этом вечном круговороте вод.

Созерцание моря постепенно ввергало его в тоску. Он увидел на воде бутылку из-под «Кока-колы». Наклонившись, разглядел плавающие тут же обожженные кончики спичек. И сказал себе: «Это не море, это ртуть. Здесь смешиваются ртуть и нитраты, а не Эско с Темзой. Это не море: здесь гибнут птицы и растения, моллюски и тюлени. Это не море: здесь иллюзии, дети, лягушки и мелкий мусор теряются и исчезают безвозвратно».

Было раннее утро. Эдуард, еще не одетый, голый, стоял на коленях. Он свернул ковер, лежавший на полу. Смешал жавелевую воду с водопроводной, намочил в смеси маленькую губку. Открыл стеклянную витрину. Начал вынимать одну за другой машинки из жести, из прошлого века. Под влажной губкой их цвета оживали. Затем он протирал их кусочком замши.

В шесть часов он оделся. Отправился к Жофи. В это время она уже вставала. Среди всех Фурфозов Жофи считалась самой большой соней. На улице стоял пронизывающий холод. Жофи жила на низком холме к востоку от Берхема. Эдуард миновал заводы, подошел к парку. Тот представлял собой не рощицы, не опушки, не тропинки, петляющие в зарослях крапивы и колючек, а скопище серых призраков: туман висел клочьями на древесных ветвях, окутывал стволы и корни; внутри этой хмари было сыро и зябко.

Он отворил железную калитку. И остановился, разглядывая голые коричневые ветки на фоне белого неба. В их сплетениях ему виделись какие-то неведомые формы, замки, чудовища, потом тела, потом огромные инициалы имен и фамилий.

Один особенно затейливый сук напоминал не то букву Р, не то F, и он никак не мог определить, что же он изображает. Подумал, вспомнил имена – Пьер, Франческа. Но тут же решил, что лучше смириться и оставить эту затею.

И все-таки, вернувшись в Брюссель, в магазин на площади Гран-Саблон (тетушка Отти еще накануне села в самолет, чтобы поскорее добраться до Шамбора, где ее ждали Лоранс, хищные птицы, Пус и молчание), он продолжал думать о них. Да и позже, два дня спустя, эти лишённые смысла инициалы все еще продолжали занимать его в Брюсселе, на вокзале, где он ждал скорого поезда, отходящего в 17.14. Он копался в памяти. Перебирал их, примеривал к именам, к фамилиям, стоя на ледяном перроне шестнадцатого пути южного направления и кутаясь в свое зеленое шерстяное пальто с поднятым воротником. Но все было тщетно: инициалы молчали.

Глава XX

*Каждый рог на голове
улитки несет на себе целое
царство.*

*Возможно, вся вселенная
превосходит размерами правый
глаз малярийного комара.*

Су Дун-по' [77]

Январь 1987 года начался плохо. Пастилки «Valda» покинули Дьепп и перебрались в Англию, закупленные фирмой Sterling Grag Incorporation. Оба южноамериканских общества Маттео Фрире обанкротились, но их успел перехватить нью-йоркский филиал. В Японии сеть Маттео Фрире перешла в руки Эдуарда Фурфоза. На второй неделе января мороз достиг апогея. Настал праздник Святого Эдуарда, он сразу понял это по нагрянувшим холодам. Оконные стекла покрылись ледяными узорами из папоротников. С карнизов окон, с балюстрад балконов, с мостовых пролетов и ветвей каштанов – отовсюду свешивались сосульки.

Отопление квартиры на проспекте Обсерватории не выдержало стужи. Это случилось как раз на Святого Эдуарда, 5 января. Он провел дома еще одну ночь, одурманенный холодом и легкой лихорадкой, потом все же перебрался к Розе и тут же заразил Адриана. Роза неохотно согласилась приютить его на ночлег.

Среди ночи Адриана с кашлем открыла дверь их спальни, вскарабкалась на кровать, влезла под одеяло и долго возилась, устраиваясь в постели; она принесла с собой холод и жар – холод озябших ножек, жар пылающих щек и рук. Уши у нее горели. Из носа текло. Начались нескончаемые полуночные объяснения.

Время от времени ему удавалось задремывать, но Адриана тут же безжалостно толкала его локтем в живот.

– Ты меня любишь? Ты меня любишь? – приставала она к нему, трясая за плечо, шлепая ладошкой.

– О Господи, да замолчите же вы оба! – кричала Роза. – Кончайте болтать. Адриана, марш в свою комнату! Могу я хоть немного поспать?

Город казался теперь не просто красивым, он стал божественным. Холод был так свиреп, что замораживал все чувства, все человеческие эмоции и жизненные печали. Даже страх смерти и тот оледенел, застыл. Париж оделся блистающей белой пеленой, от этой белизны перехватывало дыхание. Как ни страшна была стужа, поневоле хотелось замедлить шаг, чтобы насладиться сиянием, исходящим от утреннего снега. Все сверкало, все дышало другой, неведомой жизнью, более чистой, более отрешенной, вечной. У людей были синие уши, пальцы на руках не сгибались, воздух обжигал горло.

Безмятежный ледяной покой снизошел на город. По Сене медленной чередой плыли белые сугробики, на которые он смотрел сверху, из окна своей маленькой фирмы, расположенной на углу набережной Анатоля Франса и улицы Сольферино. Поезда встали. Памятники превратились в бесформенные айсберги, медленно плывшие навстречу смерти. Жар жаром, аспирин аспирином, но Эдуард все равно выходил на улицу. Он созерцал этот мирок,

который, как ему казалось, знал лучше всякого другого, находя в нем нечто согревающее, близкое теплу, исходящему из самой глубины сердца.

Он понял, что мысль сделать спальню безупречно-белой подсказана ему либо образом этого снега, либо воспоминанием о белой спальне Лоранс. Теперь в этом пустом помещении в двадцать квадратных метров только и остались, что узкая железная кровать, груша-выключатель из светлого дерева, с помощью которой зажигалась голая лампочка, да низенький столик в центре, а на нем пять безмолвных музыкантов из крашеной жести, со смычками, воинственно пронзающими воздух над немymi скрипками, или с палочками, воздетыми над немymi барабанами. Ему вспомнился вокзал в Антверпене – Antwerpen Centraal – под снегом. И Нотр-Дам в зимнем свете, и убеленный Лувр, затаившиеся, точно звери в засаде. Все ждало Богоявления.

И боги явились. Можно ли отличить смерть от того, что пожирает в смерти? Пока Эдуард в офисе говорил по телефону, Пьер рухнул наземь. Мужлан, находившийся в Нью-Йорке, на «Сотбисе», только что получил секретную информацию от Майкла Камети из Minneapolis Institute of Art о восковой кукле Иисусе, похожей на ту, что хранилась в музее Сен-Дени и датировалась 1772 годом. Глаза Спасителя можно было открыть или закрыть, потянув за шнурок, свисавший из-под его шелкового вышитого хитона. Открытые глаза Иисуса блестели. Поистине великий Бог – его стоимость достигала трех гладиолусов и семи тюльпанов.

Эдуард бросил трубку и уложил тело на ковер. Пьер не потерял сознание, но дышал еле слышно. Его глаза блестели.

– Вы неважно выглядите, Пьер.

Пьер с трудом набрал воздух в легкие. Его дыхание мешалось с хрипом. Он потерял больше пятидесяти килограммов. Теперь этот колосс весил всего сорок два – сорок три кило. Пьер попытался заговорить:

– Месье, я уже не человек, а ходячий иммунодефицит, я...

Он заплакал. Эдуарду невыносимо было видеть эти слезы.

– Да нет, что за глупости, вы нормальный человек, – сказал он.

Все, кто его любил, неизменно покидали Эдуарда. Внезапно ему вспомнились два лица за оконным стеклом на улице Бурбон-ле-Шато – лица Лоранс и Матео Фрире, увлеченных беседой. Их глаза радостно блестели. Он так никогда и не заговорил об этом с Лоранс. И она так никогда и не открылась ему.

Эдуард вызвал медсестру, которую Пьеру недавно пришлось нанять для услуг. Эдуард Фурфоз не в силах был видеть эту слабость, эту худобу, страх и мужество Пьера. Из его зрачков глядела смерть. У Эдуарда сжималось горло при виде Пьера, когда тот, шатаясь, входил в офис. Одна из секретарш не смогла вынести присутствие этого истощенного призрака – а может быть, побоялась заразиться – и уволилась. Эдуарду Фурфозу все чаще приходилось подавлять в себе желание взять его за руку, вывести из комнаты и отправить в постель, лишь бы он стал невидим. Пьер умолял раздобыть ему наркотики. Эдуард снова

увиливал от ответа в течение двух-трех дней. Потом категорически отказал. Эдуард считал, что следует всеми силами отрицать смерть или по крайней мере отказаться от сочувствия, в котором всегда есть доля унижительной жалости, если не пособничества. Он решил по горло загрузить Пьера Моренторфа работой, сократив количество вечеров, когда они оставались вдвоем, до одного в месяц. Однажды вечером, ужиная с Мужланом и его женой, он по секрету переговорил с этой последней. Рассказал ей о страданиях Пьера Моренторфа и вручил сверточек размером с колоду игральных карт, в котором лежали крошечные пакетики – они служили валютой на двух последних азиатских торгах. Он попросил ее давать Пьеру Моренторфу каждые два дня по паре этих невесомых пакетиков. Строго запретил сообщать ему, откуда они взялись. Мадам Мужлан согласилась.

Медсестра и секретарша помогли Пьеру сесть в такси. Эдуард вызвал княгиню и попросил ее зайти к Пьеру с новой порцией наркотиков. Сам же вышел в сияющий белый город. Поехал в Шату, где встретился с Соффе.

Вечером, когда Роза наливала себе уже четвертый стаканчик виски, Эдуард вдруг встал и пошел на кухню за вишневым пивом. Он чихнул. Поспешно вынул платок. Не заметил, что вместе с платком извлек из кармана еще что-то, упавшее на пол. Роза увидела на полу маленький, не то голубой, не то зеленый предмет.

– Ты что-то потерял, – сказала она.

Она присела на корточки и, шлепая босыми ногами по полу, подскакивая, точно борец сумо, добралась до предмета, схватила его.

– Надо же, заколка! Значит, теперь ты разгуливаешь с заколками в кармане?

– Оставь меня в покое.

Эдуард жестоко покраснел. Он вырвал заколку у нее из рук и сунул в карман. Розу рассердил этот грубый жест. Она громко спросила:

– Ну и чья же это пластмассовая дешевка?

И она зло оскалилась. Ей нравилась эта гримаса, при которой у нее на щеке напрягся мускул, похожий на жесткий мужской член. Эдуард терпеть не мог этот оскал.

– Роза, я тебя умоляю! Я болен.

Он отказался говорить, как она ни бушевала. Пошел на кухню за бутылкой пива, которого ему так хотелось, вернулся со стаканом воды, ложечкой, двумя порошками аспирина и пакетиком сахарной пудры. На все расспросы Розы отвечал молчанием. Мешал ложкой в стакане, стараясь не звенеть и слушая, как она нагромождает обвинение за обвинением и называет его «несчастьем» своей жизни.

Февраль, март: никаких перемен. Но в субботу 21 марта 1987 года, в 3 часа 52 минуты вдруг началась весна. Весна, которая помнилась по прежним временам такой свежей, такой нежной, такой цветущей. Однако ничто не расцвело под потоками дождя.

В течение этих месяцев он не хотел видиться с Лоранс. Лоранс связалась с Пьером. Пьер молился перед своими крошечными деревцами. Они обменивались словами своих личных молитв. Эдуард тайком от Пьера взял на работу Мужлана. Но это раскрылось. Он купил пару одеял, одно из козьей шерсти, второе из шерсти-сырца, шесть пар носков, плед шотландского клана из Лоуланда. В конце февраля в Риме он одержал окончательную победу над Маттео Фрире. В конце марта принял в Париже Гретль Алчер. Она выступила в театре Ранелага. Поселилась в его квартире на проспекте Обсерватории. Отопление уже починили, батареи грели вполне сносно. Он снова увидел, хотя и с меньшей радостью, чем выказал внешне, зальцбургских кукол, puppen, в руках Гретль: их тела из дерева и кружочков пенопласта гордо распрямлялись в патетических позах во время пения, потом вялой кучкой оседали на пол в тишине.

Позвонила Роза. У нее находились княгиня де Рель и Соланж де Мирмир. Княгиня просила его прийти. Князь снова избил ее. Факт оставался фактом, князь и впрямь был жесток: ему нравились две вещи – коллекционировать мебель середины XX века и привязывать свою половину к батарее отопления. Эти два мерзких порока были единственными его прегрешениями. Он любил Бога. Много молился, уповая когда-нибудь заслужить спасение души. Эдуард зашел повидаться с ними.

Княгиня протянула ему руку для поцелуя. У нее действительно темнел синяк под глазом. Она расстегнула свои черные линялые джинсы и приспустила их, чтобы продемонстрировать исполосованные бедра и ляжки. Соланж де Мирмир, попыхивая кубинской сигарой, визгливо поносила мужчин.

Пьер Моренторф принял горячее участие в княгине, от которой трижды в неделю получал пакетики – те самые, в которых отказал ему Эдуард, что несколько омрачило его дружеское расположение. Пьер попытался убедить Эдуарда, что Мужлана, «это чудовище, этого зверя», необходимо выбросить за дверь. Но, по планам Эдуарда, князю предстояло заменить Пьера после его смерти. Пьер угадал этот замысел, но при одной мысли о том, что его можно кем-то заменить, в его взгляде сверкала жажда убийства. Между ними произошла тягостная сцена.

– Месье, пока я жив, этого не будет. Лучше я подам в отставку.

– Пьер, пока вы живы, об этом и речи быть не может.

Пьер проявлял нервозность, которой Эдуард за ним раньше не знал. Этому способствовал и кокаин. Эдуард чувствовал неловкость всякий раз, как встречался с ним. Когда он выходил за дверь на лестничную площадку, его била дрожь. Последнее время Эдуард нечасто навещался в офис, их следующий ужин был назначен на 11 апреля. В остальном они общались по телефону. Сейчас Эдуард разъезжал чаще обычного. Пьер тяжело переживал его отсутствие, сетовал на то, что его бросили. «Одна только княгиня де Рель заботится обо мне», – жаловался он. Она регулярно доставляла ему маленькие дозы белоснежного порошка, который бесконечно облегчал его страдания, хотя

сама княгиня при этом вела себя как-то странно. Она и в самом деле не понимала, отчего Эдуард поручил ей снабжать Пьера этими крошечными пакетиками, строго запретив открывать их и сообщать Пьеру, откуда берутся эти загадочные подарки.

– Ты жалкий старьевщик!

– Девять магазинов. Восемьсот...

– Да ты просто играешься. Убиваешь время между «Хэмлисом» и «Голубым карликом».^[78] Так и проведешь всю жизнь в погоне за своей рухлядью...

– Тебе, я вижу, нравится это словцо. Надеешься, что оно меня оскорбит? Мой отец, мои братья и четыре сестры думают так же, как ты.

Роза сидела в своем спортивном кимоно, с обнаженной грудью. Встав, она сорвала со стены две фотографии, изображающие Эдуарда за игрой: одну с Юлианом, возле электрического поезда, в рождественский вечер, другую – на краю бассейна в варском доме, с малышкой Адри, которая, сидя у него на коленях, что-то размашисто пишет в воздухе черенком шелковичного листа. В своем просторном лофте по улице Пуассонье Роза завела привычку приклеивать скотчем на стены два-три раза в день адреса, почтовые открытки, фотографии, афиши, странички, выданные из блокнота и скрепленные вместе цветной липкой лентой.

– Почему ты не хочешь снова провести исследование антител?

Он не ответил. Роза объявила ему, что заказала анализ своего кровяного спектра. «Вот и еще один спектр!»^[79] – подумал Эдуард, и они заспорили по другому, вполне изысканному поводу: устрицы были внезапно отставлены из страха перед вирусным гепатитом; теперь разрешалось есть только птицу, рыбу, приготовленную на пару, свежие огурцы и сливовые йогурты – по крайней мере йогурт хотя бы с одной сливой по воскресеньям. Главную проблему представляла икра. Эдуард предпочитал белужью, светло-серую. Роза ван Вейден перевозносила осетровую, с ее более плотными, более хрустящими, более золотистыми зернышками. Она находила «эту белугу» ужасной: такое впечатление, будто берешь в рот тухлое яйцо, которое мгновенно растворяется в слюне.

Как ни странно, Эдуарду все больше и больше нравилась именно белужья икра.

– Оставь меня в покое со своими вонючими каспийскими белугами! – завопила Роза.

Эдуард пожал плечами и пробормотал: «Вот дура!» И тут же ему в лицо полетела диванная подушка. Он имел неосторожность обругать ее вторично, за что получил удар будильником в уголок глаза, над скулой.

Он встал. Выходя, толкнул Адриану, застывшую на пороге; она смотрела на них, дрожа и прикрывая рукой рот, из которого неслись приглушенные испуганные вскрики.

Чемодана у него не было. Он нашел в ванной большой мешок для грязного белья, вернулся в спальню. Роза исчезла.

Адриана застала его за укладкой тех немногих вещей, которые он держал в квартире Розы ван Вейден. Он взглянул на нее. Малышка Адриана сжимала в руке игрушечный ковбойский револьвер из черной пластмассы; ствол был направлен вниз. Подойдя к нему, она взяла его руку и крепко сжала ее своей левой ручонкой, глядя ему прямо в глаза.

Этот жест растрогал его. Он торопливо чмокнул ее в макушку.

– Если хочешь, стреляй, ковбой, – сказал он ей.

Адриана стремглав убежала.

– Месье, вам придется заехать за мной часам к девяти. Я больше не в состоянии передвигаться самостоятельно. Мы поедем к «Аллару». Я заказал столик у «Аллара».

Было 11 апреля. Он никак не мог уклониться от ежемесячного ужина. Эдуард Фурфоз мысленно подготовился к тоске, которая, он знал, завладеет им после этого вечера с будущим мертвецом. Он больше не мог переносить его вида. Его охватывал ужас. В понедельник он узнал об аресте Фрире в Италии, по двойному обвинению в укрывательстве краденого и заказчика краж. Эта победа преисполнила его стыдом. Центральный отдел борьбы с хищениями предметов искусства требовал для Фрире запрета на профессию и штрафа в два миллиона франков. Пьер Моренторф поздравил Эдуарда – горячо и вместе с тем как-то сдержанно. Князь де Рель выразил Эдуарду свое возмущение. Эдуард оправдывался: с мая по июнь он всего только и делал, что оборонялся от атак Маттео: да, он хотел его разорения, но никогда не думал, что это приведет к таким последствиям. Он сел в машину.

Припарковал ее возле площади Бастилии, на улице Шаронн. Почувствовал острый запах жженой чешуи, вспомнил – как и всякий раз, когда проходил мимо каморки Жана Лефлюта, – про Антонеллу. Взобрался по узенькой обшарпанной лесенке. Позвонил в дверь. Никто не отозвался. Он подумал: «Верно, он сам поехал в ресторан. Может, его проводила медсестра. Наверняка он сейчас у „Аллара" и ждет меня. Я ведь опоздал».

Эдуард торопливо спустился по лестнице, сел в машину на улице Шаронн, пересек остров Сен-Луи, проехал по набережной Турнель, остановился в начале набережной Августинцев, пробежал по улице Сегье, вошел в «Аллар».

Пьера Моренторфа там не было. Метрдотель ничего не знал. Эдуард позвонил в офис, позвонил в квартиру на улице Шаронн. Никто не ответил. Он позвонил княгине де Рель. Поколебавшись несколько секунд, позвонил Лоранс. Никаких известий, ничего.

Вернувшись на улицу Шаронн, он обратился к мастеру-консьержу с головой Людвигу ван Бетховена, который помимо своего ремесла охранял эту группу домов и внутренние дворы. Они поднялись, взломали дверь. Вошли.

В самой западной части комнаты, возле темного окна, перед тремя карликовыми сосенками они нашли труп в позе «лотос». Консьерж дотронулся до тела, и оно упало. Они подняли его. На низеньком столике, между тремя соснами Тунберга валялось множество надорванных пакетиков и три пустых

тюбика из-под таблеток. Он не оставил предсмертного письма. Они не обнаружили никаких сведений, позволяющих отыскать и оповестить родных. Пьер Моренторф всегда уверял Эдуарда, что у него никого нет. Они вызвали врача. Скрещенные ноги так и не удалось распрямить. Эдуард Фурфоз решил кремировать тело.

Глава XXI

*Человек – это единственное
зеркало, которое способна
осветить смерть.*

Сольми [80]

Он метался по комнате. Ему казалось, что он сейчас упадет. Необходимо было сейчас же, безотлагательно поговорить с кем-нибудь. Но только не с Розой. На миг ему захотелось позвонить Лоранс, но у него не хватило мужества сообщить ей об этой смерти. Он вызвал тетушку Отти, попросил подготовить Лоранс, потом сказал ей о смерти Пьера.

На письменном столе Пьера, вернее, на маленьком, еще лондонском секретере в спальне возле кладовой лежала записка. Он узнал почерк Пьера. Обнаружив ее, Эдуард сначала подумал, что это письмо, объясняющее причины его поступка. Он взял клочок бумаги:

«Мякина рапса, роговые опилки, золотая пудра, порошок из сушеной рыбьей крови, древесная зола, соломенная зола, поташ».

Человек, проживший на земле пятьдесят два года, не оставил после своей смерти ничего, кроме этого старого списка удобрений.

Он не мог оставаться один. Сел в машину, приехал в Шамбор. Провел там ночь. На рассвете вернулся в Париж, нашел местечко для стоянки на улице Гинмер. Пересек Люксембургский сад. Открыл дверь квартиры. На полу валялись два письма. Тут же зазвонил телефон. Он сунул письма в карман пиджака и ринулся к аппарату.

Позже, вечером, ближе к ночи, когда он поужинал и вернулся домой, он скорее почувствовал, чем услышал шуршание бумаги у себя в кармане. Слабый призыв писем у себя в кармане.

Он вскрыл первое, пришедшее из Рима: в нем лежала фотография старинной восточной игрушки неопишущей красоты. Он повернул снимок. Увидел на обороте подпись Маттео и мелкий, неловкий рисунок – изображение руки с воздетым кверху большим пальцем. На коралловом рифе, выступавшем из моря в 790 километрах от берегов Малайзии, недавно подняли на поверхность китайскую джонку XVI века с грузом фарфора, в том числе ящик с фарфоровыми куколками-голышами и прочими детскими игрушками. Это должно было стоять много гладиолусов.

Он вскрыл второе письмо, опущенное в 11-м округе Парижа. И вдруг Эдуарда прошиб холодный пот. Он вскочил, снова сел, опять встал и так, стоя, прочел:

Месье,

Я намеревался все оставить Вам. По крайней мере, я хотел оставить Вам эту коллекцию столетних деревьев, которые так любил. Я очень сожалел, что последнее время редко виделся с Вами. В конце концов, я завещал их княгине де Рель, которая за истекшие четыре месяца проявляла ко мне такое внимание и заботу, каких я никогда не ожидал от женщины, и которая доставляла мне то, в чем Вы отказывали. Я уверен, что Вы приложите большие стараний, чтобы забыть Вашего друга, чем прилагали к тому, чтобы окружить его перед смертью своей любовью. Тем не менее надеюсь, Вам будет приятно вспоминать о привязанности, которую питал к Вам

Пьер Моренторф

Он положил письмо на стол, возле телефонного аппарата. Пошел на кухню, откупорил бутылку черного пива, наполнил стакан, над которым вскипела желто-оранжевая пена. Выпил.

Затем поймал себя на том, что снова держит письмо в руке, упершись взглядом в лампу слева от дивана. Эдуард Фурфоз поднимал к лампе искаженное лицо и знал, что сейчас у него именно такое лицо. Он сел на диван, перечел письмо. В какой-то момент он почувствовал, что к нему возвращается дыхание. И наконец ощутил боль.

Смерть Пьера Моренторфа окончательно излечила Лоранс. Со времени кончины Луи Шемена прошло шесть месяцев. Живя в Шамборе, она до дна испила чашу скорби и горя и тем самым обезоружила смерть. Весна вырвала ее из оцепенения, из жертвенного забвения, из великих пасхальных мук. Ей вдруг показалось, что над землей синее небо. Ей показалось, что в небе летают птицы, что по земле ходят люди, что если не поесть, чувствуешь голод, что, когда приближается человек, которого любишь, возникает желание дотронуться до его обнаженного тела и забрать себе хоть малую толику его тепла и смеха.

Они гуляли по шамборскому лесу. Лоранс говорила что ей хочется покинуть дом старой дамы. Не потому, что ее тяготит запрет на разговоры через день. Но ей стал невыносим запрет на музыку. Это первое вернувшееся к ней желание, сказала она Эдуарду. Она пыталась объяснить ему, что вернуться к музыке – значит вернуться к чему-то вечному. К тому, что приходит из-за пределов обычного мира. К тому, что недоступно рукам взрослых – обычных людей или даже виртуозов и, уж конечно, антверпенских торговцев игрушками. К тому, что существует задолго до рождения и что неподвластно никаким горестям. К тому, что сохраняет тепло даже в смерти, если ей дозволено так выразиться. Рядом с ее братом, рядом с ее отцом. Это добрый бог, живущий в аду. Это другая вселенная.

Она объявила, что можно жить отшельницей не только в Шамборе, не только среди немотствующих соколов и осоедов. Что можно быть отшельницей и в

музыке. Что можно чувствовать себя как в пустыне и в 6-м, и в 7-м округе Парижа. Что можно блуждать по берегам Сены, как по берегам Ахерона. Говоря это, она уже строила планы отшельничества в Париже. Лоранс приняла решение продать квартиру на авеню Монтень, дом в Киквилле, виллу в Марбелле. Она собиралась оставить себе только два дома – в Варе и в Солони.

Эдуард был счастлив. Он ликовал, видя воодушевление своей подруги, сулившее ей нормальное будущее. Он был счастлив с самого утра, когда увидел, что она сидит в кухне за столом, что ее волосы собраны в пучок, что она опять носит юбки, жакеты с широкими рукавами, кольца, в том числе с рубином-кабошоном, затейливые ожерелья.

Они шагали по сырой земле, по нарождающейся травке. Она куталась в шаль с черно-синим узором. Они шли мимо кустов, мимо темнеющих прогалин. Сам того не замечая, он все время поглядывал под кусты, в синеватую тень у корней, где копошились улитки и пауки. Когда они шли по берегу канала, он обнял ее за плечи.

Он был один в своем офисе на набережной Анатоля Франса. Выложил на стол три каталога. Два экземпляра нюрнбергского «Bestelmeier» 1807 года. И один «Sonnenberger Spielzeugmus»^[81] 1813-го. Сходил в кабинет Пьера. Принес оттуда ковчежец с четырьмя миниатюрными фигурками, сделанными матерью Анжеликой во время первого заточения у госпожи Ранцау.^[82] В ковчежце хранился молочный зуб Господа нашего Иисуса-Христа. Он подумал: эта вещь по праву принадлежит тете Оттилии. Но тут же отказался от этой мысли. Ведь речь шла о мертвом Боге в гробнице. Цена ковчежца выражалась в маленьком букетике из пестро-черных тюльпанов. Было 17 апреля. Святая пятница.

Он поставил рядом с ковчежцем ярко-зеленый английский грузовичок примерно 1910 года (несомненный Барнетт) и парижский трехосный автобус «Мадлен-Бастилия» из категории «Шнайдер Н-6» (выпущенный на линию в 1923 году транспортной городской управой); этот был желто-зелено-белый.

Рядом с автобусом, ходившим до площади Бастилии, он поместил белого барашка, приклеенного копытцами к коробочке-гармошке: стоило нажать на нее, как барашек издавал бляенье; игрушка называлась «Полина Виардо». Но, поразмыслив, отставил ее на полку у себя за спиной.

Эдуард разглядывал маленький зелено-белый автобус, ходивший до площади Бастилии – ходивший некогда по улице Шаронн, мимо проезда де Меню. Мимо запаха рыбьего клея. Этот запах вызывал тошноту. После смерти Пьера его часто рвало. Ему было холодно. Скоро должны были прийти секретарши.

Тогда он вздохнул. Отодвинул кресло. Еще с минуту полюбовался мертвым Богом, грузовичком Барнетта, маленьким зеленым автобусом, что стояли перед ним в ряд. И взялся за телефон.

Он отмечал Пасху в Шамборе. Они сидели впятером в викторианской гостиной с задернутыми плюшевыми шторами, вокруг небольшого стола красного дерева с четырьмя ножками, обутыми в пышные сапоги из лисьего

меха, в широких низких креслах с бахромой: тетушка Отти, ее старинная подруга Дороти Ди, Лоранс, Мюриэль, Эдуард. Они пили чай.

– Вы видели эту ужасную катастрофу, милый Эдуард? – спросила миссис Ди.

Речь шла о затонувшем пароме компании Townsend-Thoresen. Эдуард вспомнил, как десять месяцев назад тетушка Отти прибыла на пароме в порт Зебрюгге. Но на сей раз речь шла не о компании Herald of Free Enterprise. Затонул паром Townsend-Thoresen. По крайней мере, так утверждала Дороти Ди, которая присутствовала при посадке своей подруги Оттилии на паром.

Никто из их знакомых не погиб при этом крушении. И, однако, Эдуарду Фурфозу почудилось, что по комнате скользнула чья-то тень. Маленькая утопленница, зовущая на помощь, правда, не обутая в лаковые туфельки. Накануне он едва не поссорился с теткой у входа в замок Его вдруг обуяла какая-то чисто детская обида. Гнев, вырвавшийся из самой глубины сердца. «Никто не хочет играть со мной на лестницах Шамбора!» – заключил он, сердито глядя на тетку и Дороти Ди, стоявших рядом. Ни та, ни другая не пожелали взбираться по лестницам, каждая по своей, улыбаясь друг другу в просветы перил и надеясь встретиться где-то там, наверху. «Не говори глупости, – строго сказала тетя Оттилия. – Это слишком высоко. Нам уже не восемь лет. Не правда ли, Дороти?» Но Эдуард не желал отказываться от своего каприза, не желал смиряться с поражением. «Она же катается со мной на велосипеде по заповеднику, – думал он. – А здесь не хочет подняться на четыре этажа!»

– Кому еще чаю? – спросила Мюриэль.

– Это был по-настоящему преданный друг, – сказала Лоранс; она говорила о Пьере.

– С чего ты это взяла? – спросила тетушка Отти.

– Мы с ним разговаривали.

– Да, это большая редкость. И верно, люди на высшей ступени цивилизации гораздо чаще делятся друг с другом мыслями и чувствами, чем приматы в саванне, способные издавать лишь нечленораздельные крики, – подтвердила Дороти Ди.

– Вы уверены, что это так? – спросила Оттилия у подруги; эти слова буквально сразили ее.

– А что же мы делаем в данный момент, Оттилия? – спросила миссис Ди, наклоняясь над столом, чтобы взять еще ломтик кекса.

Оттилия задумалась. Она поставила чашку на стол.

– Может, вы и правы. Но мне-то казалось, что мы как раз находимся в саванне. И издаем невнятные крики.

Пус вспрыгнул на колени к Эдуарду. Он окунул лицо в пушистую белую шерсть Пуса. Кошачье сердечко билось в торопливом, как сама жизнь, ритме. Он закрыл глаза. Ему привиделась спина, плакавшая перед старым пианино Pleyel: пианино плавало в море. Волосы, мягкие, как шерстка Пуса, в которую он уткнул лицо, тоже плавали в море, качались на поверхности воды. Пианино Pleyel, золотые буквы на черном дереве, косичка, голубая заколка. Желтые

полуботинки на шнурках, один из которых, развязавшись, отмеривал ритм невпопад.

Морские волны звали его к себе. Может, ему следовало переехать к морю, жить в портовом городе, на польдере, на плотине-волнорезе, уходящей в океан, а не обретаться на набережной парижской реки или в доме близ Обсерватории, окнами в сад?

Тетушка Отти дернула его за рукав.

– Ты согласен, малыш, что все низкое бесспорно?

– Конечно, тетя. Но я не следил за вашим разговором.

– Малыш, я говорила, что те оправдания, которые мы придумываем для нашей жизни, и порядок, в котором мы их выстраиваем, всегда выглядят слишком уж благопристойно, чтобы быть истинными.

– Я думаю, что благопристойно выглядят те гипотезы, о которых больно думать, – подтвердила миссис Ди.

– Да неужели нет таких мыслей, которые бы утешали? – испуганно спросила, взволновавшись, Лоранс.

Она была очень красива. Сегодня она надела черную блузку из фигурного джерси, с низким вырезом. На пальце блестел красный рубин.

– Нет, – сказала тетушка Отти.

– Нет, – повторила Дороти Ди.

– Вы с ума сошли! Да любая мысль утешает, других просто не существует, – возразил Эдуард. – Даже когда люди плачут.

– Вы говорите глупости, Эдвард. В мысли нет и не может быть ничего «сладенького». Вы со мной согласны, дорогая? – спросила Дороти Ди.

– Не расстраивайтесь, милая Доти. Мой племянник чокнутый. Религия, политика, философия и прочие людские забавы – все это не важнее кошачьей мочи.

– Тетушка, уж не имеете ли вы в виду чай, который мы пьем?

– Помолчи, Эдвард, сделай милость! Не слушайте его, милая Доти. Я знаю по опыту, что настоящая мысль всегда приносит в своих когтях добычу, которая отбивается и страдает.

– Тетушка, по-моему, ты плеснула в свой чай слишком много портвейна.

– А ты, малыш, слишком худ, слишком глуп и слишком много мечтаешь. Хищники...

– Извините, что прерываю вас, Оттилия, но если речь идет о пернатых хищниках, я не понимаю, отчего все низкое более бесспорно, чем то, что летает у нас над головой, – заявила Дороти Ди, прикрыв глаза.

– А я не понимаю, почему вы так ненавидите добрые мысли или все, что кажется обманчивым, утешительным, – вмешалась Лоранс. – Ведь и дурная мысль может обмануть.

– То, что нас ранит, не способно обмануть, – ответила тетушка Отти. – Вы еще молоды, Лоранс. Когда-нибудь вы убедитесь, что низкая мысль редко вводит людей в заблуждение.

– Ибо она спускает вас с небес на землю, – добавила Дороти Ди, поуютнее устраиваясь в кресле и откидывая голову на кружевную салфеточку подголовника.

– Не мешайте ей дремать, – шепнула тетушка Отти Эдуарду, Лоранс и Мюриэль.

– Тетушка...

– Говори потише. Ты разбудишь миссис Ди. Эта старая любительница пофилософствовать слегка тронутая, но я счастлива, что она будет жить со мной, раз уж Лоранс меня покидает. Ну а ты, малыш, не пора ли тебе перестать колесить по свету? Путешествия не приносят никакой пользы. Вот я и решила окончить свои дни в этом парке. А вообще жизнь повсюду такая же, как здесь, но здесь – это нигде.

– Я вовсе не тронутая, и Шамбор вовсе не «нигде»! – объявила миссис Ди, внезапно открыв глаза.

– О тетушка! – сказал Эдуард. – Это «нигде» – самое прекрасное на свете!

Глава XXII

*Время – это ребенок,
играющий в кости, а судьба –
деревянный волчок, что
жужжит под его пальцами.*

Гераклит [83]

Он только что вернулся в Шамбор. Прикрыл за собой дверь. Зазвонил телефон.

– А у нас мама сломалась! – объявил в трубку возбужденный голосок малышки Адрианы.

Эдуард предложил приютить у себя Адриану на десять дней, пока Юлиан будет жить у своей прабабки в Херенвене, в Голландии.

Роза ван Вейден сломала руку, летая на дельтаплане. Отрубленная «рука Брабо» в Антверпене, запачканные краской руки Антонеллы в мастерской на дороге, ведущей в Болонью, изящные, с коротко подстриженными ногтями руки Лоранс Гено – его жизнь вдруг показалась ему скверным романом о призраках, где призраки простирают к нему свои странные руки и сыплют каламбурами. Ему вспомнилась знаменитая брейгелевская картина в главном брюссельском музее; незаметное падение Икара в море. Смерть была там изображена как миниатюрная игрушка. Пахарь выглядел гигантом. Безумная, преисполненная гордыни мечта Икара занимала на фоне природы – как, впрочем, и на самом холсте – самое незначительное место. Гигантский пастух охранял гигантских коров. Гигантский корабль боролся с волнами. Облака, свет, тени, формы – все это сразу бросалось в глаза, ибо все это было красочно и живо. И только в уголке картины, едва намеченная несколькими мазками, исчезала в море пара вскинутых ног розовой игрушки, которую неизвестно почему звали Икаром.

В шлеме и перчатках, туго захлестнутая поясом и затянутая в прочую кожаную сбрую – в таком виде Роза ван Вейден завоевывала небо. Она стала чемпионкой дельтапланеризма. Встав лицом к ветру, она бежала со всех ног,

толкала вперед стальную трапецию, взлетала и парила в воздухе, видя под собой, тысячей метров ниже, крошечные поля, крошечные домики в долине. Это происходило в Гренобле, или, вернее, в Сент-Илер-дю-Туве. Внезапно аппарат клюнул носом. Роза не успела выправить крыло.

Эдуард аннулировал две поездки, оставил князю на две недели все свои полномочия и право подписи. Он водил малышку Адри в Люксембургский сад, во все зоопарки на окраинах Парижа. Лоранс решила послать Адриане Пуса, Кот моментально проникся обожанием к маленькой незнакомке, которая без конца ворчала на него. Маленький белый комочек прыгал к ней на колени и, встав на задние лапы, нежно лизал ей, точно целовал, шейку и уши.

Адри научила Эдуарда новому французскому слову. Сидя в ресторане перед горкой каштанового пюре, соседствующего с оленьим жарким, она шепнула ему:

– Вот тошниловка!

Давая этим понять, что сейчас ее вырвет.

Как же он любил ее! Подобно богам в ореоле света древней Месопотамии, она была для него маленьким светилом. От нее исходило сияние. Она походила на свою мать не чертами лица, а именно этим сиянием. Едва проснувшись, она уже бегала и прыгала – казалось, это прыгает сама жизнь, брызжущая радостным светом, от которого сжималось сердце.

Они приехали в Шамбор. Адриана бросилась к тетушке Отти.

– Чур, я зажигаю! – кричала она.

Но это был «немой» день. Тетушка Отти, стараясь не заговорить, молча нагибалась вперед, к девочке, которая хватала зажигалку, свисавшую на бархатной ленточке с шеи старушки, и щелкала ею. Из зажигалки брызгал желтый огонек. И едкие Gitanes или Belga окутывали их обоих зловонным облаком. Потом Адри бежала в сад. Там щебетали птицы. Он следил, как она бегаёт по саду. Вдали Лоранс, прямая, неподвижная, воздела руку, подзывая к себе Адри этим неумелым знаком. Он видел голубую юбку. Ветер раздувал эту юбку. Он хотел бы иметь ребенка, ребенка от Лоранс, но от счастливой Лоранс. Или ребенка от Розы – при условии, что у Розы были бы тело и изысканные манеры Лоранс Шемен.

Вечером, поднявшись на второй этаж «Аннетьера», он тихонько отворял дверь. Входил в темноту широкими крадущимися шагами. Проверял, нормально ли дышит спящий ребенок. Но это был лишь предлог. Он смотрел, как она сопит, чмокает губками. Как она сжимает кулачки. Становился на колени у постели и смотрел, как она спит.

Чтобы не разбудить ее, он удерживал собственное дыхание, старался приноровить его к ритму этих детских вдохов и выдохов. Смотрел на ее пухлые щечки, на кулачки, что судорожно сжимались или царапали простыню во сне. И спрашивал себя, какое сокровище сжимают эти маленькие стиснутые кулачки – миниатюрные подобия замков Шамбора, роялей Bosendorfer, празднеств, счастливейших событий? Спрашивал себя, отчего эти кулачки, старея, уже не сжимаются так крепко во время сна. Что они утрачивают навсегда – эти разжавшиеся руки существ, уже близких к смерти?

Он вспоминал правую руку Франчески, которую та всегда прятала между матрасом и сеткой кровати; руку спящей Лоранс, всегда зажатую между колен; раскрытые ладони Розы, лежащие на подушке. И свое неодолимое желание запустить руки в волосы женщины, рядом с которой он лежал.

– Подержи меня за ручку, – просила Адри перед тем, как уснуть. – Потом добавляла: – Только не пой. – Потом шептала: – И не разговаривай. Просто держи меня за ручку. И гладь меня по ручке.

Иногда Адри объявляла:

– Когда не разговаривают, всегда все понятнее.

– Гляди, я сейчас кувыркнусь!

Они находились в квартире на проспекте Обсерватории. Была половина двенадцатого. Адриана присела на корточки, положила обе ладошки плашмя на ворсистый ковер, приподняла задик, взбрыкнула ножками, сделала замечательный кувырок и с грохотом опрокинула ногами низкий столик, разбив вазу с чайными розами и облив водой Пуса.

Кот ошарашенно подпрыгнул. Адриана встала, себя не помня от счастья: она сделала наконец кувырок! Эдуард успокаивал перепуганного кота. Он сказал ей:

– Давай-ка сходим в ресторан. Этот кувырок надо отпраздновать.

Адриана съела два пирожных с клубникой, вареньем и сливочным кремом. Выйдя из ресторана, они прошли по улице Бонапарта, пересекли Люксембургский сад. Пройдя мимо бассейна, мимо статуи Давида и поравнявшись с лестницей, Адриана сунула ручонку в руку Эдуарда. Ручка была липкая от крема и варенья. Эдуард сжал детскую ручонку. Его пронзила дрожь. Глаза увлажнились. Он взял малышку Адриану ван Вейден на руки, поднял над головой, на уровень головы маленькой статуи Давида, стоявшего на колонне в центре лужайки с восточной стороны бассейна Люксембургского сада.

Потом он уткнулся лицом в ее шейку; девочка подумала, что он хочет ее пощекотать, и звонко рассмеялась. Он поставил ее на землю.

Снова взял Адриану за руку. Сжимая ручку Адрианы, он одновременно сжимал и другую руку. Руку своей маленькой одноклассницы из лицея на улице Мишле – девочки с заколкой из голубой яшмы, с пухлыми щечками, которая любила язык с корнишонами, которая играла на пианино Pleyel, у которой развязался шнурок, которая носила неизвестное имя; когда после перемены они возвращались в класс, он держал ее за руку, и эта рука всегда была липкой от сахара или меда.

Ее имя вертелось у него на языке. Она была – он явственно почувствовал это, ему подсказало сердце, – единственной женщиной, которую он любил. Он был готов сейчас же, не сходя с этого места, умереть за нее, если бы ее жизни грозила опасность. Ее имя напоминало цветок.

Пронзительно заверещал дверной звонок. Эдуард читал в гостиной. Кто это мог быть? Он взглянул на часы. Одиннадцать вечера. Он встал. В детской комнате раздался крик.

– Вава! Вава! – кричала Адри.

Он зашел к ней. Она сидела испуганная.

– Кто там?

Им чудилось, будто за дверью притаился кровожадный зверь. Или шла на приступ вражеская армия. Раздался еще один звонок.

– Успокойся, малыш. Я пойду открою.

– Зажги свет.

Он включил лампу. Вышел в переднюю. Открыл дверь. Это была Роза.

– Могла бы предупредить по телефону!

У него не было никакого желания обнять ее. Она выглядела разъяренной, даже свирепой. И слегка располневшей. На ней был черно-желтый спортивный костюм.

– Я пришла за малышкой, – сказала Роза.

– Неужели это не терпит до завтра?

– Посмотри на мою руку.

Она едва могла шевелить пальцами. Вид у нее был довольно-таки несчастный. Теперь она казалась ему выше ростом – красивой, конечно, но сияние, когда-то исходившее от ее тела, исчезло. Она чмокнула его в щеку.

– Где она?

Он повел ее в комнату, где жила Адри. Адри запрыгала от радости. Крепко обняла мать. Роза спросила:

– Можно присесть на минутку? Одевайся, Адри. Собирай свои манатки. Я бы выпила чего-нибудь.

Они пошли в гостиную Наполеона III, пробрались между статуями, бархатными драпировками, растениями в горшках и помпонами.

– И как только ты здесь живешь? Задохнуться можно!

– Почему? Здесь высота потолков три метра двадцать.

– Но все эти уродские статуи, громоздкая мебель, дикие заросли, ковры, портьеры, картины, помпоны, бронза – все это вместе весит триста тонн!

– Зато от них тепло.

Она уселась в шезлонг с красно-фиолетовой саржевой обивкой. Адриана в белой пижамке цеплялась за нее, как детеныш уистити цепляется за шерсть своей мамы: обвила ножками ее талию, обхватила руками, спрятала личико у нее на груди и замерла, притворяясь спящей. Роза попросила виски. Она закурила сигарету.

– Ты что, снова начала курить?

– Я снова начала курить.

Они умолкли. Эдуард закрыл каталог международных аукционов, который листал перед ее приходом, положил его на пол и встал, чтобы сходить за бутылкой виски. Роза сказала ему, совсем тихо:

– Перестань бросать все на пол.

– Я у себя дома. И мне нравится класть вещи на пол.

– Ты все подряд швыряешь на пол.

– Я не швыряю, я кладу вещи на пол.

Пус медленно подкрался к Розе, которая не заметила его, и вспрыгнул к ней на колени, рядом с Адри. Роза ван Вейден испуганно завопила. Она вскочила на ноги, Адриана стояла рядом с ней, испуганная не меньше матери.

– Этот кот – просто дрянь, – сказала Роза. – Собирайся, Адриана, мы едем домой.

Адриана со всех ног помчалась в свою комнату. Кот несся впереди, подпрыгивая и заигрывая с ней.

Объявив, что они едут домой, Роза снова уселась в красно-фиолетовый шезлонг. И, когда он протянул ей бокал, налив виски только до половины, прошептала:

– Вард, ты поедешь с нами? Он сухо ответил:

– Не поеду. Мой дом здесь, и я никуда больше не поеду.

Он добавил, что они уже много раз обсуждали этот вопрос. Роза ехидно возразила: бывает, что глупости, которые тебе кто-то наговорил, интересно послушать еще разок.

Он пожал плечами. С каждой минутой он мрачнел все больше и больше. Роза осушила бокал. И сказала:

– Налей еще немножко. И не будь таким скрягой, таким «выжигой». Ты мне налил всего полпорции виски. У меня все-таки желудок как у человека, а не как у гусеницы на капустном листе!

Он наполнил бокал до краев.

– Snotneus, snotneus, кретин, stommerik!

У нее уже заплетался язык. Она путала фламандский с французским, с нидерландским. Пробормотала что-то совсем неразборчивое, потом вдруг спросила:

– Ты не любишь Адри? Не любишь Юлиана?

– Люблю.

– Ты не считаешь меня красивой? Это из-за моей сломанной руки?

– Да нет же.

– Я постараюсь исправиться. Я даже постараюсь полюбить белужью икру, – пролепетала она сквозь смех.

Она закурила вторую сигарету. Ее смех звучал уныло.

– Ну а что касается галстуков... – продолжала она, смеясь.

Он и сам удивился, обнаружив, что стоит, а не сидит. Он был бледен. Услышал собственный громкий, безжалостный голос:

– Хватит, замолчи, Роза! Я люблю другого человека. Люблю другую. Понятно?

Роза вдруг съежилась, поникла. В ее расширенных глазах на миг мелькнула боль. Он увидел Пуса, тот снова просунул белоснежную головку в дверь, толкнул ее лбом, вошел.

Эдуард по-прежнему стоял. «Я люблю другую», – повторял он растерянно, дивясь самому себе. Он подошел к Розе сзади. Поцеловал ее в волосы. Теперь он и сам не понимал, зачем выдумал эту любовь. Пряча лицо в коротких черных

волосах Розы ван Вейден, он лихорадочно раздумывал. И все-таки ему казалось, что он ей не солгал. Речь шла не о Пусе. И не об Адри. И не о той девочке, которая так походила на Адри. И не о том навязчивом призраке, который столько раз представлял перед ним, который с плачем играл на пианино. О той неведомой пришелице, которая не имела имени, у которой были липкие руки. Которая преследовала его. Которая мучила его воображение.

Роза допила свой стакан до последней капли. У нее заплетался язык. Она объявила:

– Рука у меня никогда уже не придет в норму.

– Мне очень жаль. Значит, с пианино покончено.

– С чего ты взял, что я играю на пианино? Мне кажется, ты меня путаешь с одной моей подругой, которую ты смешал с дерьмом.

– Извини. Я хотел сказать «покончено с дельтапланом».

– Ну, тебе-то на это наплевать.

– Примерно так.

– Упасть с неба – по-твоему, это пустяки?

– Я всю жизнь падаю с неба на землю.

Роза торопливо вытянула перед собой руку с двумя выставленными пальцами. Ей с трудом удалось распрямить их, чтобы сделать «джеттатуру». Потом она взяла его за руку. Он вздрогнул. Снова поцеловал ее в голову, в плечо и тихонько отодвинул от себя: в дверь робко заглянула Адри, она держала в руке лист белой бумаги.

– Вава, дай мне мой карандаш, – попросила она.

Наклонившись, он взял серый фломастер, лежавший на полу рядом с международным каталогом, и дал ей. Он терпеть не мог, когда его называли Вава, но охотно терпел это прозвище в устах девочки.

Адриана схватила фломастер, отвернулась от них, села на пол рядом с пуфиком и принялась писать. Ему показалось, что он впервые видит, как она пишет на настоящей бумаге. Сидя рядом, они оба, Эдуард и Роза, молча следили за ней. Роза отстранилась от Эдуарда, подошла к дочери, попыталась одеть ее – по крайней мере, ей удалось натянуть на нее сперва один, затем второй рукав зеленой курточки, пока Адри писала. Сама Роза надела свою кожаную куртку. Тем временем Эдуард собирал детские вещи и складывал их в нейлоновую сумку нежно-розового цвета. Они по-прежнему молчали. Наконец все было готово. Адри, сидевшая на полу, сосредоточенно царапала что-то на бумаге.

– Кому ты пишешь? – машинально спросил Эдуард, наклонившись к ней и целуя в волосы и в лоб.

Она поспешно прикрыла рукой бумагу и сказала:

– Не твое дело.

– Но что ты пишешь?

– Не твое дело.

Пятница. Первое мая. Князя де Реля, прозванного Мужланом, в офисе не оказалось. Пьер – тот всегда приходил на работу 1 мая. Но само воспоминание

об имени Пьера было ненавистно Эдуарду Фурфозу. Он с ненавистью думал о том, что Пьер мертв, и перенес эту ненависть и страх на его имя. Погода была премерзкая. Он только что вернулся из Хассельта в Лимбурге, где осматривал новый пустой завод. Пока что он колебался. Двумя днями раньше он посетил старую брюггскую печатню, выставленную на продажу. Ему очень хотелось перенести свой лондонский «заповедник» на континент. И он подумывал, не превратить ли хассельтский заводик в лофт, подобие крепости, которая высилась бы над холмом, над всем миром, на высоте птичьего полета.

Он вспомнил о Розе, о тетушке Отти. Эдуард Фурфоз был богат. Теперь он полностью завладел всеми поставщиками и клиентами Маттео Фрире. Но, поразмыслив, решил оставить все как есть – по-прежнему хранить свои сокровища в лондонском Килберне.

Лоранс уехала из «Аннетьера». Она продала виллу в Марбелье и квартиру на авеню Монтень. На Киквилль покупателя еще не нашлось. За семь миллионов франков она купила в 5-м округе старинный особняк с садом в семьдесят квадратных метров. Она не теряла ни минуты. Жажда жизни, нетерпеливое стремление вернуться к усиленным занятиям на фортепиано вернули ей тот самый блеск, который она едва не утратила за прошедшие полгода. Она энергично занялась обустройством своего нового владения, выходявшего прямо на улицу Сен-Жак вместе с другими примыкающими к нему домами. На вид особнячок был весьма неказист. В него попадали через маленький, выложенный желтой и красной плиткой вестибюль, откуда можно было пройти в сад. Лоранс полностью обновила стены нижних комнат, собрав здесь множество больших зеркал с темными, часто гравированными стеклами, серыми или зеленоватыми, в фигурных фестончатых рамах. Это была единственная ее уступка вкусу Эдуарда. Остальная мебель была современной, частично даже черной. Комнаты второго и третьего этажей были ниже и теснее, чем на первом; к ним вела узкая винтовая лестница. В доме витал какой-то застарелый терпкий запах. К нему примешивался слабый запах уксуса. Этот особняк имел что-то общее с «пустыней» тетушки Отти, которую Лоранс только что покинула. Она и здесь старалась сохранить шамборские ритуалы. К занятиям садоводством добавила еще и шитье. А к молчанию присовокупила нечто противостоящее речи еще упорнее, чем молчание, и зовущееся «музыкой».

– И дрозд! И синица!

Этот сад в самом центре Парижа, в 5-м его округе, был настоящим Ноевым ковчегом. По телефону голос Лоранс Шемен звучал нервно, почти истерично. Она требовала, чтобы он бросил все дела: он должен полюбоваться цветущим ломоносом и расцветающим кустиком белой сирени. Он пришел к ней в два часа. Сад был озарен свежим, лучезарным светом.

– В память о Пьере, – сказала она.

И продемонстрировала ему карликовый сад – яблоню, абрикос, сливу, персик; все эти деревца были не выше стула, она надеялась, что они хорошо примутся.

Затем она показала ему плакучую иву высотой с восьмилетнего ребенка. Пять-шесть сережек тихо покачивались на ветру.

Пус, такой же белый, как они, сидел на пороге двери, ведущей в коридор; он оставался в тени, один только нос торчал наружу. Эдуард подумал: «Этот кот – тоже призрак. У него взгляд привидения. Взгляд кого-то, кто рождался на свет множество раз. Я нахожусь во власти существа, прожившего множество жизней. Маленького существа. Карлика. Гнома». Он вспомнил о своей страстной любви к нидерландским мультфильмам про Сильвена, Сильвию и Малыша Жерома. Он любил читать о приключениях Плика и Плока, затерявшихся в гигантском «страшном» пространстве между книгами и игральными картами, такими же неподъемными для них, как бетонные стены, и между подсвечниками, такими же высокими, как колонны храма Афины.

Лоранс снова виделась с Розой. Та, по ее словам, была в блестящей форме. Только потолстела.

К ее лицу подлетела первая пчела. Лоранс замахала руками, отгоняя ее. Пчела растаяла в теплом воздухе.

Была уже половина третьего. Эдуард растянулся в полотняном шезлонге. Мюриэль принесла кофе. Лоранс стояла рядом с ним, в джинсах. Она взялась за лейку вода увлажнила землю и траву, и они внезапно запахло прелым сеном и мокрым дерном. На нем лежала маленькая девочка. Она закрывала глаза и жмурилась, притворяясь спящей. Море захлестывало сад, шум подступавших волн внушал страх. Он резко поднялся. Лоранс сняла наконечник с лейки, и вода шумной струей лилась к подножию ивы с шестью сережками.

Он провел рукой по глазам.

– Хочешь выпить? – спросила Лоранс.

– Нет, хочу еще чашку кофе. А ты не пьешь?

– Помнишь год назад, на Лилльской улице, возле лифта?

– Нет.

Он снова улегся в шезлонг. Он думал: «Мы любили друг друга. Как же зовут ту, кого я люблю?» Они выпили. Лоранс теперь любила вишневое пиво. Она опять заговорила о той встрече на Лилльской улице, под дождем, на банкетке с желтым бархатным сиденьем, возле лифта. Вспоминала тот миг, когда ее пронзила несокрушимая и необъяснимая уверенность, что их союз неизбежен. Что этот союз, эта гармония так же неизбежны и естественны, как извечная встреча моря и песка. Что этот союз так же неизбежен и естествен, как встреча ребенка с разочарованием. Что эта гармония так же неизбежна и естественна, как встреча солнца и образа в глазах живых существ. Что эта гармония так же неизбежна и естественна, как извечная встреча клыков и растерзанной, стонущей добычи.

Глава XXIII

*Имя, которое нужно
произносить вслух, – не имя.*

Лао-цзы^[84]

Ему позвонил Мужлан:

– «Шторм в Гаврском порту», размером с расческу; мастер Льонн де Савиньяк. Корпус продолговатой формы, боковинки золотые с эмалью, фон зеленый, гравированная орнаментировка с элементами масляной росписи...

– Монсеньор, вы замечательно разбираетесь в технических деталях. Покупайте.

– «Кукла, которую сечет ее маленькая хозяйка», мастер Этьен Обри. На заднем плане трое детей выдувают мыльные пузыри. Изображено на крышке пудреницы из красной эмали.

– Покупайте за любую цену. Оставьте ее для меня.

– Я бы хотел приобрести ее для себя.

– Слушайте, вы! Вы работаете на меня. И она будет моей. Если хотите, берите ее себе. Но тогда мы с вами распрощаемся навсегда. Я вас выгоню.

– Потрясающее распятие размером один сантиметр, за крестом, на заднем плане, гильотина; 1798 год, мастер Ван Спедонк.

– Нет.

– Могу я приобрести ее для себя лично?

– Сколько угодно, монсеньор. Покупайте Господа. Я на него не претендую.

Он находился в Нью-Йорке. Офис был расположен необыкновенно удачно. Он пожал руку Ку Йе-у, декоратору, которому доверил полное оформление магазина.

Ему хотелось есть и пить. Он мечтал о тарелке сыров из Пассендаля или Дебрина. И еще он мечтал о настоящем пиве Michelob со Среднего Запада.

Он вошел в небольшой домик – уменьшенную копию викторианского особняка, с блестящим бело-голубым фасадом и голубыми колоннами, где жила Александра. Александра согласилась управлять магазином. Она родилась в Швеции, в Скеллефтеа, на берегах Ботнического залива. Она носила желтые балетные колготки, широкий серый фланелевый пояс на бедрах. Крашенные волосы были острижены почти наголо. Они сели работать в столовой с тонкими белыми колоннами вдоль стен. Потом он откупорил бутылку великолепного австралийского бордо. Зеленоватое вино светилось и играло. Они смеялись. Он поцеловал ее. Раздел. Не произнес ни слова. Им владело какое-то смутное любопытство. Он окунул лицо в нежное тепло лона молодой женщины. Они соединились.

Он испытал весьма умеренное удовольствие. Его рука нащупала колючий ежик на ее макушке. Пальцы встретили одну пустоту. «Господи боже! – говорил он себе, – как это странно. Как это ужасно. Похоже, меня навсегда излечили от любви. И теперь ничто не вспыхнет во мне, не обожжет страстью. Ничто не потрясет. Я чувствую, что страдание уже не способно исторгнуть у меня крик. Мне кажется, я уже никогда не обрету дар чистого состояния души, того испуганного восторга, с которым дитя покидает материнское лоно в первый миг своей жизни. Теперь передо мною только счастье, только красота. Боже, какая печаль! Никогда уже мне не увидать те несколько сантиметров первого лица, которое вдруг открываешь для себя. Косичка, которую застегивали голубой заколкой, сбрита до самых корней!»

Во время долгого перелета из Нью-Йорка в Париж он занимался тем, что набрасывал счета, разложив бумаги на маленьком пластиковом столике светлокремового цвета, прикрепленном к спинке переднего кресла. Подняв глаза, он увидел в иллюминаторе восход солнца.

Он перестал писать. В течение двух дней он спал с Александрой, и это было скорее приятным занятием, чем страстью. Мысли его блуждали вокруг Франчески в ее домике на пути в Импрунету, вокруг Лоранс, и тетушки Отти, и Розы, всегда более или менее пьяной, и малышки Адрианы, пишушей в воздухе. Он вспомнил свой приход к Лоранс, разговор в саду на улице Сен-Жак, внезапный апрельский ливень, заставивший их сбежать в дом: они волокли за собой шезлонги, а дождь хлестал его по лицу. Ему привиделось и другое лицо – зажмуренные во сне веки, струящаяся по щекам вода.

Он резко отодвинул листы, разложенные на столике. Им вдруг завладела глухая тоска, необъяснимое раздражение, словно он отказывался видеть то, что бросалось в глаза. Словно тяжелая лень расслабляла все его мышцы и мешала сосредоточить внимание на очевидном.

Почему, спрашивал он себя, его мало-помалу перестали интересовать женщины и жажда любовных наслаждений? Почему женщины перестали возбуждать его? Почему все они постепенно превращались в подруг?

И он начал выписывать на листке, прямо среди колонок цифр, имена: Франческа, Лоранс... Он украшал их волнообразными завитушками, древесными ветками. И думал: «Все это начало рушиться где-то в сентябре, когда я расстался с Франческой!» Извернувшись, он вытащил из кармана голубую заколку. «Нет, все началось с этого кусочка пластмассы. Мне стало казаться, что меня преследует чья-то детская душа. Что я во власти какой-то тайны...»

Он положил заколку на столик. «За мной идет охота, – сказал он себе. – Там, позади, трубят охотничий рог, гремят копыта лошадей, пущенных в галоп, вопят загонщики, мчится собачья свора. Меня преследуют всюду – в самолетах, в поездах, в машинах, в садах, в аукционных залах, в квартирах, в ветвях берхемского холма, в веточках бонсаи». Он взглянул на имена, которые машинально выписал на бумаге, имена женщин, в которых разочаровался только за последний год. Приступы страсти становились все слабее, все короче. Список, затерянный между древесными ветками и цифрами, тоже был недлинным:

Франческа

Лоранс

Оттилия

Роза

Адриана

Последнее имя заставило его поколебаться. Лучше было бы написать «Александра». И внезапно, в тот самый миг, когда он колебался между двумя именами, он подумал: да ведь они начинаются с одной и той же буквы, это ничего не меняет. А в следующее мгновение он почему-то медленно, почти бесстрастно, несмотря на одолевшее его острое волнение, прочел начальные

буквы этих имен сверху вниз. И его лицо медленно залилось краской. Он понял. Вспомнив имя, он вспомнил и черты того, живого лица. Ее звали Флора Дедхайм. Они вместе учились в лицее на улице Мишле. Они любили друг друга. Он встал. Подозвал стюардессу, попросил принести выпить. Его удивляло собственное спокойствие. Им владело одно только неспешное, болезненное любопытство, оно поднималось в нем, как поднимается вода в прилив, медленно и неумолимо затапливая берег. Но странное дело; по мере того как прояснялась догадка, желание прояснить эту загадку исчезало. Он откинул голову на спинку кресла. Выпил спиртное, принесенное стюардессой. Потом сидел и вспоминал все по порядку, хотя, в общем-то, теперь это не имело никакого значения. Его жизнь была всего лишь ребусом. Солнце било ему в глаза через иллюминатор. Он вспомнил, что у Флоры Дедхайм было худое угловатое тело и самое красивое лицо в мире. Она тяжело давила на его бока, на живот. У нее были мокрые волосы. Он вспоминал солнечный жар, запах нагретой травы возле куста, на которую они опускали головы. Открыв глаза, он смотрел, как она лежит, вывернув голову в его сторону, с закрытыми глазами, в аромате теплой травы. Но она жульничала – притворялась спящей, притворялась, будто не видит его. Слишком старательно жмурилась. И он говорил ей:

– Флора, не притворяйся, ты же не спишь. Ты не спишь. Ты не спишь.

Она еще сильнее смыкала веки, еще сильнее стискивала его руку и продолжала притворяться спящей. Он клал ладонь на ее руку. Ее пальцы были липкими от меда. Им было по шесть лет, и они считали себя самыми преступными возлюбленными в мире, поскольку оба жмурились и до боли сжимали друг другу руки.

Он провел рукой по глазам. Потер веки. Солнце слепило невыносимо. В эти минуты самолет должен был пролетать над Гренландией – над Зеленым островом, некогда завоеванным древними викингами. Он блуждал в небесной пустыне. Он улетал вдаль по небесной пустыне. Он еще раз потер глаза. Что-то маленькое, светлое, молочно-белое и мягкое удалялось от него. Молочно-белый гребень волны таял в воде. У нее были мокрые волосы. Она стягивала свои волосы в хвост и скрепляла их заколкой. Они взбирались, пятась, по двойной спирали лестниц Шамбора, пятась, одолевали обе спиралевидные параллельные цепочки структуры ДНК; двойное сплетение волос, когда она заплетала косу, ненарушаемый, вечный кругооборот, который воспроизводил сам себя и воспроизводил нас, как море вечно рождает волны. Он открыл глаза. Опустил ладонь на заколку Флоры, лежавшую на столике. Впился глазами в эту крошечную лягушку: она позвала его, а он не понял, что она хотела сказать ему там, на дороге, ведущей в Рим, в Чивитавеккье, у кромки морских волн. Маленькая лягушка приподняла веки. Она хотела заговорить. Но вдруг отвела взгляд. И смолчала.

Глава XXIV

*Я скрыл тебя под этим
прозвищем похвальным, дабы*

*сияла ты лишь мне в ночи
печальной.*

Сев [85]

Он шел. Ветер и мелкий дождь нещадно секли его по лицу. Он шел вниз по широкому проспекту Меир. В детстве, он помнил, это называлось просто «спуститься по Меиру». Он спускался к морю. Над городом светился нимб морского тумана. Он не стал заходить на Корте Гастхюйсстраат. Направился сразу в порт. Он зашагал быстрее, и в этот миг небо совсем почернело. Дождь усилился. Ощущение великолепия разбушевавшейся природы пронзило дрожью все его тело.

Он остановился. Неподвижно застыв под ливнем, он оглядел причудливые коньки крыш на фоне неба, серые и красные фасады антверпенских домов. Они больше походили на живых существ, эти дома, а их решетчатые окна с темными стеклами смотрели на него, как глаза. Да и у фасадов было выражение человеческих лиц – мирное, материнское выражение, как у гигантских каменных ликов с острова Пасхи.

Он купил себе брезентовый плащ – подобие старинной зюйдвестки – и закутался в него.

Катер входил в устье Эско. Поскольку суденышко удалялось от города, он увидел издали, в странном локтеобразном изгибе реки эту руку, этот Антверпен: колокольни, сторожевые башни, собор Богоматери. И тут только понял, отчего ему всегда что-то протягивало руку – сквозь балюстраду мраморной лестницы, сквозь волну, сквозь пространство, сквозь время. Катер шел мимо зеленой завесы прибрежных деревьев, мимо кирпичных заводов, мимо невидимых вилл.

Стоя на корме и облокотясь на поручень, он бездумно созерцал пенный шлейф за катером. Тоскливую пустоту нарушали одни лишь пронзительные, и хриплые, и хищные крики белых красноногих чаек.

Был четверг 28 мая. После всего этого спада Вознесение было совершенно необходимо.^[86] Он находился рядом с Лоранс, в маленьком саду особняка на улице Сен-Жак. Недавно он получил письмо от малышки Адри.

*Дорогой Вова,
привет!*

*Я хочу мундир американского сержанта № 10248 на мой день
рождения.*

Адриана ван Вейден

Он узнал эту жирную вязь фломастера. Наверное, Роза направляла руку дочери, чтобы помочь ей выписать буквы, которых та еще не знала. Адри только-только начала интересоваться языком. Новизна мира постепенно стиралась.

Полулежа в шезлонге, Эдуард Фурфоз прикрыл глаза. Лоранс спросила:
– Все в порядке?

– Я подремываю, – ответил он. – Я счастлив.

Она тихонько положила руку на руку Эдуарда, и он так же тихонько убрал ее. Приоткрыл глаза и повторил:

– Я счастлив. Я постепенно обретаю свободу. Я перестал быть заложником имени, которое так любил.

– Но мы будем все-таки видеться?

– Мы будем все-таки видеться. Но больше не будем любить друг друга. Быть у кого-то в плену – это меня уже не привлекает. Я предпочитаю счастье.

– Неужто господин торговец детскими машинками стал благоразумным? – спросила Лоранс.

– А ты сама? – возразил он, указывая на сад.

– Это верно.

Она взглянула на свой сад, не очень-то убежденная в его правоте. И добавила:

– Шесть часов игры на фортепиано в день. Два часа на садоводство. Час на шитье, каждый вечер. И еще один час – для подписи бумаг в фотожурнале на набережной.

Она сказала ему, что ей куда больше нравится глядеть на свой садик в семьдесят квадратных метров, нежели колесить на велосипеде вместе с тетушкой Отти по шамборскому заповеднику, рискуя столкнуться нос к носу с кабанихой и ее выводком. Она предпочитает джунглям сады.

– Ты преувеличиваешь, Шамбор вовсе не похож на джунгли!

– Я предпочитаю сады.

– А ты знаешь, как зовут богиню садов?

– Конечно, нет. Может, Роза? Святая Роза Покровительница Джунглей?

– Нет, Флора – единственная богиня, которая не нуждается в мужском семени, чтобы производить на свет детей.

– Ну тогда это, конечно, не Роза.

– Прошу тебя, Лоранс! Итак, Флора – одинокая богиня. Богиня Весны со свитой из мелких невидных зверюшек – мошкары, гусениц и пчел, что копошатся среди листьев, почек и первых лепестков. Богиня, которую оживляет, но не оплодотворяет ветер. Богиня...

– Когда на тебя нападает красноречие, тебя не остановишь.

– Да, когда на меня нападает красноречие, меня не остановишь. Тем более что погода чудесная. Я прочитал тонны книг о богине садов.

– Ты – и читаешь? Вот чудеса!

– Я излагаю, как могу, свои знания, которым два часа от роду. У этой богини Флоры был жрец...

– И этот жрец – ты.

– Он был одним из двенадцати младших фламинов...^[87]

– Одним из младших, значит, по-твоему, фламин в миниатюре...

Он приехал в офис на улице Сольферино. Ему невольно было находиться в этом месте, где блуждал другой призрак – воспоминание о Пьере Моренторфе.

Повсюду чудилось лицо умершего друга, вся эта груда мяса, увенчанная лысой головой любителя крошечных деревцев. Викинг Гримр Лысый заткнул ноздри глаза, уши, рот и анус своего умершего отца и насыпал над его могилой каменный холм, дабы не оставить ему ни малейшей лазейки для возвращения в мир живых.

Эдуард съездил во Флоренцию. Он хотел увидеться с Антонеллой. Пересекая двор мастерской, почему-то, как ни странно, начал хромать. Дверь была заперта. Он постучал в двери склада, никто не отозвался. Тогда он обратился к хозяину бензоколонки, и тот на смеси английского, итальянского и французского, размахивая руками, сообщил, что ее отправили в психиатрическую клинику после того, как Маттео Фрире заключили в тюрьму, поскольку он был не в состоянии внести залог для временного выхода на свободу.

Наступила Троица. Мелкие огненные проблески, падавшие с небосвода, имели два с половиной миллиметра в длину. Из Лондона позвонил князь де Рель. Потрескивание табака в его трубке слышалось даже на расстоянии трехсот пятидесяти километров отсюда.

– Табакерка из светлой эмали «Ребенок, строящий карточный дворец», миниатюра на сюжет Карла Берне, чистейший стиль «помпадур».

– Покупайте. Можете дойти до двух тюльпанов.

– Бонбоньерка, эмаль на фарфоре, сюжет – Страсти Господа нашего Иисуса Христа.

– О нет.

– Могу я приобрести эту бонбоньерку для себя лично?

– О да, монсеньор.

– Пуговица, 1792 год, масло, автор Изабе. «Ребенок, играющий на опушке леса».

– Нет.

– Разве вы больше не коллекционируете пуговицы?

– Нет. Продолжайте. И побыстрее. Мне некогда.

– Пуговица, лак, автор Мартен. Портрет женщины в саду, пишущей письмо, в котором можно, с помощью сильной лупы, прочесть фразу: «Не пишите больше, приходите!»

– Нет. Повесьте-ка лучше трубку и оставайтесь в Лондоне до послезавтрашнего аукциона.

Он торопливо вышел из офиса. Зашагал по улице Сольферино. Обернулся. Увидел набережную, реку, Тюильри, Лувр вдали. Все было залито светом.

Он вернулся домой. И бросился в свое маленькое святилище на проспекте Обсерватории – просторную, белую и пустую комнату с узкой железной кроватью у стены, со свисающей над ней грушей-выключателем из светлого дерева и низким столиком возле постели, тоже белым. На столике безмолвствовали музыканты из Нюрнберга и несколько других, подаренных Антонеллой, – эти трубили, созывая мертвых. Он завел игрушки. Маленький

Шарло фирмы Ingar судорожно затряс в воздухе немой телефонной трубкой. Молодая женщина из жести, в гофрированном воротничке, принялась водить смычком над немой скрипкой. Зеленый кузнец сноровисто замахал молотом над ярко-красной наковальней, которой, однако, никогда не касался. Виолончелист, автомат 1890 года, размашистыми движениями обеих рук безмолвно вел мелодию. Маленький бело-голубой барабанщик XVIII века, двенадцати сантиметров высотой, четко отбивал палочками марш на своем розовом, слоновой кости, барабане. Палочки также никогда не касались кожи – ее заменяла позолоченная жесь – барабана.

Этот ритм – или балет – был столь же безмятежен, сколь и беззвучен. Спустя несколько секунд Эдуард замирал, целиком отдаваясь умиротворенному созерцанию. Что-то исходило от этого неутомимого и безмолвного барабанщика – то ли призрак звука, то ли виноватое извинение за отсутствие звука, то ли неизъяснимый призыв.

Он с шумным хрустом прошел по гравиевой дорожке. Разглядел в окне тетушку Отти, нагнувшуюся к лампе, к светлому кругу от лампы; на ее груди, как всегда, болталась зажигалка на бархатной ленточке. Она занималась вышиванием. До сих пор он не знал за ней этого увлечения – переплестать шелковые нити на полотне, в тишине. Он обогнул дом и нарочито шумно отворил дверь, громко назвавшись. Когда он зашел в гостиную, лампа «Карсель» на столе была погашена, а тетушка Отти ворошила кочергой угли в камине.

– Это я, – сказал он.

Тетушка Отти хмыкнула в знак того, что нынче день молчания и, встав на колени, подбросила полено в огонь. Эдуард подошел, расцеловал ее в обе щеки, семь раз. Тетка поднялась и жестом изобразила, как она держит чайник в правой руке и наливает кипяток в чашку, которую держит в левой. Эдуард кивнул. Тетка отправилась в кухню.

Он подкрался к столу с потушенной лампой, ничего не обнаружил, приподнял накидку на стуле и нашел под ней пяльцы. Чутко прислушиваясь к звукам в кухне, он перевернул их, взглянул на вышивку и испытал шок: тетушка Отти вышивала четырех хищных птиц свирепого вида, пожирающих крошечное человеческое существо, не то ребенка, не то карлика. На заднем плане были изображены плакучая ива, охотничий пес и псарня на берегу довольно широкой реки.

На следующий день, день разговоров, они отправились в Орлеан, чтобы сделать покупки и встретить на вокзале Лоранс.

После ужина, который в «Аннетьере» подавали в семь вечера, ему удалось сбежать, оставив тетку, Лоранс и миссис Ди: пускай наговорятся впрок перед завтрашним «немым» днем. Тетка стояла, напевая, на опушке леса Сен-Дие; она подняла голову, увенчанную монументальным пылающим шиньоном, и, обратив к небу свое старое лицо с обвисшими брылями и разинутым ртом,

верно, ожидала, когда в него посыплются сверху соколы, пустельги, скопы, орлы, ястребы, осоеды и сарычи.

Он остался в одиночестве на берегу канала, расширяющего воды реки Коссон. Обогнул замок. Дошел до пруда Добряков. Лег на плотине у воды. Опустил голову на траву. Небо над ним мрачнело. Близилась гроза. Все вокруг вздрогнуло. Мелкие волны плескались у края плотины. Водяной паучок на своих волшебных ножках прибежал поздороваться с Эдуардом, ускользнул, вернулся назад. Волны стали чуть выше, паучок ловко танцевал на их гребнях. Учитель во весь голос созывал детей:

– Ребята, выходите из воды! Выходите скорее!

Внезапно небо налилось густой тьмой, черной, как ночь, как блестящие осколки брикета, который разбивают на части в угольном ведерке. Дети завопили. Там, где песчаный берег круто обрывался в воду, где море всего час назад, когда ученики младших классов лица Мишле вышли из автобуса, привезшего их из Парижа на этот узкий нормандский пляж, неслышно умирало между блестящими камешками, теперь вздувшиеся волны свирепо били в спину, в живот, в голову маленьких купальщиков, которые соскальзывали обратно в воду, едва коснувшись рукой или ногой прибрежной гальки или скал.

Гребни волн пожелтели. Пена, венчавшая ряды водяных валов, сверкала, как хищные зубы, на фоне черного неба. И эти валы пожирали детские тела.

Большинству детей все же удалось выбраться на сушу; они хныкали, жались к учителю, как загравленные зверьки, со всех ног бежали к автобусу. Но учитель внезапно растолкал сбившихся вокруг ребят и испуганно простер руку к морю. Он указывал на маленькую кричавшую фигурку. Белое тельце в воде махало руками, то и дело скрывалось под водой. Едва оно выныривало на поверхность, как следующая волна безжалостно накрывала его. Восемилетний Эдуард Фурфоз в оцепенении стоял рядом с учителем. Он еще улыбался, он смотрел в ту сторону: это была Флора. Море жестоко играло с ее почти оголенным телом в розовых трусиках, с черной намокшей косой, швыряло ее вверх-вниз, у него на глазах, в шестидесяти метрах от берега, как жалкую игрушку. Он бросился к ней. Учитель удержал его.

Ревущие волны поднимались все выше, с яростным грохотом разбивались о берег. Учитель схватил его за руку, рванул к себе и хлестнул по лицу. Едва он собрался дать ему вторую пощечину, как поскользнулся и с размаху сел на мокрую гальку. Воспользовавшись этим, Эдуард вырвался и съехал по крутому склону к воде, с криком:

– Флора! Флора!

Ее тело, извивавшееся, как червячок, постепенно приближалось к обрывистому берегу. Теперь гигантские волны, вздымавшиеся все выше, кипящие бешеной пеной, уже не достигали его. Эдуард подбежал к ней, поскользнулся, упал прямо на нее, вцепился в нее. И вдруг почувствовал, что тело девочки вяло обвисло у него в руках. Он закричал:

– Флора, не притворяйся, что спишь! Ты не спишь! Ты не спишь!

Но тут ее снова унесла отхлынувшая волна. Он стоял на четвереньках. Успел поймать ее за волосы, потянул за косу, с трудом поднялся на ноги, и вдруг его

опрокинул новый гигантский вал. Он задыхался. Ему никак не удавалось держать голову над водой, когда налетала очередная волна. Он думал только об одном: всякий раз как ослабевал напор воды, он старался высунуть голову наружу и глотнуть воздуха. Его пальцы по-прежнему судорожно сжимали ее волосы. Он пытался выбраться на берег. Но склон был слишком крутым, чтобы передвигаться и одновременно дышать, а взбесившаяся вода слишком часто захлестывала его с головой. Галька уходила из-под ног, больно била по щиколоткам. Налетела новая волна, рухнула на него, затопила с головой. Он потерял сознание.

Очнулся он, лежа возле колеса автобуса, закутанный в пиджак учителя; учитель нажимал ему на грудь и вдыхал воздух в рот. Учитель сказал:

– Слава богу, жив.

Он почувствовал, как чья-то рука силой разжимает ему пальцы. Разжимает с трудом, один за другим. Наконец его кулак раскрылся. Он увидел на ладони обрывки черных волос и голубую заколку, к которой тоже прилипли обрывки волос. И почувствовал невыносимую боль, невыносимое одиночество. Словно целый океан внезапно отхлынул от его тела единой гигантской волной. Он снова провалился в небытие.

Его отвезли в Антверпен. Он пролежал в больнице пять месяцев. Постепенно снова научился говорить. Совершенно ничего не помнил. Забыл Париж, забыл Шамбор, забыл Этрету.^[88] Сестра его отца, Оттилия Фурфоз, сочла, что ее присутствие рискует нарушить с таким трудом обретенное душевное равновесие. Он никогда не говорил о Флоре ни с родителями, ни с братьями и сестрами, ни с врачами. Только временами смутно вспоминалось ему тело, беспомощно болтавшееся на волнах, подобно игрушке, сломанной безжалостным морем, выброшенной морем, вынесенной морем на хрупкую границу между выдохшейся волной и серой прибрежной галькой, рядом с белым рыбьим позвонком, рядом с красно-белой морской звездой, рядом с перышком белой чайки, рядом с водорослью...

Дождь внезапно разбудил его. Он увидел свою руку, вцепившуюся в рослую луговую маргаритку. С испугом обнаружил, что над прудом в сером тумане мало-помалу встает рассвет. Не сразу уразумел, что провел всю ночь на берегу, на плотине пруда Добряков, между Новым прудом и замком. Затем понял это по состоянию своей одежды и тела. Он не мог двинуться. Ему было страшно холодно. Все тело буквально окоченело. Крошечная волна, подкатив к берегу в туманном мареве, всколыхнула горелую спичку. Она приподняла ее, накрыла и опять выбросила на поверхность. Он встал.

Дождь был не сильный. Он старался идти как можно быстрее, чтобы увидеть Оттилию и Лоранс, но, несмотря на все усилия, еле тащился, сперва по траве, потом по гравию дорожки. Он плакал, а может, его щеки просто увлажнил дождь. Солнце уже начинало золотить огромный замок, похожий на меловую скалу. И снова ему привиделась маленькая детская рука, липкая от сладостей; после школы, в кухне квартиры на проспекте Обсерватории, эта рука готовила

четыре поджаренные тартинки, намазывала их маслом, щедро покрывала медом.

Ему было холодно. Никогда в жизни ему еще не было так холодно. А ведь дождь был совсем не холодным. Наконец он добрался до белой пузатой стены, толкнул садовую калитку, бросился в домик Наполеона III в английском духе, распахнул дверь кухни.

– Ты весь мокрый! – воскликнула Лоранс. – Где ты был? Разве ты ночевал здесь?

Он обогнул Лоранс, вошел в гостиную. Вошел шумно, бесцеремонно, опрокинув по пути стул. Тетушка Отти подняла глаза, приложила палец к губам.

– Мне нужно с тобой поговорить, – сказал он.

Она продолжала держать палец на губах. Она занималась составлением листовки в защиту соколиных. Взяла свой блокнот, написала два слова, вырвала листок и протянула ему.

Эдуард прочел: «День молчания». Нагнувшись над столом, он вынул из теткиной руки шариковую ручку и гневно перечеркнул слова, написанные ею на белом листке.

Потом сел перед ней. Помолчал. Она смотрела на него. Наконец он спросил:

– Ты помнишь Флору Дедхайм?

Тетушка Отти, внезапно помрачнев, кивнула.

– Она погибла?

Тетушка Отти снова кивнула.

– Захлебнулась в волнах? Ее вытащили на берег?

– Да, – сказала она.

Тетушка Отти встала, обошла стол, взяла его голову и прижала к груди. Она повторила:

– Да, малыш. Ее вытащили на берег вместе с тобой. Но уже бездыханную. И ты так и не смог пережить это. Ты никогда не говорил со мной об этом. Предпочел болезнь, молчание. Уехал, бросил меня, как чужую. Вернулся в Антверпен. Я тебе этого не простила...

– Того, что я тебя бросил?

– Нет. Конечно, нет. Того, что ты хотел любой ценой забыть эту девочку, которую любил. Потому что вы безумно любили друг друга...

Но тут она увидела искаженное болью лицо племянника и смолкла. Эдуард встал. Они стояли молча, обнявшись. Вместе подошли к большому тройному зеркалу над камином. У нее на щеках остались следы слез. Она отошла от него, раскрыла свою огромную сумку, попудрилась. Он сказал, вытирая глаза:

– Я всю ночь проспал в лесу. Наверное, у меня дикий вид.

– Идем в кухню!

Она потянула его за руку. По пути рассказала ему, что слово «дикий» исстари связано с приручением соколов. Так называют слишком свирепых птиц, не поддающихся приручению. Например, сарыч или ястреб-ягнятник никогда не согласятся жить рядом с другими птицами или людьми.

– Вот и ты дикий, – сказала тетушка Отти.

– Оттилия, почему вы разговариваете в день молчания? – воскликнула Лоранс.

– Я не дикий, я двуликий, – ответил Эдуард.

– Миссис Ди решила сегодня полежать в постели, – сообщила Лоранс.

– Я уже запуталась во всех этих ваших разговорах. Лоранс, приготовь Эдуарду горячий суп. Я сейчас налью ему ванну.

– Не стоит, – сказал он, сев на табурет. – Нет такой воды, которая отмыла бы меня. Это я навечно запутался в том, что говорю. И никогда уже не пойму, о чем говорю.

– И все-таки прими ванну, – приказала тетушка Отти, – от этого грязнее не станешь!

Но Эдуард поднялся, вышел, пересек заросший сад и пробрался к опушке леса Сен-Дие. Дождь уже кончился. Первые солнечные лучи играли на мокрых ветвях и листве. Ему захотелось войти в тенистый чертог леса. Он шагнул было вперед, но тут же замер: он едва не растоптал очень красивую блестящую уховертку, крупную, двухлетнюю уховертку длиной почти два сантиметра. Он присел на корточки. Восхищенно взглянул на огромные черные «щипцы» на хвосте насекомого – два блестящих серпика, служащих ему для складывания крылышек. «*Forficula auricularia*,^[89] – прошептал он. – Почти что предок Фурфозов». Он подумал о тех именах, что побудили его купить квартиру, разлучили с двумя женщинами. Или, напротив, заставили его полюбить их. Ни одной секунды он не был хозяином своей судьбы. Он был игрушкой нескольких букв. Был игрушкой собственных своих игрушек. Был вот такой маленькой уховерткой. Мелкой утренней зверюшкой, питавшейся лесными блохами, палыми ягодами и сладким цветочным соком.

Он шел через Люксембургский сад. Было душно. Стояла жара. В воздухе вилась мошкара. Неутомимая, неотвязная. Стоило слегка вспотеть, как она тут же садилась на лицо, присасывалась к влажной коже. Бесполезно было отмахиваться от нее, но люди все равно невольно отмахивались.

Эдуард Фурфоз шел ужинать к Мужлану, в его квартиру на острове Сен-Луи, на Бурбонской набережной. Перед этим он собирался зайти в «Деллоуэй». Княгиня обожала пирожные, которые там продавались. Эдуард мысленно помолился, чтобы князь не слишком изуродовал ее – по крайней мере лицо.

Он шел по аллее, ведущей к фонтану. Тяга к любви постепенно гасла в нем. Ему нравилось быть одному. Все чаще и чаще он ужинал в одиночестве. Потом сидел, погружаясь в грезы, на террасе кафе, где-нибудь у реки. Пил виски. Пристрастие к пиву тоже мало-помалу ослабевало. Женщины по-прежнему были прекрасны, но стали менее необходимы. Неумное сластолюбие, пробуждавшееся каждые два-три дня, отсылало его к фамилиям, взятым наугад в записной книжке, устанавливая новый ритм жизни. Он не уделял большого внимания фамилиям. Зато к именам относился крайне бдительно. Лоранс перешла в разряд подруг, но он редко виделся с ней. Ему не было скучно в одиночестве. В одиночестве он не смог вырвать у смерти единственное существо, которое любил. Он перевез в Антверпен маленьких безмолвных музыкантов, чьи пружины скрипели в тишине, чьи смычки пилили пустоту, чьи

палочки молотили по воздуху. Стояла сильная жара. Отправляясь к Лоранс Шемен или на остров Сен-Луи к князю, он все реже пользовался машиной. Шел пешком, пересекал сад Обсерватории, пересекал Люксембургский сад. Проходил по аллее, ведущей к фонтану. И по пути бросал взгляд на темную землю у подножия кустов, стоящих строем вдоль аллеи.

Примечания

1

Naer het leven (устар. флам.) – как в реальной жизни.

2

Айоли – острый чесночный соус.

3

Шарло – Чарлз Чаплин. *Ingar* – фирма, производящая различные машины и автоматы.

4

Среднее Царство (2050–1750 до н. э.) – период царствования египетских фараонов XI–XIII династий.

5

Мураками – японский император (946–967).

6

Пасбуль – игра в шары, которые забрасывают с определенного расстояния в отверстие (как правило, в раскрытый рот) большой деревянной фигуры, представляющей человека или животное.

7

Особняк Дрюо (Париж) – место проведения международных аукционов произведений искусства.

8

Томотада, Рантэй (Япония) – известные мастера нецкэ конца XVIII – начала XIX веков.

9

Согласно легенде, древнюю крепость Le Steen на реке Эско охранял великан Друон Антигоон. Он взимал дань с купцов, везущих товары в город на кораблях по реке, а тем, кто отказывался платить, отрубал руку и бросал ее в Эско. Римский офицер Сильвиус Брабо вступил в борьбу с великаном, победил его и, отрубив ему правую руку, бросил ее в Эско, дав таким образом имя городу Антверпену (по-фламандски «hand werpen» означает «бросить руку»).

Согласно другому мифу, древний скандинавский бог войны и права Тир вложил свою руку, в качестве залога победы, в пасть гигантского волка Фенрира, олицетворения хаоса, и тот растерзал ее. (Отсылка к этрусской игре или культовому действию Phersu. Phersu – надпись на так называемой гробнице авгуров в Тарквиниях (Этрурия), где изображена схватка волка с человеком, похожим на гладиатора).

10

Пеликанстраат – улица в Антверпене, где расположены дорогие ювелирные магазины и мастерские.

11

Имеются в виду братья Ван Эйк, Хуберт (1370–1426) и Ян (1390–1441), основоположники нидерландской живописи XV в.

12

Имеются в виду династии банкиров из Италии (Сальвиати) и из Германии (Фуггеры).

13

Флориан Жан-Пьер Клари де (1755–1794) – французский писатель, внучатый племянник Вольтера.

14

Букатини – вид итальянских макаронных изделий.

15

Спреццатура – вокальный термин, означающий ритмически свободную манеру исполнения монодии.

16

Дон Джо (сокр. от Джованни) Гуизо и его фавн – имеется в виду статуя фавна, принадлежащая данному персонажу, коллекционеру.

17

Кэнко – псевдоним японского писателя Канейоши Иосиды (1283–1362), автора трактата «Трава уныния».

18

Будда Амида – обращение к великому Будде, чтимому в Японии и Китае.

19

Майер Карл (1786–1870) – немецкий лирический поэт, воспевавший в своих произведениях сельские пейзажи.

20

Наполеон III (1808–1873) – последний французский император. Период его правления (1851–1870) назывался Второй империей. Провел несколько лет в изгнании в Англии; этим, вероятно, и объясняется просьба Оттилии найти ей домик в стиле Второй империи и одновременно в английском духе.

21

Пор-Руаяль – аббатство в Париже, где собирались представители блестящего интеллектуального кружка, оппозиционного королю Людовику XIV.

22

Лавренс Никола (1737–1807) – шведский художник и график.

23

Кун-и (1838–1898) – китайский поэт.

24

Дюкпетъо, Антуан Эдуар (1804–1868) – бельгийский журналист, политический деятель, принимавший активное участие в восстании 1830 г., в результате которого Бельгия отделилась от Нидерландов. Черный, желтый и красный – цвета бельгийского флага.

25

Djotte (флам.) – блюдо из потрохов и овощей с пряностями, которое готовят обычно на праздник Святого Николая.

26

Сиссиингхёрст Кастл – замок в графстве Кент, к юго-востоку от Лондона.

27

Метсис (или Масси) Кентен (1465/66 – 1530) *Мемлинг Ханс* (1433–1494) – фламандские живописцы.

28

Тэн Ипполит (1828–1893) – французский литературовед и философ.

29

Берри – сельский район на юге Парижского бассейна.

30

Игра слов: имя Лоранс по-французски созвучно двум словам – «Гог» (золото) и «anse» (ручка вазы или амфоры).

31

Аннетьер (фр. La Hanneliere) – означает «гнездо майского жука».

32

Рильке Райнер Мария (1875–1926) – австрийский поэт.

33

Борхес Хорхе Луис (1899–1986) – аргентинский прозаик и поэт.

34

Бекассина – героиня французских комиксов начала XX века, молодая, наивная, но здравомыслящая бретонка.

35

Сёдзи – японские оконные ставни, жалюзи.

36

Хань Сян-цзы – племянник знаменитого китайского министра Хань-Юя (768–824), почитаемый как один из «восьми бессмертных» даосизма.

37

В Европе 21 июня считается первым днем лета.

38

Ван дер Мейлен Адам Франс (1632–1690) – фламандский живописец и график, живший во Франции.

39

В старину кожи обрабатывали с помощью мочи и дубовой коры.

40

В католических странах на Пасху принято прятать в саду мелкие подарки и пасхальные яйца, чтобы дети искали их.

41

Во Франции школьные классы считаются в обратном порядке, начиная с двенадцатого и кончая первым, выпускным.

42

Зюйдерзее (Голландия) – часть моря, отгороженная плотиной и превращенная в пресноводный водоем.

43

Хараппская цивилизация – культура бронзового века (III–II тысячелетия до н. э.) Индии и Пакистана.

44

Лофт – квартира или дом, перестроенные из служебного или производственного помещения.

45

«*Born in the USA*» (англ.) – родился в США.

46

Мендель Грегор Иоганн (1822–1884) – австрийский естествоиспытатель, основатель генетики, ставивший опыты по гибридизации сортов гороха.

47

Лютер Мартин (1483–1546) – немецкий религиозный реформатор, основатель немецкого протестантизма (лютеранства).

48

Гезелле Гвидо (1830–1899) – бельгийский фламандский поэт.

49

Сент-Эвремон Шарль де Маргетель де Сен-Дени (1615–1703) – французский писатель и критик.

50

Имеется в виду один из многочисленных бельгийских памятников Сильвиусу Брабо, избавившему город Антверпен от великана Друона.

51

Шекспир Вильям (1564–1616) – английский драматург, поэт.

52

Ферма Хугомон (Бельгия) была расположена на поле близ Ватерлоо и в 1815 г., во время битвы Наполеона с английской и прусской армиями, находилась в руках англичан.

53

Сент-Шапель – часовня XIII века в Париже, шедевр готической архитектуры.

54

Minuta opera (лат.) – мелкие, крошечные произведения.

55

K-Way – название фирмы, торгующей модной дорогой одеждой, в частности плащами и дождевиками.

56

«*Газетт де Же*» (франц.) – Бюллетень игр.

57

Расин Жан (1639–1699) – французский поэт-драматург. Цитата из трагедии «*Эсфирь*» (действие третье, картина девятая).

58

Peremotes (флам.) – пряники, булочки. На масленицу дети выходят на улицу и перебрасываются ими; побеждает тот, кто набрал больше «трофеев».

59

Мать Анжелика (Арно) (1591–1661) – аббатиса монастыря Пор-Руаяль, восстановила старинное «правило молчания», соблюдаемое некогда монахами-цистерцианцами.

60

На виа Коронари расположены магазинчики и лавки, торгующие предметами религиозного культа.

61

О-Хиса – японский поэт XVI века.

62

Кошен Шарль Никола (1715–1790) – французский живописец.

63

Тома Антуан-Леонар (1732–1785) – французский писатель, член Французской академии.

64

Унгаретти Джузеппе (1888–1970) – итальянский поэт.

65

Stommerik, snotneus (флам.) – дурак, кретин; сволочь.

66

Из книги пророка Исаяи, глава 28, стих 20.

67

Плиний Старший (23–79) – римский писатель, натуралист, военный, автор «Естественной истории» – энциклопедии знаний своей эпохи.

68

Вламинк Морис (1876–1958) – французский художник и гравер.

69

Оденард – город в Бельгии, на реке Эско.

70

Nespoir ne peur (устар. франц.) – ни надежды, ни страха.

71

Кафарнаум – город в Галилее. нарицательное значение: место, где царят теснота и беспорядок.

72

Том Пус – крошечное сказочное существо, английский «домовой», который по ночам забирается в конюшни и заплетает гривы лошадям.

73

Еврипид (480–406 до н. э.) – греческий поэт-драматург.

74

Синтоизм – древняя религия, распространенная в Китае и Японии до буддизма.

75

Грифиус (Греф) Андреас (1616–1664) – немецкий поэт и драматург.

76

Гримр, Ролло(н) – имена скандинавских вождей викингов.

77

Су Дун-по (Су-ши; 1036–1101) – китайский писатель и государственный деятель эпохи Сун.

78

«Хэмлис» и «Голубой карлик» – магазины, торгующие игрушками и сувенирами.

79

Игра слов: слово «спектр» имеет во французском языке второе значение – «призрак», «привидение».

80

Сальми Серджо (1899–1981) – итальянский поэт, эссеист.

81

«*Bestelmeier*», «*Sonnenberger Spielzeugmus*» (нем.) – каталоги антикварных игрушек

82

Возможно, имеется в виду жена маршала графа Жозиаса Ранцау, который, видимо, был комендантом тюрьмы, куда заключили участников кружка Пор-Руаяль.

83

Гераклит (576–480 до н. э.) – греческий философ ионийской школы.

84

Лао-цзы (570–490 до н. э.) – философ, основатель даосизма

85

Сев Морис (1500–1560) – французский поэт лионской школы.

86

Вознесение (Иисуса Христа) – религиозный праздник, приходящийся на 40-й день после Пасхи.

87

Фламины – в древнем Риме – жрецы отдельных божеств (Юпитера, Марса).

88

Этрета – курортный город в Нормандии, на атлантическом побережье.

89

Forficula auricularia (лат.) – уховертка (насекомое из семейства кожистокрылых).